90 коп. Индекс 70145





ISSN 0042-8779

Вопросы Истории

11'90

90 коп. Индекс 70145

ISSN 0042-8779 Вопросы истории. 1990. № 11. 1 – 192



Вопросы истории 11'90

ISSN 0042-8779

Вопросы истории

11'90

АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

№ 11 НОЯБРЬ 1990



Вопросы Истории

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит с 1926 года

МОСКВА.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

В. Моммзен (ФРГ) — Историография и социология при национал-социализме . . . 3
Т. Ф. Павлова — Русский заграничный исторический архив в Праге . . . 19

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В НОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

М. М. Горинов — Советская страна в конце 20-х — начале 30-х годов . . . 31

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

А. Н. Боханов — Савва Мамонтов . . . 48

ВОСПОМИНАНИЯ

Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. Продолжение . . . 68

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

Генерал **А. И. Деникин** — Очерки русской смуты. Продолжение . . . 95
А. Ф. Керенский — Россия на историческом повороте. Продолжение . . . 120

СООБЩЕНИЯ

В. Н. Грехов — Расправа с руководством комсомола в 1937—1938 годах 136
П. С. Ткаченко — Восприятие революционными разночинцами идей западноевропейского утопического социализма 145
Н. С. Кулешов — Россия и тибетский кризис начала XX века 152

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Н. П. Ефремова — Эмилия Пименова 161
Э. Е. Писаренко — Арбузный бунт 165

ИСТОРИОГРАФИЯ

Т. Е. Новицкая — В. И. Смолярчук. Кони и его окружение 170
А. В. Лубский (Ростов н/Дону) — А. П. Пронштейн. Источниковедение в России. Эпоха феодализма . . . 172
О. Р. Квирквелия — А. С. Уйбо. Теория и историческое познание 174
Н. П. Ковальский (Днепропетровск) — П. К. Гримстед. Архивы и хранилища рукописей в СССР. Украина и Молдавия 176
Г. И. Святов — Стивен Росс. Американские военные планы 1945—1950 178
Ю. И. Сигов — Ж. Баутиста Видал. Бразилия: от зависимого государства до суверенной нации 180

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В. В. Есипов (Вологда) — Был ли Нечаев революционером? 182
Письма **И. С. Катченковой** (Ленинград) и **А. З. Пухальского** (Караганда) по поводу статьи Ю. А. Бера 185
А. Ю. Минаков (Воронеж) — Феномен нечаевщины должен быть переосмыслен 186
Л. Е. Нойборт (Могилев) — Вновь о якобинском терроре . 187
А. В. Беляцкий — Преподаватель — преподавателю . . . 188
А. Б. Соколов (Ярославль) — Перестройка школьного исторического образования в Англии 189

СТАТЬИ

ИСТОРИОГРАФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПРИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМЕ

В. Моммзен

По М. Веберу, наука не в состоянии обосновывать и преподавать ценности и идеалы; напротив, она должна делать только одно, а именно: помогать каждому отдельному человеку «отдавать самому себе отчет в глубинном смысле своего собственного деяния»[1]. Соответственно этому на науку всегда ложится огромная моральная ответственность.

Мало найдется таких объектов, при рассмотрении которых вопрос о моральной ответственности науки вставал бы острее, чем роль исторической науки и социальных наук при национал-социализме. Это — та щепетильная тема, к изучению которой следует подходить осторожно, затрагивая, по существу, лишь ее отдельные стороны. Однако сегодня, когда непосредственных участников тех событий в большинстве своем уже нет в живых, а молодое поколение может узнать об этих событиях только как уже о принадлежащих истории, требуются ответы на поставленные вопросы. Так, настоятельнее, чем когда-либо ранее, необходим ответ на вопрос, почему историческая наука, а в расширительном аспекте гуманитарные и социальные науки как таковые оказали сравнительно незначительное сопротивление подъему национал-социализма, а после прихода его к власти отчасти даже добровольно подверглись нацистской унификации. Но широкомасштабных штудий, которые не ограничивались бы только институционными условиями состояния науки при национал-социализме и импрессионистской критикой идеологии, а освещали бы идеологическую деформацию исторической науки во взаимосвязи с развитием этих дисциплин в европейской науке[2], пока еще не хватает.

По известным нам данным, до 1933 г. очень немногие маститые историки были близки к национал-социализму, и тщетно искать среди

МОММЗЕН Вольфганг — профессор университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе, председатель Союза германских историков. Перу В. Моммзена принадлежат многочисленные работы, и среди них — «Макс Вебер и его время», «Британия и Германия. 1800—1914 гг.», «Европейский империализм» и др.

[1] Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen. 1922, S. 550.
[2] Schreiner K. Führer, Rasse, Reich. In: Wissenschaft im Dritten Reich. Frankfurt a. M. 1985; Faulenbach B. Die «nationale Revolution» und die deutsche Geschichte. In: Die nationalsozialistische Machtergreifung. Paderborn — München — Wien — Zürich. 1984; Erdmann K. D. Die Ökomene der Historiker. Göttingen. 1987; Heiber H. Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands. Stuttgart. 1966; Graua F. Geschichtsschreibung und Nationalsozialismus.— Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (далее — VfZ, 1969, № 17; Werner K.-F. Das NS — Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft. Stuttgart. 1967; Schieder T. Die deutsche Geschichtswissenschaft im Spiegel des NS.— Historische Zeitschrift (далее — HZ), 1959, № 189; Heimpel H. Geschichte und Geschichtswissenschaft.— VJH, 1957, Jg. 5.

них членов нацистской партии. В некотором отношении питомником будущих национал-социалистских историков являлся Исторический семинар К. А. фон Мюллера, но даже он может быть скорее причислен к той эстетизирующей мюнхенской элите из кругов крупной буржуазии, которая тяготела к правоконсервативным, националистическим, в «фёлькишских»* границах, взглядам, но не может быть охарактеризована как профашистская, а тем более как национал-социалистская.

В области социологии следовало бы вспомнить здесь о Г. Фрейере. Хотя по политическим взглядам его следует считать национал-консерватором, он был близок к тому «Кружку действия», который приветствовал приход национал-социалистов к власти, видя в этом шанс основать принципиально новый, ориентированный на государство общественный строй, призванный, с точки зрения этого историка, сменить изживший себя строй буржуазно-либеральный. Но Фрейер никогда не был членом НСДАП и после кратковременного сближения с национал-социалистским движением политически вскоре отошел от него.

Случаев непосредственного коллаборационистского сотрудничества представителей исторической науки или социальных наук с национал-социалистами до их прихода к власти, по сути дела, вообще не было. Скорее всего потому, что НСДАП и не в последнюю очередь сам Гитлер в научных и преподавательских кругах считались малореспектабельными. Однако следует исходить из того, что немецкая историческая наука межвоенного периода в своем подавляющем большинстве ориентировалась на прошлое кайзеровской Германии и решительно отвергала демократическую Веймарскую республику, в лучшем случае считая ее временным явлением. Таким образом, можно констатировать растущее с середины 20-х годов влияние на нее великогерманских и «фёлькишских» тенденций, которые в некоторых отношениях прокладывали пути взглядам национал-социализма. Утверждения, что западноевропейский принцип самоопределения неприменим к Восточной Европе, и здесь, напротив, могут осуществляться только наднациональные формы государственной организации под главенством немцев, как правило, усиливали интерес к изучению Восточной Европы — так называемый остфоршунг.

Тяжело приходилось в 20-е годы сравнительно небольшому числу последовательно демократических историков, к которому принадлежали, скажем, В. Гётц, В. Валентин, Л. Бергштрессер или И. Цикурш. Но они не могли оказывать на историческую науку доминирующего влияния своими факультативными курсами.

Непросто обстояло дело с развитием в 20-е годы социальных наук[3]. По сравнению с исторической наукой социология в гораздо большей степени занимала позитивную позицию в отношении индустриального капитализма и современного плюралистического общества, хотя порой и прибегала к его критике, исходя из марксистской перспективы.

Но в 20-е годы общие для всех общественных наук условия менялись и здесь. Наряду с социологами, придерживавшимися традиций М. Вебера, появились и другие, теоретические системы которых все более критически направлялись против современной индустриальной цивилизации и предназначались для массового общества своего времени. Вместо принципиально индивидуалистических методов М. Вебера

* Немецкое «völkisch» — народный, народнический, «почвеннический» — собирательное понятие для обозначения наиболее националистических и шовинистических направлений расистского толка, которым охотно воспользовались нацисты в качестве одного из основных элементов своей идеологии и политики. Отсюда и название центрального органа НСДАП — «Völkischer Beobachter».

[3] См. Lepsius M. R. Die Soziologie der Zwischenkriegszeit: Entwicklungstendenzen und Beurteilugskriterien.— Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1981, Sonderheft № 23.

все сильнее стали проявляться зачатки органологических и коллективистских: на одном конце политического спектра — у Л. Визе, а на другом — у О. Шпанна.

А. Вебер, брат М. Вебера, развивал культур-социологию, которая рассматривала цивилизацию и культуру как противоречивые понятия и выступала против дальнейшего поступательного развития промышленного, отличающегося крайним разделением труда, бюрократического индустриального общества. Фрейер в конечном счете категорически отмежевался от традиций буржуазной социологии веберианского толка, указав в качестве ее задачи определение путей подъема нового авторитарного строя, который сменил бы классовое общество вместе с его либеральными элементами. Фрейер охарактеризовал под этим углом зрения свои социологические усилия как «целиком и полностью антилиберальное дело»[4], как идейную позицию, радикально противостоящую идеологии буржуазного общества.

Таким образом, в известном смысле можно говорить о кризисе принципа рациональности в науке уже к 1933 г., который был усилен драматическими событиями в политической жизни, происшедшими со времени мирового экономического кризиса. К этим факторам можно отнести всевозраставшее давление, которое оказывало на научно-преподавательский состав университетов студенческое движение. Начиная с 1932 г. национал-социалисты главенствовали в студенческой среде, добившись превращения ее в тогдашних условиях в чрезвычайно действенный инструмент идеологического и политического давления на профессуру. В 1932 г. в Бреслау под давлением агрессивных студенческих демонстраций был смещен со своей должности ученый еврейского происхождения Г. Кон, причем коллеги-профессора даже не решились публично вступиться за него.

Но все это отнюдь не объясняет, почему германские университеты во многих случаях еще до того, как со стороны компетентных властей, а также НСДАП и ее ведущих организаций были предприняты шаги в направлении унификации этих университетов, сами приспособились к новым условиям путем замены своих ведущих преподавателей. Начало этому положил сразу же после 12 марта 1933 г. Кёльнский университет — один из немногих вновь основанных городских университетов,— который до того считался форпостом не только демократической мысли, но и современных исследований в области социальных наук. Дабы предвосхитить действия властей, здесь по собственной инициативе были назначены новый ректор и новые деканы, которые никак не были связаны с демократическими порядками Веймарской республики[5]. Во Франкфурте-на-Майне опасались, как бы новые правители, не долго думая, не закрыли университет, который в гораздо большей степени, чем какой-либо иной, выражал дух Веймара. Ход событий заблаговременно взял в свои руки государственный комиссар — со всеми вытекающими для профессуры и научно-исследовательских институтов последствиями[6].

Процесс унификации, сопровождавшийся предпринятой гораздо более важной по своим воздействиям самоунификацией значительной части профессуры, бесцеремонно поддерживался и усиливался устранением нежелательных ученых по политическим мотивам или из-за их еврейского происхождения. В появившейся в 1939 г. хронике Франкфуртского университета им. Иоганна Вольфганга Гёте это именовалось

[4] Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft: Logische Grundlegung des Systems der Soziologie. Leipzig. 1930, S. 258.

[5] См. Heimbüchel B. Die neue Universität.— Kölner Universitätsgeschichte, 1988, Bd. II, S. 588ff.

[6] См. Hammerstein H. Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bd. I. Frankfurt a. M. 1989, S. 289ff.

так: «Искоренение еврейских и политически неблагонадежных элементов преподавательского состава»[7]. Поначалу здесь парадоксальным образом происходило нечто обратное: ученых еврейского происхождения, от которых иначе избавиться было нельзя, в качестве первого шага к их увольнению переводили именно во Франкфуртский университет. Недаром его куратор протестовал против подобной практики, которую не без оснований рассматривал как прелюдию к расформированию данного университета[8].

Последствия вынужденной унификации и вызванной ею эмиграции многих ученых, причем не только еврейского происхождения, для немецкой науки 30-х годов, более того, и для сегодняшнего дня переоценить трудно. Разумеется, новые обладатели власти немедленно уволили или отодвинули на задний план таких видных представителей демократически-либерального направления германской историографии межвоенного периода (не говоря уже о немногих представителях марксистских левых), как А. Розенберг, В. Гётц, В. Валентин и Г. Майер. Другие же (О. Хинтце, который ради спасения жены полуеврейского происхождения покинул «Historische Zeitschrift», или И. Цикурш) были вынуждены уйти в своего рода внутреннюю эмиграцию; пока им и разрешалось преподавать, но постепенно их лишали возможности публиковать свои исследования. Среди тех, кого заставили уйти во внутреннюю эмиграцию,— многие ученые с известными именами; часть их только в послевоенные годы достигла вершины своей научной карьеры и сегодня принадлежит к числу наиболее видных представителей мировой исторической науки. Это X. Блесслау, Ф. Жильбер, X. Хольборн, Г. Голдшмит, З. Хелльман, Г. Барон, Э. Канторовиц, В. Левизон, Э. Тойблер, Р. Заломон и не в последнюю очередь Г. Розенберг.

Для социологии и других социальных наук последствия кровопускания, произведенного путем вытеснения многих видных научных деятелей, причем не только иудейского вероисповедания, были гораздо более тяжелыми. Разумеется, тотчас же был расформирован ненавистный Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, а работавшие в нем ученые (прежде всего Т. Адорно, М. Хоркхаймер, А. Лёве и Л. Лёвенталь) были вынуждены эмигрировать. Менее жестоко поступили с кёльнским Институтом социальных исследований, в котором видели оплот либерального и демократического мышления: здесь социологию все же сохранили как научную дисциплину.

Кроме того, целое поколение молодых, но уже достигших определенного уровня ученых, в том числе социологов, которых следовало считать подрастающей сменой, было вынуждено покинуть страну. К ним принадлежал, в частности, К. Манхайм, один из наиболее ярких продолжателей известной всему миру традиции М. Вебера. Это кровопускание привело к тому, что традиция теоретически ориентированной макросоциологии в Германии после 1933 г. была почти полностью парализована. Научные корпорации, за весьма немногими исключениями, не оказали никакого сопротивления устранению еврейских, а также иных ученых; наоборот, своим примиренчеством они надеялись избежать худшего.

Бреши, образовавшиеся в результате эмиграции, оказались слишком трудиозаполнимыми, что тогда вряд ли считали необходимым. К тому же эмиграция многих ведущих историков и представителей социальных наук вызвала (особенно во вред левым) такое искажение всего политического спектра, последствия которого ощущаются до на-

---

[7] См. Chronik der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main für den Zeitraum vom 1. April 1933, bis 31. März 1939. Frankfurt a. M. 1939, S. 6.

[8] См. Die braune Machtergreifung. Universität Frankfurt 1930—1945. Frankfurt a. M. [1989], S. 6; Hammerstein H. Op. cit., S. 283—285.

ших дней. Нечего и говорить, что это еще более ослабило сопротивление оставшихся, и они позволили увлечь себя волной «национальной революции» 1933 года.

Однако готовность значительной части историков, а также социологов приспособиться к новым условиям частично объяснялась их ошибочным национал-консервативным пониманием характера и целей национал-социализма. Как известно, представители элиты вильгельмовских времен провозгласили в ситуации 1933 г. стратегию, которую кратко сформулировал Ф. . Папен: использовать Гитлера в качестве «барабанщика» для установления нового авторитарного строя; при этом они были твердо уверены, что тот позволит втиснуть себя в определенные ими «рамки».

Аналогичным образом часть национал-консервативных историков видела во взятии национал-социализмом власти осуществление собственных, давно вынашиваемых целей, и прежде всего — восстановление величия и мощи германского рейха. Например, И. Халлер опубликовал 1апреля 1933 г.— ко дню рождения Бисмарка — статью, в которой восхвалял взятие власти Гитлером как воплощение германской идеи в жизнь, а самого его бурно приветствовал как законного преемника основателя рейха. Халлер считал, что с приходом нацистов к власти положено новое начало, покинут ложный путь и снова обретен верный, «тот путь, который берет свое начало из тех источников, откуда черпал силу для своих деяний Бисмарк... Только человек из народа, подлинный народный трибун смог стать тем, кто пробудил это движение, указал ему правильную дорогу и привел его к цели. Сегодня он стоит на том самом месте, на котором стоял Бисмарк, как его наследник, как продолжатель его дела и, более того, да поможет ему Бог! — как завершитель этого дела».

Одновременно Халлер превозносил день Потсдама* как символ совпадения интересов староконсервативного, прусско-германского и национал-социалистского движения[9]. Подобные навязывания своей дружбы национал-социализму поначалу преследовали цель оказать помощь стратегии «введения [Гитлера] в рамки» со стороны консервативных идеологий. Впоследствии эта тактика была отброшена, но на начальном этапе она содействовала беспрепятственному приспособлению к духу времени.

И без того слабый либеральный лагерь германских историков особенно пострадал от взятия власти национал-социалистами. Национал-социализм сумел в значительной мере завоевать поддержку широких масс населения и лишь с трудом укладывался в либеральное политическое понимание исторического процесса этими историками. «Мы живем в такое время, которое больше не либерально и не может быть либеральным»,— заявил марбургский ученый В. Моммзен. В веймарский период он был последовательным сторонником демократического строя, одновременно допуская, что эпоха буржуазного либерализма миновала и переориентация стала неизбежной[10].

Подобным образом медиевист Г. Хаймпель считал, что «под гнетом нынешней судьбы» должен выступать за коренное перетолкование истории средневекового рейха в духе времени[11]. Более молодые представи-

---

* В тот день, 21 марта 1933 г., после торжественного государственного акта в потсдамской гарнизонной церкви — усыпальнице прусских королей — престарелый рейхспрезидент П. фон Гинденбург обменялся символическим рукопожатием с фюрером и рейхсканцлером Адольфом Гитлером, скрепив тем союз реакционных сил Германии.

[9] См. Haller J. Reden und Aufsätze zur Geschichte und Politik. Stuttgart — Brl. 1934, S. 376—381.

[10] См. Mommsen W. Volk und Staat in der deutschen Geschichte. Frankfurt a. M. 1933, S. 10.

[11] См. Fleckenstein J. Gedenkrede auf Hermann Heimpel. In: In memoriam Hermann Heimpel. Göttingen. 1989, S. 34f.

тели либерального лагеря германских историков (если только они не эмигрировали добровольно или были вынуждены это сделать, как Х. Хольборн и Г. Гатцке, а также Г. Розенберг), учитывая их последовательно национальное мировоззрение, частично также оказались охваченными царившим в 1933 г. настроением «национального пробуждения». Во всяком случае, у них отсутствовали твердые идейные устои, чтобы противостоять национал-социалистскому духу времени, а крах веймарской системы их тяжело угнетал. Лишь спустя годы они вернулись к сравнительно более трезвому и объективному взгляду на вещи [12].

Только один консервативный лагерь имел твердые идейные позиции, оказавшиеся довольно устойчивыми к воздействию национал-социализма, пытавшегося затянуть представителей этого лагеря в свой идейный водоворот. Национально-консервативное мышление Г. Риттера подкреплялось строго протестантским представлением о мироустройстве, которое служило ему опорой против некоторых необоснованных обвинений, выдвигавшихся в то время. Кроме того, альтернативу национал-социализму он видел только в авторитарном государственном строе, который был бы в состоянии обуздать деструктивные тенденции масс, точно так же, как и «демонию власти», посредством строгой самодисциплины прусско-протестантского обязательного толка.

Но четкое противопоставление подобному же явлению у национал-социализма было видно только для находящихся внутри, а по отношению к внешнему миру оно могло быть понято как оправдание великодержавной политики силы в традиции Бисмарка и Фридриха Великого скорее в качестве позиции, конформистской к системе. Впрочем, как в истории и социологии, так и не в последнюю очередь в философии имелись ученые, использовавшие политическую ситуацию для утверждения собственного научного направления и даже для того, чтобы пытаться предписывать национал-социалистскому движению идеологические пути.

В исторической науке это первоначально делалось скорее в целях обороны, с мыслью о необходимости поддержать умеренные и консервативные элементы в правительстве и НСДАП против радикальных группировок. Этому же служила, в частности, мужественная речь Г. Онкена, произнесенная им в 1934 г. в Прусской Академии наук. В ней он хотя и высказался решительно за признание «национальной революции» 1933 г., но вместе с тем осторожно выступил против «иконоборцев», которые, как правило, появляются в революционные эпохи. Онкен в принципе согласился с необходимостью пересмотреть понимание германской истории, но старался при этом положить конец допускаемым здесь крайностям. «В этом всеобщем стремлении к переоценке,— говорил он,— проявляется то, что можно было наблюдать и на более ранних примерах: одновременное сочетание плодотворных новых мыслей и правильных акцентов с обусловленным временем произволом, который в отдельных случаях не останавливается ни перед рискованными гипотезами, ни перед сфальсифицированным материалом. Задача исторической науки — оставаясь верной своему принципу познания, а также сознавая свой национальный долг, занять определенную позицию в отношении этих новаций, и историография не может отнестись к выполнению этого долга слишком несерьезно. Борьба за интерпретацию национальной истории никогда не является чисто внутренним делом одного отдельного народа; она охватывает одновременно универсальные жизненные ценности, в которых мы имеем свой компонент вместе с другими народами. Именно мы, немцы, великая история которых свершалась в самой всеобъемлющей взаимосвязи с историей других народов, не должны считать, будто можем целиком оставаться в своем

[12] Ibid., S. 35f.

собственном кругу, когда мы словом своим разрушаем статуи древних германских императоров и символы сообщества христианских народов» [13].

Здесь в Онкене говорит либерально-консервативный ранкеанец, который при осторожной идентификации с принципами национальной великодержавной политики и национал-социалистского движения стремится указать на европейскую обусловленность германской внешней политики, при этом ища пути отступления исторической науки на линию чистой научности. Это привело к тому, что в страстную полемику включился В. Франк, который выдвинулся в число ведущих национал-социалистских идеологов истории. В крайне резкой статье, опубликованной в «Völkischer Beobachter» от 3—4 февраля 1935 г. и прямо направленной против Онкена, он обрушился на тех историков, которые лишь по причинам своего оппортунизма бросаются на шею господствующим в данный момент силам, на деле же не отождествляя себя лично с национал-социалистскими идеалами. «Вместо того, чтобы поставить себя на службу свершившимся великим событиям, сегодня этот релятивирующий мировоззренческий метод снова используется для того, чтобы сделаться судьей над нацистским движением. Подлинная объективность принадлежит национал-социалистской науке» [14].

В дальнейшем В. Франк предпринял попытку занять альтернативную позицию в отношении господствующей исторической науки, создав «Национал-социалистский Имперский институт германской истории», чтобы окончательно избавиться таким образом от предшествующей академической и университетской науки с ее якобы изжившим себя идеалом объективности и традиционалистскими воззрениями и обеспечить себе научное признание со стороны своей ученой корпорации. Это признание ему с полной готовностью предоставили такие корифеи, как Э. Маркс, Ф. Гартунг, Г. Зибель и К. А. Мюллер, хотя в остальном они никоим образом не могли бы считаться верными последователями нацистского режима. Это были национал-консервативные историки, в большинстве своем заключившие свой собственный мир с режимом, всего лишь предав Версаль и Веймар и начав рассматривать приход национал-социалистов к власти в 1933 г. как логическое завершение германской истории.

Членами Консультативного совета Имперского института германской истории являлись такие историки, как В. Шюсслер, Р. Хён, Г. А. Райн, Э. Р. Хубер, Р. Кремер, К. Штединг, Э. Анрих, Э. Ботценхарт и Э. Хёльцле. К более молодым принадлежали, в частности, Р. Штадельман и Ф. Фишер; первый уже в 1933 г. заявил: «Молодость призывает к трудам на поприще исследования в духе национальной революции» [15].

Тем не менее попытка до основания «революционизировать» историческую науку в национал-социалистском духе провалилась, хотя и удалось поставить в ней на ключевые позиции нацистских или же близко стоящих к НСДАП ученых. Так, Ф. Майнеке был заменен на посту редактора «Historische Zeitschrift» К. А. Мюллером, открывшим первый же номер выпущенного под его эгидой журнала достойным сожаления вступительным словом, в котором говорилось: «Она (то есть историческая наука.— *В. М.*) должна, опережая все другие науки, утверждать тот дух, который оживает ныне в нашем народе, участвовать в формировании нового облика германства для грядущего

[13] Wandlungen des Geschichtsbilds in revolutionären Epochen.— HZ. 1959. № 189.
[14] Цит. по: Rothfels H. Die Geschichtswissenschaft in den 30er Jahren. In: Flitner A. Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus. Tübingen. 1965, S. 107.
[15] Stadelmann R. Das geschichtliche Selbstbewußtsein der Nation. In: Vom Erbe der Neuzeit. Bd. I. Leipzig. 1942, S. 29.

времени»[16]. Точно так же в «Monumenta Hermaniae Historica» был введен новый человек — Т. Майер. И, наконец, Франку даже удалось путем безобразных интриг добиться досрочной отправки на пенсию влиятельного директора Имперского архива А. Браккмана, которого он считал представителем якобы отжившей буржуазно-либеральной исторической науки. И это несмотря на то, что тот с большой готовностью подвизался как исполнительный подручный восточной политики нового режима.

Однако в целом создать, помимо представителей разрешенной исторической науки, действительно новую форму национал-социалистской историографии не удалось. XV конгресс германских историков в Эрфурте в 1937 г., который сам Франк назвал «первым публичным испытанием» с целью доказать, привел ли вообще к каким-либо результатам и насколько далеко уже в осязаемой форме продвинулся идейный спор «гильдии» с «нацией», «научного познания — с политическим образом мыслей»[17], отнюдь не увенчался блестящим успехом[18].

Довольно путаный доклад К. Штединга о «политической истории и истории культуры» был воспринят с интересом, но лишь немногие стали его последователями. Речь Штединга в защиту «Ренессанса средневекового государственного и общественного строя на новом уровне» с утверждением, что «эпоха либеральной буржуазии» якобы подошла к концу, была принята более или менее сдержанно, хотя его выпады против истории культуры «как историографии народов, не имеющих своей истории и существующей только у отпавших от рейха и тем самым лишившихся истории народов», противоречили широко распространенным в традиционной историографии взглядам[19].

Такие сообщения, как, скажем, Хёфлера, о «проблеме германского континуитета», в котором тот пытался обосновать преемственность раннесредневекового германского строя вплоть до современности, обнаружили свою несостоятельность при первом же столкновении с твердыми фактами квалифицированной медиевистской критики[20]. Г. Риттер написал на экземпляре печатного варианта этого доклада, опубликованного в «Historische Zeitschrift»: «Отдельные интересные германистско-фольклорные наблюдения в области дальнейшего существования древнегерманских религиозных обычаев раздуты до «нового исторического мышления» и поданы с сильным утрированием критики научных традиций»[21].

Реферат же В. Шюсслера «Срединная Европа как идея и действительность» хотя и являлся дурным и весьма характерным примером раболепного заискивания историков перед национал-социалистским духом времени в сочетании с политической слепотой, вновь продолжал традицию национал-консервативного «остфоршунга», направленного против принципа самоопределения наций в Восточной Европе, и придавал всему национал-социалистский характер. «Вероятность прочного установления нового порядка и освобождения срединноевропейского пространства»,— утверждал Шюсслер, при следовании «национально-государственному мышлению Французской революции невозможна... ибо оно не допускает признания чуждой народности в собственной государственной сфере, а имеет целью ее подавление и уничтожение. Она

[16] HZ, 1936, № 153, S. 2.
[17] Frank W. Historie und Leben. Hamburg. 1937, S. 5.
[18] См. Botzenhard W. Der 15. Deutsche Historikertag in Erfurt.— HZ, 1937, № 156, S. 659ff.
[19] См. Heiber H. Op. cit., S. 508f; Schumann P. Die deutschen Historikertage von 1893—1937. Marburg — Lahn. 1974, S. 406—434.
[20] Höfler O. Das germanische Kontinuitätsproblem. Hamburg. 1937.
[21] HZ, 1937, № 156. Экземпляр хранится в библиотеке университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

осуществима только в духе установления «фёлькишского» нового порядка, провозглашенного Адольфом Гитлером в его великих политических речах в качестве принципа национал-социалистской политики, поскольку только такая политика готова и в состоянии уважать право другой народности на жизнь»[22].

Все это было, вне всякого сомнения, не в духе радикальных планов В. Франка. Наоборот, стало ясно, что историческая наука, по крайней мере пока, выступала за радикальную революцию только в терминологии и в выборе тем, но отнюдь не в своей сущности, причем в меньшей мере по причинам мировоззрения, чем в силу традиции и корпоративного духа. Поэтому не случайно в 1937 г. произошел крупный конфликт в связи с выступлением на Международном конгрессе исторических наук Г. Риттера, который подверг критике чересчур «фёлькишскую» интерпретацию Лютера историком О. Шеелем, доказав ее несостоятельность. Франк обвинил Риттера во «вредном для рейха поведении», однако в конечном счете не смог нанести серьезного ущерба его позиции как национал-консервативного историка, имеющего сильное протестантское прикрытие с тыла.

Попытка фронтального «революционизирования» исторической науки фракцией национал-социалистов (которая, правда, вскоре увидела своего конкурента в лице А. Розенберга), по существу, провалилась. Еще в 1935 г. Х. Даннебауэр в своей лекции при вступлении в должность категорически заявил: «Часто слышащееся сегодня требование, что историческая наука должна переучиваться и переоценивать ценности, является необоснованным именно в области древней германской истории»[23].

В смежных науках дела тоже, с точки зрения национал-социалистов, отнюдь шли не полностью в их духе, хотя первоначально это и могло выглядеть несколько иначе.

Президентом Германского общества социологии (в надежде таким образом отразить слишком жесткое вмешательство национал-социалистов в сферу научной деятельности) был избран Г. Фрейер[24]. Ожидания Фрейера, что настало время для такой «германской социологии», которая в отличие от социологии 20-х годов будет ориентироваться на модель более сильного авторитарного государства, оказались преждевременными. Ему сразу же пришлось вступить в конкуренцию с идущей на буксире у национал-социалистов, а вскоре ставшей действовать вместе с СС группой социологов, которые под руководством Р. Хёна хотели целиком и полностью превратить социологию в господствующую науку на службе национал-социализма. Фрейер исходил из предпосылки, что национал-социализм даст базу для внедрения национал-государственных взглядов в государство и общество, как это мыслилось уже в начале 30-х годов «Кружком действия». Но открыто проявившаяся во время путча Рёма радикализация нацистского режима поколебала его иллюзии и в конце концов привела его к отходу от текущих дел социологической науки.

Философы поначалу тоже полагали, что сумеют использовать национал-социализм для распространения собственных философских взглядов. М. Хайдэггер согласился на немедленное избрание его ректором Фрайбургского университета, полностью признав национал-социалистскую систему в надежде, что это приведет к победному шествию его философского направления. Более того, он, как недавно показал Г. Люга, даже, кажется, считал, что может идеологически указывать

[22] Цит. по: Der 15. Deutsche Historikertag in Erfurt.— HZ, 1937, № 156, S. 666.
[23] Werner K.-F. Op. cit., S. 48.
[24] Müller J. Z. Enttäuschung und Zweideutigkeit.— Geschichte und Gesellschaft, 1986, № 12.

пути национал-социализму или, как сам Хайдэггер выразился в беседе с Ясперсом, «вести фюрера» [25]. Аналогично и Германское общество философии, которое в наследии Хуссерля и неокантианства представляло философию ценностей, также предложило себя национал-социалистам в качестве поставщика идеологии. И это направление, к которому принадлежали, в частности, Б. Баух, Н. Хартман, Т. Литт и О. Шпанн, надеялось, что таким образом философию ценностей можно будет сделать господствующим в Германском рейхе философским направлением.

Правда, во всех этих случаях оказалось, что заигрывание и сближение с национал-социалистской системой и ее идеологией, не затрагивающее сущности философских систем, а лишь скользившее по их поверхности, не стоило того. В то время имелось сравнительно немного мыслителей, которых в конечном счете можно было бы назвать национал-социалистскими философами в узком смысле слова, как это с определенными оговорками можно сказать в отношении Э. Крикка, которому было суждено сделать при национал-социализме блестящую карьеру. Однако приспособление к существующим условиям со стороны ученых ведущих философских направлений дало режиму в критический момент его стабилизации дополнительные основания для своего признания. В результате это привело к тому, что стало совершенно невозможно выступить против режима с идейным оружием в руках.

Но следует сказать, что стремления национал-социализма принципиально привести историческую науку, социологию и философию на позиции национал-социалистского мышления в начальный период в значительной мере оказались безрезультатными. Однако в последующем начался процесс усиливающейся адаптации как исторической науки, так и социологии к духу времени. Одновременно, так сказать через заднюю дверь, в традиционную науку удалось проникнуть национал-социалистской идеологии, во многом приукрашенной и признанной унаследованными от прошлого ритуалами объективности.

В области социальных наук дело дошло до почти полного прекращения исследований по макросоциологии, хотя она еще в 20-х годах занимала в них доминирующее место. Только молодой А. Гелен выступил с антропологически ориентированными теориями о «руководящих структурах», весьма близкими к официальной национал-социалистской идеологии [26]. Вследствие этого социологии удалось окончательно завоевать признание в качестве господствующей эмпирической науки на службе национал-социализма.

Эмпирическое социальное исследование, как сказали бы теперь, служившее внедрению национал-социалистской идеологии, контролю над населением и анализу социальных, этнических и расовых условий, прежде всего за пределами германских границ, а также территорий Европы, стало предпочтительным полем деятельности профессиональных социологов [27]. Институты эмпирической социологии самого различного характера появлялись словно грибы после дождя; немалое число их находилось непосредственно на службе национал-социалистских учреждений или формирований, и прежде всего СС. В силу этого социологии (правда, ценой отказа от ядра ее научной задачи — критического анализа существующих общественных порядков) удалось не только укрепить свои позиции в третьем рейхе, но в некотором отношении и расширить их.

---

[25] L u g a H. Philosophy and National Socialism.— Vortrag vor der American Philosophical Association, 23. März 1989, S. 9; Martin Heidegger und das Dritte Reich. Darmstadt. 1989.

[26] G e h l e n A. Ein Bild vom Menschen.— Geist der Zeit, 19.VI.1941.

[27] См. материалистическое, но весьма расплывчатое по аргументации и тяготеющее к слишком общим оценкам исследование: R a m m s t e d t O. Deutsche Soziologie 1933—1945. Frankfurt a. M. 1986.

Об исторической науке сказать это в той же мере нельзя. Хотя до более глубоких вторжений в ее научную систему после того, как сорвалась фронтальная атака В. Франка, дело не дошло, произошло постепенное сближение ее с позициями национал-социализма. За исключением немногих историки не вступали в полемические споры с национал-социалистской публицистикой, а предпочитали окапываться в своей специальности для круговой обороны. Число тех, кто по политическим мотивам или, оставаясь верным научным принципам, отказывался служить системе и не проявлял готовности к приспособлению, было крайне незначительно, хотя случалось и так, что ученые ставили на карту свою карьеру.

Наиболее сильную группу образовали те, кто в своей понятийной сфере, в своей постановке вопросов и в своих оценках шел на уступки духу времени, но не идя при этом на измену принципам своей научной работы. Число же настоящих, убежденных национал-социалистов, которым до краха национал-социалистской системы так и не удалось действительно выдвинуться на ключевые позиции в своей научной дисциплине, было небольшим. Тем не менее происходила добровольная унификация на почве разрабатываемых тем и руководящих в каждом отдельном случае понятий; создавались основы таких методологических подходов, которые, по меньшей мере формально, шли навстречу национал-социалистской иерархии ценностей.

В определенной мере 30-е годы были блестящим периодом исследования истории средневековья. Парадоксально, но поворот, совершившийся в общественном сознании против либерального понятия государства, наиболее ярко выраженный Шмиттом, во многих отношениях благоприятствовал развитию новых процессов в области медиевистики. В исследованиях этого периода истории государство как носитель монополии узаконенного применения насилия уходит на второй план и, наоборот, усилено внимание к первичным господствующим образованиям в общественной сфере, к племенам, к аристократическим элитам, к народу.

Своим первым крупным подходом к созданию новой истории средних веков, основные положения которой сформулированы в книге «Земля и господство» (1939 г.), О. Бруннер обязан собственному пониманию процессов общественного развития после 1933 года. «Политический переворот последнего десятилетия,— писал он,— освободил нас от гнета давно готового рухнуть мира. Историческая обусловленность либерального правового государства сегодня очевидна. Его претензия быть той окончательной формой политического строя, из которой могут быть почерпнуты имеющие всеобщее применение масштабы и представления для понимания современности, отпала. Тем самым для истории открыт путь к новому постижению прошлого и вместе с тем для служения настоящему» [28].

Заслуга Бруннера заключается в том, что ему удалось глубоко проникнуть в своеобразие средневековых господствующих образований; он указал на региональные и даже локальные основы осуществления господства в тот период истории и средневековой правовой практики, которые уже не являлись образцом для современной государственности, но имели важную первоначальную природу. По терминологии Бруннера, это было следствием первичных жизненных порядков народа. Сам Бруннер сделал из результатов исследований такой вывод: «История народа — вот веление времени» [29]. В новом издании своей книги в 1959 г. он заменил понятие «история народа» понятием «структурная

---

[28] См. O e x l e O. G. Sozialgeschichte — Begriffsgeschichte — Wissenschaftsgeschichte.— VSWG, 1984, № 71, S. 320.

[29] B r u n n e r O. Land und Herrschaft. Brünn — München. 1942, S. 261.

история», которое он заимствовал у В. Конце, кстати с большим успехом. Амбивалентность этих положений, которые Бруннер стремился вывести из современных каждому из них понятий при помощи утонченного метода, слишком очевидна. Они могли бы, даже должны были до 1945 г. «считаться вкладом в историческое обоснование германского государства фюрерского типа» [30].

В соответствии с этим широкий интерес в 30-е годы к истории средневекового землевладения, интенсивное изучение различных форм этого землевладения, государств типа «личностных объединений» в противоположность современному институциональному государству не могут рассматриваться без учета тогдашней исторической ситуации. С одной стороны, именно медиевистика неоднократно, с энергией и гражданской непосредственностью, выступала против тех исторических легенд, которые были пущены в обиход национал-социалистами. Так, К. Эрдманн не оставил живого места от национал-социалистских легенд, связанных с раскопками мнимой гробницы Генриха I в Кведлинбургском соборе, которую Гиммлер приказал сделать местом посвящения в СС. Столь же мало оставила медиевистика и от легенды о «саксонском мяснике» Карле Великом. Но, с другой стороны, коренные элементы национал-социалистской картины истории уже тогда проникли в достаточно серьезные медиевистские исследования. Так, косвенное историческое признание услужливо было дано национал-социалистскому мифу о фюрере, поскольку принцип повиновения и верности, характерный для средневековых вассальных отношений, трактовался как предтеча «принципа фюрерства», или же средневековый социальный строй интерпретировался как соответствие нацистскому «народному сообществу».

В целом же тогдашнее толкование истории средневековья, хотя и осторожно, по большей части избегая радикальных односторонностей, но все же однозначно одобряло тезис о континуитете средневекового и третьего рейха вплоть до тысячелетнего. Самой же радикальной являлась, пожалуй, концепция Т. Майера, изложенная в его докладе 30 января 1940 г.: «Великогерманский рейх возобновляет вновь свое историческое развитие там, где ему 700 лет назад дали остановиться Штауфены» [31].

В области новой истории картина предстает более размытой. В целом можно констатировать усиление националистических толкований германской истории, причем зачастую с более решительной конфронтацией с традиционными либеральными интерпретациями, однако без ярко выраженных национал-социалистских позиций, за исключением носящих своего рода ритуальный характер предисловий и заключительных замечаний.

Это прежде всего относится к так называемой большой политике, то есть к сфере взаимоотношений великих держав [32]. Защита или оправдание позиций и притязаний Германии или прежних германских государств в отношении соперничающих с ними народов и государств вполне отвечали линии национально-политической борьбы немецких историков против Версальского договора и так называемой лжи о вине за [первую] мировую войну.

Подобное случилось даже с самим А. Вегерером — он попал под сильный обстрел за свой тезис, что 1914 г. нельзя считать виной за

[30] Schreiner K. Op. cit., S. 261.
[31] Ibid., S. 200.
[32] См. Platzhoff W. Die Theorie von der Mordbefugnis der Obrigkeit im XVI. Jahrhundert.— Historische Studien, Hf. 54, Brl. 1906; ejusd. Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570—1573. In: Historische Bibliothek. Bd. 28. München—Brl. 1912; ejusd. Geschichte des europäischen Staatensystems 1559—1660. München — Brl. 1928.

войну ни для одной из воевавших сторон: мол, уже давно установлено, что державы Антанты готовили войну задолго до ее начала. Таким же образом во все новых вариантах пропагандировался тезис о «коварном Альбионе», который при помощи своей политики европейского баланса и использования других народов в качестве своей «континентальной шпаги» воспрепятствовал свободному развитию Европы и Германского рейха.

Хорошим примером такого косвенного приспособленчества к духу времени служит В. Платцхоф, который после отставки Крикка стал ректором Франкфуртского университета [33]. Платцхоф приобрел репутацию историка европейской системы государств, принадлежащего к неокантианской школе; его научные публикации нацистского времени выходят за рамки прежних работ, когда он стремился соответственно приспособить оценки событий к требованиям того времени. Так, в статье о «континентальной политике Англии» в сборнике «Рейх и Европа» (1941 г.) он рассматривает британскую политику, начиная с образования Германской империи, как постоянно возобновляемую попытку «возможно сильнее сузить жизненное пространство немецкого народа и подорвать его позицию в Центральной Европе». «Эта война (вторая мировая.— *В. М.)* ведется не только за право немецкого народа на жизнь, но и за самоопределение Европы и ее независимость от Англии» [34]. Подобные высказывания вряд ли выходили тогда за рамки принятого. Несмотря на свою скорее обычную линию в науке, Платцхоф был услужливым помощником и исполнителем требований официальной политики как в своей роли ректора университета, так и члена его комитета, а затем с 1936 г.— преемника К. Бранди на посту председателя Союза германских историков. В частности, он обеспечил уже в 1933 г. кооптацию в этот комитет угодных нацистам историков, а также устранение ставших нежелательными для новых правителей представителей немецкой историографии из международных органов исторической науки. Несмотря на свои вполне верноподданнические выступления в качестве ректора и свои усилия по расширению преподавательского состава, как можно более конформистского в отношении режима, а также различных институтов, чтобы избавить Франкфуртский университет от репутации марксистского, Платцхоф (если сравнивать его с Крикком) никоим образом не был умеренным по своим воззрениям национал-социалистом, а являлся хорошо приспособившимся национал-консерватором, который, правда, делал все для того, чтобы содействовать целям своих начальников. Но имя таким, как он,— легион!

Если до тех пор в германской историографии несомненный перевес имело малогерманское направление, то теперь наступило благословенное время для тех историков, которые выражали великогерманские взгляды, как, скажем, Шюсслер или О. Вестфаль. Великогерманская интерпретация германской истории получила подкрепление и солидное моральное признание, особенно благодаря труду австрийского историка Г. Р. Србика, который, к большой досаде национал-социалистского истэблишмента, вступил в полемику даже с самим Франком. С переноса центра тяжести в сфере национальной историографии с национального государства на народность началось, с известной необходимостью, расширение интереса ко всем немцам, особенно проживавшим за пределами рейха. Сразу стало надобно защищать образование Бисмарком Германской империи со ссылкой на то, что тот, исходя из общегерманских интересов, предпочел объединение германской сферы в более узком ее понимании. Не обязательно прибегая к «фёлькишским» и рас-

[33] См. Hammerstein H. Op. cit., S. 449—453; Heiber H. Op. cit., S. 709.
[34] Das Reich und Europa. Leipzig. 1941, S. 118f.

стским аргументам, историки нового времени в выборе своих перспектив вели себя по отношению к национал-социалистскому духу времени конформистски.

Правда, наиболее резко это проявилось в германском «остфоршунге», который под непосредственным влиянием режима позволил превратить себя в послушное орудие национал-социалистской политики угнетения народов Восточной и Центральной Европы. М. Бургляйт недавно довольно подробно изучил деятельность различных учреждений германского «остфоршунга», особенно «Северогерманского исследовательского сообщества» и «Бюро публикаций» — одного из филиалов Имперского архива. Оба учреждения возглавлялись могущественным и очень влиятельным директором этого архива Браккманом [35]. В этих учреждениях были собраны многочисленные специалисты в области истории восточноевропейских стран, готовые научными средствами подкрепить политику нацистских властей в отношении Польши, а затем и других народов Восточной Европы.

Первые ростки этих устремлений относятся к 20-м годам. Их цель — насколько возможно это было сделать при помощи оружия науки, утвердить и усилить германство в Восточной Европе, а впоследствии во все большей мере и борьбу против стремлений противостоящих народов или национальных групп к своей эмансипации. Так, к примеру, считалось, что публикация научных работ о сорбских * языках не представляет никакого научного интереса, ибо они все равно обречены на вымирание.

Все эти весьма многообразные проявления немецкой активности увенчались оказанием научной помощи неограниченному властелину генерал-губернаторства в Польше Г. Франку и содействием в создании «Германского университета» в Познани, первостепенной задачей которого должно было стать научное и пропагандистское обоснование господства немцев в Восточной Европе.

Активизация «остфоршунга» должна была сочетаться с деятельностью названных выше многочисленных учреждений в области социальных наук, перед которыми были поставлены такого же рода «фёлькишские» задачи. В любом случае можно сказать, что здесь подвизались в большинстве своем лишь второразрядные историки (кроме Браккмана, который до своего ухода организовывал и направлял активные действия «Северогерманского исследовательского сообщества», а позже поддерживал тесные контакты с национал-социалистскими властями в Восточной и Центральной Европе, особенно с СС). Однако иногда встречаются и известные имена, например Аубина, а также Конце и Виттрама.

С началом второй мировой войны тяга к приспособлению в выборе тем, терминологии и оценке хода событий возобладала повсюду. Теперь дало себя знать то, что хотя историки, как целое, до известной степени отразили первый натиск идеологической «унификации» (в том, в чем она выходила за рамки обычных национальных и национал-консервативных моделей трактовки), потеряв при этом несколько важных научных бастионов, все же под давлением условий оказались не в состоянии сопротивляться «тихой унификации». «Военно-научные», как тогда говорили, темы, работы о зарубежном германстве, биографические труды в духе Ф. Ницше (в большинстве своем в шовинистическом духе), героическое восстание 1812 г. против наполеоновского господства — вот таковы были тогда предпочтительные темы. Явно «фёлькишски» аргументированные описания и статьи и теперь оставались исключением, но эта аргументация все более учитывалась и в серьезных научных публикациях.

[35] См. Germany Turns Eastward. Cambridge. 1988.

* Сорбы — немецкое наименование полабских (приэльбских) славян (лужичан), пользовавшихся в ГДР культурной автономией с центром в г. Баутцен.

Хорошее представление об этом стремлении дает появившееся в 1943 г. издание памяти К. А. Мюллера под названием «Ступени и перипетии германского единства» — пожалуй, одна из последних имеющих широкий характер публикаций военного времени. К тому же она почти свободна от прямых декламаторских заискиваний перед национал-социалистским режимом, но все же по выбору темы и всему своему стилю, несомненно, является далеко идущим приспособлением к духу времени. Г. Франц попытался в своем эссе об «истории и расе» объяснить историю периода Реформации, выводя ее из расовых конфликтов. Э. Ботценхардт изображал выдвинутую П. де Лагардом программу господства немцев «от Эмса до устья Дуная, от Меца почти вплоть до Буга» как признание текущей национал-социалистской «политики большого пространства».

В остальном же преобладали такие темы германской национальной истории, которые по своей аргументации держались в рамках обычного научного стандарта, но по своим основным понятиям (особенно таким, как «германская народность», «германская народная сила», «всегерманская общность судьбы») явно перенимали руководящие идеологические понятия дня. Впрочем, и здесь не было недостатка в косвенных аргументах, которые должны были служить укреплению военного духа. Так, К. Раумер, которого никак нельзя считать приверженцем национал-социализма, полагал, что в «решающем вопросе исторического испытания, удастся ли народу утвердиться в борьбе за свое существование в схватке с другими народами», историком проявляется «масштаб его способности к оценкам» [36]. Это было сознательным и сомнительным приспособлением к пропагандировавшейся в последние годы войны идеологии, призывавшей «держаться до победного конца!».

Даже у таких решительных противников национал-социалистского режима, как Риттер (один из немногих историков, поддерживавших контакты с движением Сопротивления), тщетно искать более решительные и открытые формы борьбы против национал-социалистской трактовки истории. Исследование Риттера «Могущественное государство и утопия» (Мюнхен, 1940 г., изданное в 1947 г. под названием «Демония власти») представляло собой, в сущности, оправдание великодержавной политики крупного могущественного государства в традициях национал-консервативной историографии, но с категорической ссылкой на то, что Германский рейх в отличие от Англии занимает так называемое угрожаемое срединное положение, которое исключает либеральную форму государственного строя. Сравнительно скрытые предостережения от беспринципной, пренебрегающей моральными постулатами любого политического акта, великодержавной политики (от которой, как показывают его письма, Риттер ожидал целительного политического действия [37]) значительно отступили здесь на задний план перед тезисом, по сути своей подогревающим антианглийскую тенденцию национал-социалистской пропаганды.

Написанная Риттером в 1936 г. и неоднократно переиздававшаяся биография Фридриха Великого, в которой он стремился противопоста-

[36] Müller K. A. Stufen und Wandlungen der deutschen Einheit. Stuttgart. 1943, S. 135.

[37] См. его письмо Г. Онкену от 15 мая 1940 г.: «Работа, глубочайшим внутренним смыслом которой является полускрытое ядро полемики с современной политикой могущества (скажем отчетливее, с господствующей ныне в мире, страшнее, чем когда-либо, демонией власти),— вот что внутренне чрезвычайно интенсивно занимает и возбуждает меня» (Schwabe K., Reichard R. Ein politischer Historiker in seinen Briefen. Boppard. 1984, S. 350).

вить нацистским властителям контробраз ответственной, рационально закалькулированной великодержавной политики, сознающей притом свои пределы[38], должна была, предположительно, вызвать у широкой публики, принявшей этот труд восторженно, скорее понимание именно этого, нежели сублимированный призыв держаться до последнего.

В целом же перед нами возникает картина удручающая. Правда, прямые попытки национал-социализма привести историческую науку на его идеологические позиции были малоуспешными прежде всего из-за того скудного интеллектуального потенциала, который он смог привнести в нее. В области же социологии, которая вследствие потери значительной части своих ведущих ученых была ослаблена по существу, вторжения национал-социализма были крупнее и, как кажется, возымели бо́льшие последствия. Эта еще молодая и не окрепшая в своих методологических канонах научная дисциплина лишилась почти всех своих научных представителей — таких, как К. Манхайм, Т. Гайгер, З. Ландсхут, Т. Адорно, А. Заломон и З. Нойман.

Историческая же наука, которая могла опереться на прочно устоявшуюся научную традицию, первоначально оказалась в положении более благополучном. И все же ей не хватило методологического, прежде всего идейного, противовеса, чтобы защитить себя от более или менее далеко идущей «унификации» в соответствии с идеологическими предписаниями и потребностями национал-социалистской системы. В некотором отношении именно методологическое учение идеалистического историзма с верой во внутреннюю осмысленность истории, а также в то, что историк способен почерпнуть критерии оценок, исходя из самого исторического процесса, послужило отправным пунктом постепенного приспособленчества к тенденциям режима.

Правда, отдельным исследователям или группам удалось «забаррикадироваться» в своих специальных областях исследований и таким образом отразить посягательства режима. Но распространенное убеждение, что нельзя отказываться служить своему государству по собственным национально-политическим мотивам, привело к тому, что линия границы с национал-социалистской идеологией становилась все более размытой — тенденция, которая во время второй мировой войны стала господствующей.

Уже тогдашним современникам было известно, чем в конечном итоге все это кончится. Г. Аубин, сам принявший значительное участие в действиях германского «остфоршунга» в эру национал-социализма, полагая, что активная германизация в Восточной Европе может быть отделена от национал-социалистской политики насилия в отношении соседних восточноевропейских народов, писал 25 января 1939 г. А. Браккману: «В том, куда направляет свои паруса с недавних пор молодежь, Вы, как я вижу, сомневаетесь столь же мало, сколь и я. Эти люди ждут не дождутся, как бы им поскорее удариться в безудержный империализм. Обратите внимание, как быстро Оттон I и Фридрих I поднимаются на щит, ибо они дали пример тому, как следует устанавливать «германский порядок». Эти люди лишают немецкую науку последнего кредита»[39]. Добавить к этому нечего.

---

[38] См. письмо Г. Онкену от 25 сентября 1935 г. (ibid., S. 282).
[39] См. Burleigh. Germany, S. 155. Anm. 2.

РУССКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ В ПРАГЕ

Т. Ф. Павлова

Идея создания архива для сбора и сохранения документов о жизни русской эмиграции возникла в 1923 г. в кругах эмигрантов, проживающих в Праге. Выбор ее для создания архива был не случаен. Злата Прага, являющаяся древним культурным центром, притягивала к себе беженцев из России. Здесь в 20-х годах проживало около 22 тыс. русских, в том числе значительное число общественных и политических деятелей, ученых, имевших обширные связи с российской эмиграцией во всех местах ее рассеяния. Пополнила их ряды и высылка из Советской России осенью 1922 г. многих русских интеллектуалов. В числе их были ученые и общественные деятели — А. А. Кизеветтер, В. А. Мякотин, А. Ф. Изюмов, Е. Д. Прокопович-Кускова. В Праге они встретили радушное гостеприимство как в общественных, так и в правительственных кругах. Первый премьер-министр независимой Чехословацкой республики (ЧСР) К. Крамарж и ее президент Т. Масарик восприняли русскую эмиграцию как политический и культурный фактор, учитывая при этом традиционные русофильские настроения части чешской интеллигенции и буржуазии.

В 20—30-х годах в Праге, кроме русских эмигрантских организаций и воинских объединений, действовали при финансовой поддержке чехословацкого правительства Русский народный университет, Русский институт коммерческих знаний, Русский институт сельскохозяйственной кооперации, Русский педагогический институт им. Яна Амоса Коменского, Русский юридический факультет и другие учебные заведения. Действовали культурные организации и кружки, профессиональные и корпоративные объединения, редакции газет и журналов. Наличие в Праге свыше 20 русских историков-эмигрантов положило начало в 1923 г. их научным собраниям, оформившимся в 1925 г. в Русское историческое общество, ставившее своей целью изучение истории русского и других славянских народов[1].

Архив русской эмиграции и архив Чехословакии был образован постановлением комитета Земгора[2] от 17 и 19 февраля 1923 г. как учреждение при культурно-просветительном отделе пражского Земгора в составе его библиотеки. Идею создания этого архива поддержали

ПАВЛОВА Татьяна Федоровна — заместитель директора ЦГАОР СССР.

[1] Русское историческое общество в Праге за 9 лет существования. 1925—1934 гг. Прага. 1934. Первым председателем общества был проф. Е. Ф. Шмурло, позднее его возглавляли профессора А. А. Кизеветтер и А. Н. Фатеев.

[2] Объединение российских земских и городских деятелей (Земгор) в ЧСР образовано 17 марта 1921 г. для оказания помощи российским гражданам, проживающим в ЧСР. Кроме архива, Земгор организовал в Праге Институт изучения России (апрель 1924 г.) и Экономический кабинет, возглавляемый С. Н. Прокоповичем (март 1924 г.).

министр иностранных дел ЧСР Э. Бенеш, его представитель — В. Гирса, а позднее преемник последнего — К. Крофта, историк по образованию. С первых же дней начались переговоры с русскими учеными и общественными деятелями об их содействии работе архива.

В начальный период собирательской деятельностью занимался культурно-просветительный отдел Земгора. Сообщение об образовании Архива русской эмиграции было сделано в эмигрантских газетах и журналах, разослано правлениям эмигрантских организаций в Праге, Берлине и Белграде с просьбой о присылке документов и материалов, характеризующих жизнь эмиграции. Была произведена регистрация действующих в эмиграции русских организаций. Кроме того, культурно-просветительный отдел Земгора разослал письма видным русским общественным и политическим деятелям, находящимся в эмиграции, с целью выявления сведений о наличии у них исторических документов и возможности их получения или приобретения. Обращение с просьбой о присылке печатной продукции было направлено редакциям эмигрантских газет и журналов.

В результате проделанной работы Архив русской революции был включен многими эмигрантскими организациями, редакциями газет и журналов в список учреждений, которым высылались обязательные экземпляры издаваемых материалов. Архиву удалось приобрести или получить в дар большое число эмигрантских периодических изданий на русском, украинском и белорусском языках, что было особенно важно, так как половина этих изданий к концу 1923 г. прекратила свое существование. В этот же период было положено начало собиранию документов, в первую очередь характеризующих деятельность эмиграции — воззваний, плакатов, фотографий, рисунков, карикатур, а также материалов земско-городских, казачьих, академических, студенческих, педагогических организаций и т. д. Тогда же удалось получить документы о деятельности отдельных политических и национальных группировок в эмиграции.

К 1924 г. относится разработка положения об архиве, проект которого готовился специальной комиссией и широко обсуждался. Наибольшее внимание комиссия уделила уточнению юридического статуса архива, его взаимоотношениям с Земгором, структуре, установлению компетенции его органов — Совета, Ученой и Хозяйственной комиссий; созданию института представителей и корреспондентов архива [3]. Положение об архиве было введено в действие постановлением комитета Земгора от 14 августа 1924 г. и в октябре 1924 г. утверждено общим собранием Земгора. В это же время архив получил новое название — Русский заграничный исторический архив в Праге (РЗИА) [4]. Положение определило основную задачу архива — «Собирание, хранение, систематизация и научная обработка материалов по истории России и входящих в нее народов».

К концу 1925 г. были сформированы органы управления архивом. Руководящим его органом являлся Совет (Временный совет), в который в различные годы входили историки и общественные деятели: А. А. Кизеветтер — председатель Совета и Ученой комиссии, Е. Ф. Шмурло, акад. П. Б. Струве, В. А. Мякотин, А. В. Флоровский, С. В. Завадский, П. Н. Милюков, генерал В. В. Чернавин, Н. И. Астров, В. Г. Архангельский, князь П. Д. Долгоруков, В. Л. Бурцев, И. М. Брушвит, С. Н. Николаев, Я. Славик и др. Совету были подотчетны все органы архива, им же выбирался управляющий (позднее директор) архива.

Для определения ценности приобретаемых документов и материалов была организована из экспертов Ученая комиссия, дававшая также заключения и по вопросам предоставления документов и печатных изданий для исследовательской работы. В 1926 г. Ученая комиссия имела следующий состав: А. А. Кизеветтер — председатель, В. А. Мякотин — секретарь, члены: В. Я. Гуревич — управляющий архива, А. В. Флоровский, В. В. Чернавин, Е. Ф. Шмурло, Я. Славик, член-сотрудник А. Ф. Изюмов. В организованные Советом в октябре 1925 г. отделы и секретариат были приглашены: заведующий отделом документов Изюмов [5], заведующий отделом печатных изданий С. П. Постников, заведующий газетным отделом Л. Ф. Магеровский и секретарь В. М. Краснов.

Собирательская деятельность архива осуществлялась по трем направлениям. Часть документов, наиболее значительная, передавалась ему бесплатно. На 1 января 1933 г. 65% всех документальных богатств архива поступило в него без оплаты, преимущественно от ликвидированных эмигрантских учреждений и организаций. Часть документов приобреталась. В середине 30-х годов, когда положение русских эмигрантов в ряде стран ухудшилось, усилился приток в архив личных документов — рукописей воспоминаний, дневников, писем. Трудности быта, частые переезды, материальные затруднения вынуждали владельцев документов продавать их РЗИА. Примерно 30% документов, предлагаемых для приобретения, браковалось. Экспертиза производилась очень тщательно, так как за границей оказалось много фальшивок и документов сомнительного происхождения [6]. Некоторые документы передавались на первых порах в архив на временное хранение. В конце 30-х годов руководство его уже противилось возвращению таких документов владельцам, считая, что «накапливает [их] для целей общенационального значения» [7].

Иногда бывшими владельцами документов, принятых в архив устанавливались определенные условия их хранения и использования («хранить в запечатанном виде 5—10 или 15 лет», «хранить в секретном порядке», «осуществить передачу по определенному назначению»). Некоторые владельцы документов воспрещали их опубликование или даже ознакомление с ними сотрудников архива. Были и такие завещания: «Передать в Россию после свержения Советской власти» или «по установлению в России законного правопорядка». В августе 1934 г., передавая документы Донского казачьего корпуса, его командир генерал Ф. Ф. Абрамов установил 15-летний срок ограничения пользования перепиской генералов П. Н. Врангеля, А. П. Кутепова, А. П. Богаевского, Е. К. Миллера, П. А. Кусонского, П. А. Скачкова [8]. Генерал А. С. Лукомский — один из организаторов Добровольческой армии, передавая свои документы из Парижа в Прагу, выставил условие: «После ознакомления с ними администрации архива они должны быть опечатаны и храниться в архиве до 1950-го года без допуска для ознакомления с ними кого-либо» [9].

---

[3] Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, ф. 5912, оп. 1, д. 281, л. 5.

[4] Там же, ф. 5764, оп. 1, д. 116, л. 7.

[5] А. Ф. Изюмов с 1918 г. являлся инспектором архивов при Московском областном управлении архивным делом. В 1918—1920 гг. выезжал в Вологодскую, Петроградскую, Ярославскую, Тульскую, Курскую, Костромскую и Нижегородскую губернии для обеспечения охраны архивов, их осмотра и вывоза в Москву. В марте 1919 г. он обеспечил вывоз из Могилева документов Ставки Верховного главнокомандующего, в апреле 1919 г. — вывоз из Петрограда библиотеки и некоторых дел Государственного совета и других документов, в мае 1920 г. — вывоз из Кирилло-Белозерского монастыря документов, эвакуированных туда Временным правительством. В 1922 г. был выслан из Советской России как «элемент общественно вредный». Первоначально проживал в Берлине. В 1923 г. приглашен был для работы в РЗИА.

[6] ЦГАОР СССР, ф. 7030, оп. 1, д. 36, л. 1.

[7] Там же, ф. 5971, оп. 1, д. 35, лл. 18—18об.

[8] Там же, л. 7.

[9] Там же, д. 48, л. 24.

Огромную роль в собирательской деятельности сыграли представители РЗИА, которые должны были «принимать меры к розыску и привлечению в архив материалов, знакомить лиц и учреждения с характером и задачами РЗИА, условиями, на которых возможна передача в архив материалов»[10]. В 1925 г. такие представители имелись в Берлине (Б. И. Николаевский, позднее В. М. Кудрявцев), в Париже (С. С. Минор и С. Г. Сватиков, П. П. Менделеев), в Белграде, Софии, Константинополе, Ревеле (Таллинн), Выборге, Варшаве, Харбине, Нью-Йорке, Тунисе, Риге, Ковно (Каунас), Гельсингфорсе (Хельсинки), Юрьеве (Тарту). Кроме постоянных представителей, архив к 1938 г. имел 1500 своих корреспондентов в 44 странах, где проживали эмигранты из России. Столь обширная сеть корреспондентов, поддерживаемая постоянными представителями в местах наибольшего скопления эмигрантов, и создала возможность эффективной собирательской деятельности архива.

С самого начала она имела целенаправленный характер. В отдельных случаях очень трудно было установить, у кого находятся интересующие архив документы. Многие из них не раз меняли своих владельцев, прежде чем осесть на полках РЗИА. За некоторыми собраниями приходилось охотиться долгие годы, вести сложные переговоры об условиях их передачи и хранения.

Более 9 лет продолжались переговоры о приобретении у бывшего председателя белогвардейского Южно-русского правительства, члена Донской исторической комиссии Н. М. Мельникова журналов Особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами Юга России и приказов главнокомандующего. К этим журналам были приложены многочисленные мнения участников Совещания, проекты законоположений, отметки об исполнении, а также журналы Малого Совещания. А. И. Деникин, например, «имел привычку писать на оригинале и свое мнение, и мотивы, по которым не утверждался тот или иной документ»[11]. С 1927 по 1935 г. продолжалась переписка о покупке архива Деникина, содержащего как материалы периода гражданской войны, так и его личные документы. При помощи представителя РЗИА в Женеве В. М. Фелькнера в 1926 г. были начаты переговоры о передаче в архив семейных реликвий и библиотеки А. И. Герцена. Представитель РЗИА в Лондоне Дионео (И. В. Шкловский) способствовал поступлению в архив рукописей старой лондонской эмиграции[12].

Об объеме ежегодных поступлений в РЗИА можно судить по тому, что только в 1934 г. в архиве было получено 2719 посылок с материалами и изданиями. В их числе архивы русского консульского суда в Константинополе, военного агента на Балканах, Б. В. Савинкова, материалы по истории КВЖД, письма П. А. Кропоткина из собрания М. И. Гольдсмит, воспоминания П. П. Менделеева, дневники П. Е. Мельгуновой-Степановой, Л. Н. Новосильцева, воспоминания генерала Г. Е. Янушевского, В. Ф. Булгакова «Толстовцы в 1914—1916 гг.», письма генерала М. В. Алексеева, С. Петлюры и многие другие[13].

В 1931 г. архив объявил о намерении приступить к собиранию литературных архивов, оценивая их как «драгоценный материал по истории русской культуры», имея в виду как личные архивы писателей, так и архивы литературных объединений[14]. В 1932 г. РЗИА распространил в эмигрантских кругах обращение с просьбой присылать автобиографии с фотографиями лиц, «участвовавших в общественной и политической жизни России в эпоху, предшествовавшую революции, а также в пору революции, гражданской войны и в годы эмиграции»[15]. В связи с этим М. А. Осоргин в парижской газете «Последние новости» за 25 декабря 1932 г. писал: «Есть способ пополнять материалы Пражского архива важнейшими документами [путем] посылки собственных биографических данных, фотографий, перечня дел и трудов, печатных произведений, документов или их копий. Это не только каждому доступно, это настоящая обязанность»[16]. Однако, как отмечалось в отчете РЗИА за 1936 г., на просьбу архива откликнулись немногие. С середины 30-х годов, в связи с ухудшившимся положением эмигрантов, стали чаще поступать предложения о покупке мемуаров в то время, как материальные возможности архива сократились. Пришлось производить строгий отбор, отдавая предпочтение дневниковым записям и воспоминаниям документированным, написанным по следам событий[17].

Архив активно комплектовался книгами, журналами и газетами, для чего в нем были созданы специальные книжно-журнальный и газетный отделы. В немалой степени это определило уникальный состав собраний газет и журналов. К 1939 г. газетный отдел насчитывал около 10 тыс. годовых комплектов. По отдельным районам белого движения периода гражданской войны были собраны полные комплекты газет. В основном они поступали безвозмездно, зачастую в порядке обмена.

К 1936 г. архив имел большой обменный фонд — свыше 50 тыс. книг и сотни названий журналов. Обмен проводился с рядом постоянных контрагентов: Библиотека Французского военного музея в Париже, Гуверовская библиотека при Стэнфордском университете (США), Социал-демократический архив в Париже, Украинский музей в Праге, университетские библиотеки в Лондоне, Гельсингфорсе, Познани, Софии, Гарварде, публичные библиотеки — Тургеневская в Париже, Виленская, Нью-Йоркская, частные коллекционеры в Европе, Америке и на Дальнем Востоке. РЗИА обменивался с библиотекой Коммунистической академии в Москве и ее отделением в Ленинграде, Музеем В. И. Ленина, Институтом литературы, Государственным литературным музеем и др. учреждениями Советского Союза.

Книжный отдел РЗИА формировался по программе, утвержденной Ученой комиссией архива. Состав его библиотеки в основном соответствовал составу документов архива. РЗИА оценивал свое книжно-журнально-газетное собрание как «Русскую книжную Палату» за рубежом»[18]. Из наиболее редких журналов в РЗИА имелись сатирические журналы 1905 и 1917 гг. и 130 журналов профессиональных союзов дореволюционного периода. Важную группу составляли эмигрантские журналы, издававшиеся до 1917 г. в европейских странах русской политической эмиграцией более чем за полувековой период. Тщательно подбирались архивом украинские и белорусские журналы как дореволюционной эмиграции, так и послеоктябрьской. Уникальными являлись также литографированные журналы, издававшиеся в военных лагерях эмигрантского периода. Из журналов на иностранных языках архив собирал только те, которые были посвящены русским или общеславянским проблемам. Газеты зачастую поступали в архив в составе личных собраний, например, в коллекции Н. В. Чайковского имелись переплетенные комплекты газет, выходивших в Архангельске. Собирались

---

[10] Там же, ф. 7030, оп. 1, д. 37, л. 10.
[11] Там же, д. 18, л. 6.
[12] Там же, ф. 5913, оп. 1, д. 522, л. 31.
[13] Там же, ф. 7030, оп. 1, д. 21, л. 12.
[14] Там же, ф. 5913, оп. 1, д. 538, л. 1.
[15] Там же, д. 529, л. 16.
[16] Там же, л. 14.
[17] Там же, ф. 5962, оп. 1, д. 18, л. 217.
[18] Русский заграничный исторический архив при Министерстве иностранных дел Чехословацкой республики в 1936 году. Прага. 1936, с. 12.

и систематизировались по тематическому признаку вырезки из различных газет на русском языке.

Работа по упорядочению и описанию материалов значительно отставала от темпов их поступления в архив, что создавало угрозу образования залежей неописанных документов. В первую очередь описывались частные архивы и мемуары. Некоторые коллекции и личные архивы представляли собой бессистемную массу разного рода документов и материалов, не прошедших даже первичной систематизации.

Ученая комиссия архива утвердила классификатор документального фонда РЗИА по разделам. Поступающие в отдел фотографии, рисунки, карикатуры, шаржи, карты, планы, листовки, воззвания, марки, денежные знаки составили раздел «А». В 1932 г. в нем находилось более 7 тыс. фотографий. Большую ценность представляли альбомы Департамента полиции с фотографиями революционеров, изданные для его агентов. Имелось большое количество снимков с фронтов первой мировой и гражданской войн, о жизни русской эмиграции в различных странах. В том же разделе находилось свыше 4500 листовок и воззваний, позволяющих пролить свет на важные моменты политической борьбы. Коллекция приказов в том же разделе включала как отдельные, разрозненные экземпляры, так и подборки приказов по военному ведомству периода первой мировой войны. Ко времени гражданской войны относятся приказы Главнокомандующего Добровольческой армией и вооруженными силами Юга России генерала Деникина, адмирала Колчака и полный комплект приказов генерала Врангеля по так называемому правительству Юга России. Здесь же хранились два альбома художника Ю. К. Арцыбушева с зарисовками 1917—1918 гг, деятелей революционного и общественного движения (В. И. Ленина, А. И. Рыкова, Л. Д. Троцкого, А. Ф. Керенского и многих других).

В раздел «В» входили мемуары, дневники, статьи, написанные на основе личных воспоминаний. Их авторами являлись не только политические, военные и общественные деятели, но и рядовые участники событий. В их числе дневник генерала Алексеева за 1916—1917 гг., где он тщательно фиксировал все, что относилось к жизни фронта и нуждам обороны страны до своей отставки в мае 1917 г. с поста начальника штаба Верховного Главнокомандующего, а также рукопись Колчака, известная более как дневник и представляющая собой черновики писем 1917—1918 гг., адресованных А. В. Темиревой (урожденной Сафоновой).

Раздел «С» содержал переписку частных лиц и личные архивы, «сохраняющие свою особенность». В их числе архивы А. Ф. Амфитеатрова, Е. К. Брешко-Брешковской, В. К. Дебагория-Мокриевича, В. Л. Бурцева, Н. В. Чайковского и многих других.

В раздел «Д» вошли документы о революционном и общественном движении. В их числе коллекция уставов и программ различных кружков, организаций и обществ, обвинительных актов и протоколов заседаний военных судов по делам о революционных обществах, начиная с 70-х годов прошлого века. Это в основном документы народнических и радикальных группировок дореволюционной эмиграции. В составе коллекции документов М. П. Драгоманова в РЗИА поступила часть архива «Колокола» А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Архив Савинкова содержал документы Боевой организации эсеров, письма И. П. Каляева, Е. С. Сазонова, П. В. Карповича, Е. Ф. Азефа и многих других. К этому же разделу относились и официальные издания Департамента полиции, обзоры, циркуляры, в том числе обзоры важнейших дознаний по делам о государственных преступлениях за 1882, 1887—1890, 1893 и 1900 годы.

Две группы документов раздела «Е» содержали сведения об армии и внутриполитической жизни России периода первой мировой войны. Из военной документации здесь были материалы штабов 2-й и 4-й русских особых бригад Салоникского фронта, разведсводки по фронтам — Северному, Западному, Юго-Западному и Румынскому и др.

Наибольшее число документов, отражавших историю революции и гражданской войны в России, входило в раздел «F». Они сгруппированы по территориям, где происходили события 1918—1921 гг. (Временное правительство Северной области, правительство генерала Врангеля в Крыму, правительство Юга России, Комуч, войсковое правительство Оренбургского казачьего войска, Директория, Временное Сибирское правительство и др.).

Документы послереволюционной эмиграции были сосредоточены в разделе «Н», включающем кроме общих сведений о деятельности академических организаций, студенчества, церкви, воинских формирований, конкретную информацию о быте и материальном положении эмигрантов. Приказы, инструкции, протоколы заседаний и совещаний, донесения, обращения, воззвания, отчеты отражали текущую деятельность эмигрантских организаций и политических группировок.

Совет РЗИА и его сотрудники в своих декларациях, отчетах, информациях отстаивали тезис об «аполитично-объективном характере деятельности архива», указывая, что работа его «всегда велась в строго научных рамках, далеких от какой-либо партийности» [19]. Между тем исследователи к документам и редким печатным изданиям, хранящимся в архиве, допускались только с разрешения Ученой комиссии. В 1930 г. архив посетил директор ИМЛ Д. Б. Рязанов. После этого А. Ф. Изюмов написал Б. И. Николаевскому [20]. «Вот был у нас Р[язанов]. Казалось бы, чего тут волноваться. Человек приехал узнать, что есть по определенным вопросам. Сам был очень деликатен и просил лишнего ничего не показывать. А как зашипели, как заинтриговали на другой же день все эмигрантские праведники. Меня обвинили и в том, что я показал весь архив, что был больше любезен, чем нужно, и даже обвинили в том, что если бы меня не было, то нога нечестивого не была бы в нашем благочестивом месте» [21].

«Русская акция» правительства ЧСР не могла длиться долго. Начиная с конца 1924 г., учитывая ухудшение экономического положения Чехословакии, ассигнования на беженскую помощь и содержание культурно-просветительных эмигрантских учреждений стали сокращаться. В конце 1925 г. Земгор передал некоторые свои учреждения чехословацким правительственным и общественным организациям. 31 марта 1928 г. был подписан акт о передаче РЗИА Министерству иностранных дел ЧСР. Представителям Земгора был выставлен при этом ряд условий, в том числе сохранение наименования архива, его функций, «целостности и недробимости всех фондов и коллекций архива», оставление во главе архива коллегиальных автономных органов с участием русской общественности, а также, по возможности, и русского состава служащих архива [22]. Представители Земгора при подписании акта высказали пожелание, чтобы в случае возникновения вопроса о передаче

---

[19] ЦГАОР СССР, ф. 7030, оп. 1, д. 36, л. 1.

[20] Николаевский Б. И. (1887—1966) — историк-археограф. В 1903 г. вступил в РСДРП. С 1906 г.— левый меньшевик. В 1919—1921 гг. работал инструктором Центрархива. В 1922 г. выслан из Советской России. Проживал в Берлине, позднее — во Франции, с 1942 г.— в США. Являлся представителем РЗИА в Берлине, Центрархива — в Германии, с декабря 1924 г. по 1931 г.— по заданиям Института Маркса — Энгельса — осуществлял выявление за рубежом документов и печатных изданий произведений К. Маркса и Ф. Энгельса.

[21] ЦГАОР СССР, ф. 5962, оп. 1, д. 11, л. 117.

[22] Там же, д. 9, л. 2об.

РЗИА России, МИД ЧСР осуществило эту акцию лишь при условии падения там власти Советов [23].

В силу нового статуса РЗИА общее руководство, надзор и контроль за управлением архивом было возложено на уполномоченного МИД ЧСР, которым стал проф. Славик. Возглавил архив избираемый его Советом управляющий. С 1928 г. им был Архангельский. Руководство научной работой осталось в руках Совета архива и Ученой комиссии. Средства на РЗИА отпускались теперь МИД ЧСР, что в определенной степени укрепило экономическую базу архива. Однако в кругах эмиграции этот шаг был расценен как потеря архивом самостоятельности и своего «лица» как культурного эмигрантского учреждения.

В 1929 г. началась издательская деятельность архива: была напечатана на гектографе брошюра «Русский заграничный исторический архив в 1928 году». Кроме того, в издательстве «Орбис» были выпущены воспоминания председателя Совета РЗИА Кизеветтера «На рубеже двух столетий (1881—1914 гг.)», а также сборник документов архива, включающий дневники генерала Алексеева, письма М. Н. Каткова П. А. Валуеву, Кропоткина Чайковскому [24]. Информация о новых поступлениях в архив регулярно печаталась в ежегоднике Славянского института, газетах «Последние новости» и «Возрождение» (Париж), «Голос труда» (София), «Неделя» (Данциг) и др. В 1938 г. архив выпустил в свет «Библиографию русской революции и гражданской войны (1917—1921 гг.)».

В 1934 г. по просьбе генерала Богаевского — атамана войска Донского в состав РЗИА был включен Войсковой архив Войска Донского на правах особого Отдела Донского архива. Он содержал главным образом документы по истории Войска Донского, военные документы гражданской войны на Дону и казачьей эмиграции. Осенью 1926 г. в его состав вошел и архив Штаба Донского корпуса, вывезенный из Крыма. Отдел Донского архива содержал кроме документов значительное количество военных карт, негативов, фотографий, рисунков [25]. Вместе с документами в отделе хранились исторические ценности и реликвии Донского музея.

В 1934 г. возникли определенные трения между руководством РЗИА и МИД ЧСР. Последний возражал против признания архива автономной организацией, вхождения в его Совет представителей Земгора (вследствие его ликвидации), права Совета окончательно решать вопросы о разрешении исследователям заниматься в архиве. Кроме того, МИД ЧСР настаивал на том, что официальным языком для служащих архива является чешский [26].

Новое положение об архиве, введенное в действие 1 января 1935 г., отразило потерю им самостоятельности в решении финансовых и кадровых вопросов, а главное — вопросов о допуске исследователей к документам. В 1935 г. была упразднена должность управляющего архивом, сокращены ставки : уволена часть служащих. Все попытки Совета архива отстоять его прежнее положение не увенчались успехом. Д. И. Мейснер, бывший в те годы сотрудником газетного отдела РЗИА, вспоминал: «Административная и контрольная часть (архива) находилась в руках чешского историка, представителя министерства иностранных дел, специалиста по новейшей русской истории Яна Славика» [27].

---

[23] Там же, л. 42.
[24] Русский исторический архив. Т. 1. Прага. 1929.
[25] ЦГАОР СССР, ф. 7030, оп. 1, д. 11, л. 20.
[26] Там же, д. 17, л. 2.
[27] Мейснер Д. Миражи и действительность. М. 1966, с. 183.

События осени 1938 г., когда фашистская Германия оккупировала Судетскую область, вызвали тревогу Совета и сотрудников архива за его судьбу. На своем заседании члены Совета заявили, что они «всей душой переживают горе, постигшее чехословацкий народ, верят в его творческие силы, с которыми он в своей истории не раз выходил из еще более тяжких испытаний, и выйдет и теперь» [28]. Резко ухудшилось материальное и правовое положение русской эмиграции. В октябре 1938 г. МИД ЧСР распорядился прекратить покупку документов, книг, газет.

В этих условиях Совет архива обратился к своим представителям в США, а также к отдельным американским историкам, знакомым с фондами архива, с просьбой оказать ему материальную поддержку. «Можно по-разному относиться к происшедшему в России,— говорилось в обращении о значимости собирательской деятельности архива,— но едва ли кто станет оспаривать, что русская революция определяет собой целую историческую эпоху и изучение событий, с ней связанных, имеет международное значение» [29]. В то время в РЗИА насчитывалось рукописных мемуаров и дневников — 902 названия объемом около 4 тыс. печ. листов (условно); фотографий и рисунков — более 24 тыс.; документов — почти 2,9 млн. листов. В отделе Донского архива хранилось более 648 тыс. листов документов, в книжно-журнальном отделе — 48 332 названия журналов, книг и брошюр [30].

В марте 1939 г., когда гитлеровцы оккупировали чешские земли, произошло дальнейшее ухудшение положения РЗИА. 22 марта 1939 г. архив был принят под покровительство нацистского МВД. Назначенный им представитель должен был охранять немецкие интересы в архиве, следить за деятельностью его заграничных представителей [31]. Произошла смена руководства архива. Возглавлявший его Славик в прощальном слове сказал сотрудникам архива: «Когда наступит время, все собранные в фондах архива богатства поступят в Россию и в этом будет заслуга ЧСР перед великим русским народом» [32].

Практически с этого момента, кроме оплаты содержания служащих, никаких средств на нужды архива не отпускалось. Прекратилось поступление газет и журналов из других стран. По сообщению председателя Совета РЗИА проф. Фатеева, в июне 1939 г. для переговоров о возможности покупки архива в Прагу прибыли из США представители Колумбийского и Бостонского университетов. Однако переговоры не увенчались успехом [33]. Между тем продолжалось поступление документов в архив в основном от эмигрантов. Активно продолжал пополняться в годы войны документами ликвидированных казачьих организаций отдел Донского архива. В ноябре 1939 г.— апреле 1940 г. РЗИА неоднократно посещали гестаповцы, которые интересовались прежде всего наличием советской литературы в библиотеке и фондах архива, ее учетом и порядком допуска к ней [34].

С началом войны фашистской Германии с Советским Союзом был интернирован заместитель директора архива, заведующий отделом документов Изюмов, в марте 1942 г. уволены старейшие сотрудники — секретарь архива Краснов, заведующий книжно-журнальным отделом Постников и сотрудник того же отдела С. П. Бобровский. В июле 1942 г. в филиал архива сухопутных сил Германии в Праге были переданы документы по военной истории из фондов РЗИА, а реликвии Дон-

---

[28] ЦГАОР СССР, ф. 7030, оп. 1, д. 34, л. 2.
[29] Там же, д. 36, л. 6.
[30] Там же, д. 49, л. 9.
[31] Там же, ф. 5981, оп. 1, д. 275, лл. 68—68об.
[32] Там же, ф. 7030, оп. 1, д. 47, л. 2.
[33] Там же, д. 41, л. 4.
[34] Там же, оп. 2, д. 435, л. 112.

ского музея перешли в Пражский национальный музей и архив МВД [35].

После окончания второй мировой войны 13 июня правительство Чехословакии приняло постановление о передаче Русского заграничного исторического архива в Праге Академии наук СССР. На празднование ее 220-летия в Москву прибыла делегация чехословацких ученых во главе с министром школ и народного просвещения республики З. Неедлы. Выступая на торжествах, он сообщил о передаче Пражского архива в дар АН СССР.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 октября 1945 г. в Чехословакию была направлена Комиссия для приема РЗИА в составе И. И. Никитинского — начальника ГАУ НКВД (руководитель комиссии), членов-корреспондентов АН СССР С. К. Богоявленского и И. И. Минца и старшего научного сотрудника Института Маркса — Энгельса — Ленина — С. Б. Бутоцкого [36]. К работе по осмотру, проверке, приему и упаковке материалов РЗИА были привлечены его бывшие сотрудники, прежде всего А. Ф. Изюмов и Д. И. Мейснер.

Проведенная в октябре — ноябре 1945 г. проверка позволила установить, что документы архива сохранились почти полностью, несмотря на их рассредоточение в годы войны по четырем различным хранилищам. 6 декабря 1945 г. премьер-министр ЧСР З. Фирлингер вручил Комиссии государственный акт о передаче РЗИА в дар АН СССР.

13 декабря 1945 г. погрузка 650 ящиков с документами, книгами, журналами, газетами была завершена, и военный транспорт в составе 9 вагонов был отправлен в Москву. Кроме собраний РЗИА там находились документы генерала А. А. Брусилова, переданные Комиссии сестрой его вдовы Н. Брусиловой-Желиховской. Была разыскана и присоединена к фондам РЗИА часть документов бывшего ученого корреспондента Российской АН в Риме Е. Ф. Шмурло, найденных на чердаке бывшего Института Гейдриха [37]. В составе РЗИА были направлены в Москву и рукописный отдел и библиотека Русского литературно-исторического музея в г. Збраслове, созданного бывшим секретарем Л. Н. Толстого — В. Ф. Булгаковым и содержавшего рукописи и другие материалы А. Н. Бенуа, К. А. Коровина, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Ф. И. Шаляпина и других писателей, художников и артистов. По возвращении в Москву 25 декабря 1945 г. Комиссия в отчете президенту АН СССР С. И. Вавилову отметила, что «дар Чехословацкой республики превзошел все наши ожидания как по количеству материалов, так и по их содержанию» [38]. В конце января 1946 г. состоялось совещание Президиума АН СССР, которое постановило: «Принять РЗИА в ведение АН СССР и ввиду ценности материалов архива просить ГАУ принять его на хранение в помещение ЦАОР» [39]. 3 января 1946 г. документы бывшего РЗИА (свыше 350 тыс. единиц хранения и 250 кг россыпи) прибыли в Москву и были размещены в ЦГАОР СССР. Предполагалось «РЗИА сохранить в таком виде, в каком он образовался в Праге, не допуская передачи архивных фондов или отдельных коллекций в другие госархивы или в научные учреждения» [40].

НКВД распорядился «ввиду того, что среди материалов архива имеется большое количество документов, характеризующих антисоветскую работу белой эмиграции за период с 1917 по 1940 г., доступ к указанным материалам архива научных сотрудников различных учреждений ограничить». Одновременно был строго ограничен допуск к имеющимся в РЗИА печатным изданиям белоэмигрантского характера.

[35] Там же, оп. 1, д. 119, л. 1; ф. 5325, оп. 10, д. 2023, лл. 1—8.
[36] Там же, ф. 5325, оп. 10, д. 1996, л. 26а.
[37] Там же, оп. 1, д. 2024, л. 28.
[38] Там же, ф. 5325, оп. 10, д. 2023, л. 42.
[39] Там же, оп. 1, д. 2023, л. 42. Так в тексте; в марте 1941 г. ЦАОР был переименован в ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.
[40] Там же.

С проведением научно-технической обработки документов архива началось на основе его материалов составление картотек на белогвардейцев, эмигрантов, пособников фашистов в среде белой эмиграции. Среди документов отдела Донского архива имелась переписка руководителей белоказачьей эмиграции с гитлеровским Генеральным штабом, материалы о связях белоказачьих формирований с Власовым и его штабом. В связи с подготовкой судебного процесса над белогвардейскими генералами П. Н. Красновым, А. Г. Шкуро, Султан-Гиреем-Клычом было проведено выявление и фотокопирование документов об их деятельности за период с 1918 по 1945 год.

После перевозки РЗИА в Москву рядом ведомств были предприняты шаги по изъятию из его состава отдельных документальных комплексов. По просьбе Архивного управления МИД СССР в 1946 ему были переданы личные фонды русских дипломатов (А. П. Извольского, И. Я. Коростовца и др.), документы российских консульств и дипломатических миссий в ряде стран, агентов российского Министерства торговли в зарубежных странах [41]. Тогда же в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС были переданы документы, связанные с деятельностью Сталина. Отдельные документы, касающиеся Ленина и Сталина, обнаруженные в процессе научно-технической обработки фондов РЗИА, передавались в ЦПА ИМЛ и позднее. В 1955 г. по просьбе Центрального государственного литературного музея ему был передан Заграничный архив Герцена и Огарева [42]. В октябре 1946 г. по распоряжению Совета Министров СССР музейные ценности по истории донского казачества, имевшиеся в РЗИА (1040 экспонатов) были переданы Комитету по делам культурно-просветительных организаций при Совете Министров РСФСР для воссоединения их с основной частью Новочеркасского музея по истории Войска Донского [43].

В феврале 1959 г. в ГАУ МВД СССР состоялось совещание по вопросу о порядке дальнейшего хранения документов бывшего РЗИА. Было признано целесообразным оставить на хранении в ЦГАОР СССР только документы, отражающие антисоветскую деятельность белоэмигрантских организаций и отдельных ее представителей. Передаче из ЦГАОР СССР в другие архивы подлежали: подлинники материалов учреждений царской России и Временного правительства, а также буржуазных партий, как вывезенные белоэмигрантами за границу, так и образовавшиеся в период эмиграции; документальные материалы украинской и белорусской националистической эмиграции; оккупационных учреждений, существовавших на временно оккупированной гитлеровцами территории СССР; известных писателей, литературоведов, искусствоведов-белоэмигрантов.

Следствием этого решения стала передача фондов из состава бывшего РЗИА в ряд архивов Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. Широкая передача фондов белогвардейских военных учреждений, войсковых соединений и воинских частей в Центральный государственный архив Советской Армии, в том числе из бывшего РЗИА, производилась в 1965 году. Немногим ранее в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР были переданы из состава РЗИА личные фонды А. В. Амфитеатрова, В. Ф. Булгакова, Дионео (И. В. Шкловского), В. Я. Ирецкого, В. И. Немировича-Данченко,

[41] Там же, ф. 5142, оп. 10, д. 2959, л. 84.
[42] Там же, оп. 1, д. 581, л. 38; д. 493, л. 15.
[43] Там же, оп. 10, д. 2221, л. 30.

Ю. И. Айхенвальда, М. А. Суворина, М. И. Цветаевой и др.[44]. В 70-х годах часть документов из состава РЗИА была передана в Центральный государственный военно-исторический архив СССР, в том числе коллекция приказов по различным воинским частям периода первой мировой войны, фонды отрядных комитетов русских войск во Франции, комитетов помощи русским военнопленным и др.

Проведенные изъятия из состава бывшего РЗИА разрушили целостность его комплексов, органическую связь, существовавшую между его различными фондами, коллекциями и печатными изданиями. Поступив в местные архивы, малообъемные фонды в отдельных случаях были включены в состав объединенных фондов и коллекций и утратили свой самостоятельный характер.

Огромный вред сохранности печатных изданий бывшего РЗИА нанесла предпринятая в 1961 г. по распоряжению Главархива СССР передача книг, брошюр, листовок, газет в состав вновь созданной библиотеки Центральных архивов СССР. Позднее была проведена работа по изъятию и передаче печатных материалов из состава документальных фондов бывшего РЗИА. Таким образом, была нарушена взаимосвязь документальных материалов и печатных изданий, которую сотрудники РЗИА в Праге пытались осуществить в процессе его комплектования.

После всех этих передач в ЦГАОР СССР осталось всего свыше 98 тыс. из поступивших в 1946 г. 350 тыс. дел РЗИА. В основном, в них отражена деятельность эмигрантских учреждений и организаций (объединений, партий, редакций газет и журналов) в Болгарии, Германии, Польше, Франции, Чехословакии, Югославии и других странах. Это личные фонды деятелей белой эмиграции и отдельных участников революционного движения, общественных и политических деятелей.

Ценность документов РЗИА, поступивших в СССР, была сразу же оценена советскими историками. Несмотря на режим закрытого хранения, осуществлялось их изучение и научное использование. Комплекс документов по истории белого движения и иностранной интервенции был использован при подготовке 3-томной публикации «Из истории гражданской войны в СССР», «Истории гражданской войны в СССР» (т. 4. М. 1959; т. 5. М. 1960). Документы белогвардейских и эмигрантских фондов РЗИА привлекались историками при написании ряда исследований [45].

Фонды бывшего РЗИА, хранящиеся в ЦГАОР СССР, в марте 1987 г. были рассекречены и переведены на открытое хранение, а с 1989 г. выделены в специальное хранилище коллекций белогвардейских и белоэмигрантских фондов. Одной из важнейших задач теперь становится пополнение их документами и материалами, возвращаемыми в нашу страну в рамках реализации программы «Возвращение» Советским фондом культуры.

---

[44] Там же, оп. 1, д. 704.

[45] Иоффе Г. З. Крах российской монархистской контрреволюции. М. 1977; его же. Колчаковская авантюра и ее крах. М. 1983; его же. Великий Октябрь и эпилог царизма. М. 1987; Комин В. В. Крах российской контрреволюции за рубежом. Калинин. 1977; Барихновский Г. В. Идейно-политический крах белой эмиграции и разгром внутренней контрреволюции (1921—1924 гг.). Л. 1978; Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. М. 1981; Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром. М. 1982; Мухачев Ю. В. Идейно-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства. М. 1982; Щетинов Ю. А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России. М. 1984.

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В НОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

СОВЕТСКАЯ СТРАНА В КОНЦЕ 20-х — НАЧАЛЕ 30-х ГОДОВ

М. М. Горинов

Лишь исследование истории советского общества конца 20-х — начала 30-х годов как движения, сущностью которого являются сосуществование противоположностей, их борьба и слияние, может приблизить нас к пониманию сути происходивших тогда событий. Данный подход предполагает необходимость раскрытия механизма преемственности при переходе от нэпа к «сталинизму», выявления внутренней органической связи между основными общественными феноменами того времени — индустриализацией и коллективизацией, энтузиазмом и репрессиями, героизмом и подлостью, а не простого их противопоставления, еще преобладающего и в литературе, и в общественном сознании.

Альтернативность развития советского общества в конце 20-х — 30-е годы: историография. Существовала ли альтернатива воплощенному в жизнь в 30-е годы варианту развития советского общества? Какими преимущественно факторами определялось утверждение административно-командной системы? Таковы, пожалуй, главные вопросы, встающие перед исследователями. В разные времена на них давались разные ответы.

Концепция краткого курса «Истории ВКП(б)» исключала альтернативность исторического развития: партия своевременно осознавала назревшие потребности эволюции советского общества, вырабатывала соответствующие директивы, которые трудящиеся, несмотря на происки врагов, с энтузиазмом воплощали. К середине 20-х годов советский народ под руководством партии восстановил разрушенное в предшествующий период хозяйство. В 1926—1929 гг., в период индустриализации, создал материально-технические предпосылки социалистического преобразования деревни, опираясь на которые, партия в 1930—1934 гг. осуществила коллективизацию. Последняя (исключая упоминание о некоторых «перегибах», о «головокружении от успехов») рисовалась в общем идиллически: «Крестьяне массами приходили в совхозы, в МТС, наблюдали за работой тракторов, сельхозмашин, выражали свой восторг и тут же выносили решение — «пойти в колхозы» [1].

В середине 50-х годов, когда был создан минимум политических предпосылок для научного изучения истории советского общества, сразу выявилось несоответствие данной схемы объективной реальности. В ряде новаторских исследований, не потерявших своего значения и се-

---

ГОРИНОВ Михаил Михайлович — кандидат исторических наук, Институт истории СССР АН СССР.

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М. 1952, с. 266, 273, 413, 284.

годня, было убедительно показано, что необходимых материально-технических предпосылок для производственной кооперации деревни к концу 20-х годов создано не было; подчеркивалась роль административных рычагов в осуществлении коллективизации[2]. Возникал резонный вопрос о ее необходимости и правомерности. Но в 50—70-е годы было немыслимо говорить о возможности иной модели социализма в СССР, кроме осуществленной, и трактовка процессов развития индустриального сектора советской экономики по сути оставалась прежней.

Исходя из этого вариантность общественной эволюции в конце 20-х — начале 30-х годов рассматривалась преимущественно с точки зрения того, была ли коллективизация проведена своевременно и правильно ли были определены ее темпы и методы. Поскольку промышленная реконструкция шла успешно, утверждали исследователи, надо было подождать с коллективизацией еще немного, а затем на основе «демонстрационного эффекта» машинной обработки земли, без всякого насилия вовлечь крестьян в колхозы.

В годы перестройки проблема альтернативности развития СССР в указанный период формулируется намного шире. Столкнувшись со структурным кризисом государственного социализма в СССР и в мире, опираясь на предшествующие научные разработки, некоторые обществоведы поставили вполне закономерный вопрос: если в 20-е годы на основе нэпа советская экономика развивалась успешно, то стоило ли «отбрасывать» нэп? Отсюда и «великий перелом» в 1929 г. рисуется как акт грубого субъективистского доктринерски-своекорыстного произвола Сталина и его ближайшего окружения либо партийно-государственной «верхушки» в целом[3]. Появились также работы, авторы которых объясняют «свертывание» нэпа обострением его внутренних противоречий[4]. Вариантность развития в этом случае видится либо в конкретных формах, методах, темпах перехода от нэпа к административно-командной системе, либо во времени: поиск альтернативных вариантов с конца 20-х годов переносится на их середину.

Противоречия нэпа. В работах «субъективистов» (исследователей, объясняющих ликвидацию нэпа в основном субъективными причинами) наблюдается идеализация ленинского замысла и практики нэпа в смысле их «рыночности», «плюралистичности», эффективности. Между тем ленинская концепция новой экономической политики содержала следующие основные компоненты: в политико-идеологической области — жесткий однопартийный режим, подавлявший всякое проявление на официальном уровне инакомыслия и инакодействия; в экономике — административно-рыночную систему хозяйства, подразумевавшую минимальную связь с мировой экономикой, весьма ограниченный трестовский хозрасчет в промышленности с централизованным (через ВСНХ) перераспределением прибыли; неэквивалентный обмен с деревней на основе продналога; торможение роста крупного индивидуального хозяйства в деревне.

В большинстве недавних работ как бы подразумевается, что промышленные тресты 20-х годов были полностью автономными субъектами хозяйственной деятельности, «плавающими» в стихии рынка. Между тем, согласно декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)», плановое управление ими осуществлял ВСНХ, к «непременному вѐдению» которого относились: выдача разрешений на приобретение строений и других основных средств, расширение предприятий, взятие и сдачу их в аренду, отчуждение, залог и аренду основных средств, назначение и смещение правления и ревизионной комиссии треста, утверждение производственного плана, отчета и баланса, распределение прибыли за год, разрешение на вступление в торгово-промышленные объединения и т. д. По новому положению, утвержденному ЦИК и СНК СССР 29 июня 1927 г., в определение треста было введено указание на подчинение его деятельности плановым заданиям органа, в ведении которого он находится, и исключено положение об извлечении прибыли как цели деятельности треста[5].

Тем не менее, несмотря на административные крайности и кризисы, нэповская система функционировала некоторое время в целом неплохо. Объяснялось это, думается, ее соответствием реалиям восстановительного периода. Жесткий политический режим обеспечивал необходимую для скорейшего возрождения страны политическую стабильность, иначе рост социальной напряженности мог бы блокировать проведение экономических реформ. Отказ от уплаты долгов царского и Временного правительств и восстановления иностранной собственности, хотя и препятствовал притоку зарубежного капитала, одновременно позволял не тратить на уплату кредиторам и инвесторам скудные внутренние ресурсы, а направлять их в оборотные фонды предприятий, обеспечивая их относительно быстрое восстановление. Трестовский хозрасчет позволял через механизм централизованного перераспределения прибыли финансировать, а значит, ускоренно возрождать за счет высокорентабельных отраслей (легкой, пищевой) промышленности необходимые для функционирования экономики в целом, но пока убыточные тяжелую промышленность, транспорт. По сравнению с продразверсткой неэквивалентный обмен с деревней в форме продналога какое-то время казался крестьянину великим благом и стимулировал быстрое восстановление посевных площадей. Обработка заброшенных участков была возможна и на базе мелкотоварных крестьянских хозяйств, не требовала значительных финансовых и материальных фондов.

Пока шло восстановление экономики страны, было сравнительно несложно выходить и из «кризисов нэпа», «выскакивавших», как правило, из-за чрезмерной финансовой «накачки» индустриального сектора. Можно было заморозить новостройки, снизить отпускные промышленные цены и наращивать производство промтоваров за счет еще не используемого оборудования. И затоваривание исчезало (вследствие снижения цен), и инфляция обуздывалась (в результате сокращения нового строительства), да еще и производство росло (этому способствовала загрузка резервов оборудования).

Однако по мере завершения восстановительного периода нэповская система, какой она была заложена Лениным, «работала» со все большими сбоями. Обострялись имманентно присущие ей антагонизмы. В политике — между многообразием социальных интересов и большевистским авторитаризмом. Хозяйственно возрождавшаяся деревня, крепнущий частнопредпринимательский сектор все настойчивее искали политических каналов выражения своих интересов (требования «Крестьянского союза» и др.), что в условиях однопартийной системы создавало почву для усиления фракционной борьбы в ВКП(б), к тому же

---

[2] См.: Данилов В. П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР. М. 1957; Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. М. 1963; и др.

[3] В наиболее четкой форме эти идеи сформулированы: Попов В., Шмелев Н. Была ли альтернатива сталинской модели развития? В кн.: Осмыслить культ Сталина. М. 1989.

[4] См.: Бордюгов Г. А., Козлов В. А. Поворот 1929 года и альтернатива Бухарина.— Вопросы истории КПСС, 1988, № 8; Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в СССР в 20-е годы. М. 1989; Ханин Г. И. Почему и когда погиб нэп.— ЭКО, 1989, № 10; Симонов Н. С. В преддверии «великого перелома».— Вопросы истории КПСС, 1990, № 3; и др.

[5] См. Венедиктов А. В. Организация государственной промышленности в СССР. Т. 2. Л. 1961, с. 60—61, 261—263.

лишившейся своего неоспоримого лидера — Ленина, своеобразного гаранта ее целостности.

Клубок обострившихся противоречий раздирал и нэповскую экономическую модель. Полная загрузка производственных мощностей, физический и моральный износ основного капитала требовали огромных инвестиций для обновления машинного парка, создания новых производств. Однако резкому увеличению промышленных накоплений мешали сравнительно высокие вследствие социальных завоеваний пролетариата издержки на рабочую силу, сравнительно низкая эффективность предприятий как результат ложно понятой «социализации» (чрезмерной централизации производства, слабости материального стимулирования). Необходимо было привлечь иностранный ссудный и предпринимательский капитал, но этому препятствовала жесткая позиция правительства в вопросах уплаты дореволюционных долгов и возмещения ущерба иностранцам за национализированную собственность. Скудость инвестиционных фондов в условиях трестовского хозрасчета вела к усиленной перекачке средств из отраслей группы «Б» в отрасли группы «А», что усугубляло износ основных фондов легкой промышленности, приводило к ухудшению качества основных предметов крестьянского потребительского спроса, к обострению товарного голода.

Прогрессировавшее в силу тех же причин нарастание неэквивалентности обмена между городом и деревней (в пользу города) в условиях господства мелкотоварного сектора в сельскохозяйственном производстве, усиливавшийся товарный голод лимитировали рост товарности крестьянских хозяйств. А низкая их товарность ставила под вопрос осуществление жизненно необходимой индустриализации страны, так как приводила к заниженным объемам экспорта сельскохозяйственных продуктов [6], а следовательно, импорта оборудования, к нехватке сырья для промышленности и продуктов питания для растущих городов. В том же направлении действовало торможение роста крупнотоварных крестьянских хозяйств. Когда же в силу отставания темпов развития аграрного сектора в конце 20-х годов «ножницы цен» стали раздвигаться в пользу деревни, под угрозой срыва оказалась программа индустриализации, ибо промышленность лишалась основного источника накоплений — перекачки ресурсов из деревни в город.

Но как согласуется со всем этим распространенное в литературе утверждение [7] о достаточно эффективном функционировании нэпа в 1927—1929 гг., после завершения восстановительного периода? Думается, приверженцев этой точки зрения подвела статистика 20-х годов и сделанный на ее основе и зафиксированный в «Кратком курсе» вывод о завершении восстановительного периода в 1926 году.

На фоне последующих фальсификаций экономическая информация 20-х годов представляется сегодня верхом совершенства, однако и тогда советская статистика не отражала реальной картины. Ф. Э. Дзержинский в 1926 г. характеризовал отчетность промышленных трестов как «фантастику», «квалифицированное вранье», но ведь именно по отчетам предприятий об объеме валовой продукции (что при росте цен неизбежно завышало результаты) с середины 20-х годов в ЦСУ СССР определяли динамику продукции. По данным более поздних справочников, национальный доход СССР в 1928 г. по сравнению с дореволю-

[6] По сравнению с 1909—1913 гг. в 1925 г. экспорт сельскохозяйственных продуктов составил 21,7%; в 1926 г.— 27,1%; в 1928 г. из-за небольших объемов экспорта СССР смог ввезти лишь половину импорта оборудования дореволюционной России (при этом пришлось пожертвовать импортом предметов потребления, который сократился по сравнению с 1913 г. в 10 раз) (Кондратьев Н. Д. Экспорт сельскохозяйственных товаров СССР (итоги и условия развития).— Пути сельского хозяйства, 1927, № 10, с. 87—88; Ханин Г. И. Ук. соч., с. 81.)

[7] См., напр., Попов В., Шмелев Н. Ук. соч., с. 289.

ционным временем вырос на 19%; по подсчетам же Г. И. Ханина, он оказался на 12—15% ниже уровня 1913 г., а душевое производство уменьшилось на 17—20%; производство чугуна составляло лишь 75% дореволюционного уровня, который был превзойден только в 1930 году [8]. Кроме того, надо иметь в виду, что рост производства продолжался в России до 1916 г., и этого уровня, даже по официальным данным, народное хозяйство СССР по большинству показателей достигло лишь в 1927—1928 году [9]. Не случайно А. И. Рыков отмечал: «Увеличение промышленного производства на 17—18% в этом (1926/1927 хоз. год.— *М. Г.*) году возможно только благодаря наличию еще не использованного резерва оборудования на фабриках и заводах» [10].

Таким образом, хозяйственные успехи 1926—1927 гг. (с 1928 г., когда в деревне были вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам, вряд ли можно серьезно говорить об «успешном» функционировании нэпа) не являются доказательством эффективности реконструкции народного хозяйства на базе нэпа. Они возникли как результат использования последних резервов восстановительного периода (прежде всего возможностей эффективной загрузки имевшегося основного капитала, что позволяло на время «заморозить» программу промышленного развертывания, сжать масштабы эмиссии). Когда эти резервы иссякли, появилась необходимость в принципиально иных путях социально-экономического развития. В этой связи вряд ли правомерно проведение прямых аналогий между хозяйственными затруднениями и путями выхода из них в 1922—1924 гг., 1925—1926 и 1927—1928 гг., поскольку эти аналогии не учитывают коренных различий между восстановительным и реконструктивным периодами [11].

Проблема накопления и альтернативы развития. Чтобы ввести в строй средства производства, доставшиеся Советской власти в наследство от старого режима, требовались оборотный капитал, незначительные амортизационные отчисления, довоенные посевные площади. Загрузка имевшегося оборудования в первые годы нэпа давала до 40—50% годового прироста промышленной продукции, подъем залежей способствовал ускоренному наращиванию производства зерна.

Иное дело — создание нового основного капитала. Чтобы получить отдачу от отраслей тяжелой промышленности, приходилось ждать 3—4 года, а порой 5—6 лет, то есть кормить рабочих, не получая от их труда товарной продукции. Требовались огромные капиталы. Отсюда нарастающая на протяжении второй половины 20-х годов, несмотря на попытки ее обуздания, эмиссия; открытая (рост цен), скрытая (ухудшение качества товаров) и подавленная (товарный голод) инфляция; прогрессирующая натурализация хозяйственных отношений, блокировавшая рыночный вариант индустриализации.

С ситуацией острой нехватки капитала и столкнулась Советская страна в конце 20-х годов. Эффективность нэповской экономики была намного ниже дореволюционной: по сравнению с 1913 г. фондоотдача в народном хозяйстве упала на 25%; по отношению к основным фондам в 1913 г. рентабельность в промышленности составляла 19,7%, в 1928 г.— 10,9%; на железнодорожном транспорте (к основным и оборотным) — соответственно 8,2% и 2,5%; в промышленности в 1928 г.

[8] Ханин Г. И. Ук. соч., с. 68—72.

[9] Гиммельфарб С. Некоторые основные линии роста промышленности СССР до 1928/29 года.— Проблемы экономики, 1929, № 10—11, с. 47—50.

[10] XV конференция ВКП(б) 26 октября — 3 ноября 1926 г. Стеногр. отч. М.—Л. 1927, с. 112.

[11] Лельчук В. С. Индустриализация СССР: выбор курса.— Правда, 21.X.1988; Данилов В. П. Бухаринская альтернатива. В кн.: Бухарин: человек, политик, ученый. М. 1990, с. 118.

создавалось прибыли на 20% меньше, чем до войны, на железнодорожном транспорте — в 4 раза [12].

Практически отсутствовал импорт капитала. Между тем одна из решающих предпосылок «экономического чуда» на индустриальной стадии модернизации — массированное привлечение зарубежных инвестиций и займов (Германия после первой и второй мировых войн, Япония, Бразилия, Чили при Пиночете, азиатские «драконы» и др.). Во второй половине XIX — начале XX в. 1-е и 2-е места по темпам промышленного развития делили Россия и США, усиленно импортировавшие капитал [13].

При скудости внутренних и внешних источников накопления альтернатива, вставшая перед страной в конце 20-х годов, была жесткой: либо низкие темпы экономического роста в условиях продолжения нэпа (административно-рыночного хозяйства), либо слом рынка и форсированное развитие тяжелой промышленности (материальной базы военно-промышленного комплекса) на основе использования преимущественно административных методов.

Советское руководство, исходившее из посылки о неизбежности близкого глобального вооруженного конфликта (и прогноз этот в целом оправдался), выбрало «форсированный» вариант. При этом оно не могло, разумеется, не учитывать техническую отсталость Советских Вооруженных Сил [14]. Сделанный выбор детерминировал основные параметры развития общества в конце 20-х и 30-е годы. В этом смысле, несмотря на чрезмерную персонализацию, представляется достоверной идея В. С. Лельчука о единстве «подхода Сталина к вопросам индустриализации, переустройства сельского хозяйства, использования «дани», проведения политики обострения классовой борьбы» [15].

Анатомия форсированного развития. В конце 1927 г. масштабные программы промышленного развертывания оказываются под угрозой срыва из-за неудачного хода хлебозаготовительной кампании. Вводится и постепенно расширяется сфера карточного снабжения в городах. Чтобы обеспечить продуктами растущие индустриальные центры и армию, правительство в условиях зернового кризиса 1927/1928 г. прибегло к внеэкономическим методам изъятия зерна, что подорвало рыночные стимулы к расширенному воспроизводству в деревне. Осенью — зимой 1928/1929 г. зерновой кризис и насильственное изъятие хлеба повторяются. Создается государственный хлебный резерв. Преимущественно внеэкономическое («бесплатное») изъятие продуктов у крестьян позволило резко (в 1929 г. по сравнению с 1928 г. более, чем в 2 раза) увеличить объем капитальных вложений в крупную промышленность [16].

Стремительно растущее городское население требовало все больше и больше продуктов. В деревне же во второй половине 20-х годов в отличие от представлений современных публицистов наблюдалась стагнация сельскохозяйственного производства. Если ежегодный прирост городского населения составил в 1927 г. 4,8%, в 1928 г.— 5%, в 1929 г.— 5,2%, то соответствующие показатели по сельскохозяйственному производству выглядели следующим образом: 2,5; 2,5; (— 2,4) %; по валовым сборам зерна: (— 5,9); 1,2; (— 2,5) %; по централизованным заготовкам зерновых: (— 5,2); (— 2,0); 49% [17].

---

[12] Ханин Г. И. Ук. соч., с. 71—73.

[13] См.: Андреев Г. Экспорт американского капитала. М. 1957, с. 55—57; Бовыкин В. И. Россия накануне великих свершений. М. 1988, с. 66—67.

[14] См. Исторический опыт и перестройка. М. 1989, с. 55.

[15] Лельчук В. С. Ук. соч.; О взаимозависимости между развитием различных сфер жизни советского общества в 30-е годы см.: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? М. 1989.

[16] Ханин Г. И. Ук. соч., с. 79.

[17] См. Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929—1932 гг.). М. 1966, с. 34.

Сфера приложения рыночных рычагов в деревне все больше свертывалась. Административные рычаги использовались пока только для изъятия продуктов, а не их производства (этим и объясняется уменьшение валового сбора зерна в 1929 г. и весьма существенный рост централизованной заготовки зерновых). В этих условиях берется курс на сплошную коллективизацию [18]. Выбор его определялся сложным взаимодействием доктринальных и в определяющей степени объективных экономических факторов (разумеется, с проекцией на их социально-политические последствия).

Коллективизация имела как минимум три цели. Первая, которая зафиксирована в партийно-государственных документах того времени,— осуществление социалистических преобразований в деревне. Она не объясняет, однако, зачастую варварских методов и чрезвычайно сжатых сроков проведения коллективизации. Формы, методы, сроки коллективизации во многом объясняет ее вторая цель, о которой меньше, но все же говорилось: любой ценой обеспечить бесперебойное снабжение быстро растущих в ходе индустриализации городов. Основные черты индустриализации проецировались на коллективизацию. Стремительные темпы промышленного роста, урбанизация требовали резкого увеличения в чрезвычайно сжатые сроки поставок продовольствия в город, на экспорт.

Нехватка капитала, товарный голод обусловили нарастание внеэкономического принуждения в аграрном секторе: продукты у крестьянина не покупали, а «брали», что вело к сокращению их производства, в первую очередь зажиточными хозяйствами, особенно ущемлявшимися государством, к массовому забою скота [19], к открытым выступлениям против местных властей и деревенских активистов [20]. В ответ на местах переходят к раскулачиванию [21], с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики. Чтобы прекратить убой скота, его стремятся быстрее обобществить. Но из-за нехватки приспособленных помещений, отсутствия опыта ведения коллективного животноводства падеж скота усиливается (с 1928 по 1933—1934 гг. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 60 млн. до 33 млн. голов) [22].

Чтобы прекратить падение сельскохозяйственного производства, сталинский режим стремится быстрее поставить деревню под жесткий административный контроль, еще настойчивее форсирует процесс обобществления: десятками тысяч колхозов командовать легче, чем миллионами индивидуальных крестьянских хозяйств. Однако молниеносное создание десятков тысяч коллективных хозяйств при отсутствии опыта их ведения, нехватка подготовленных кадров сельских руководителей, специалистов, техники только усиливают дезорганизацию в деревне. А город требует все больше хлеба, мяса, масла... В хаосе «организационного периода» на селе, когда во многих колхозах процветала уравниловка, когда урожай, минуя амбар того, кто его вырастил, свозили на заготовительный пункт, когда частично изымалось семенное зерно (особенно это характерно для 1931—1932 гг.), крестьянин оказался

---

[18] О ходе коллективизации см.: Документы свидетельствуют. М. 1989.

[19] В 1929 г. число лошадей сократилось на 1,6 млн., крупного рогатого скота на 7,6 млн. голов (История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. 8. М. 1967, с. 543).

[20] По приблизительным подсчетам, в 1929 г. жертвами «кулацкого террора» стали около 10 тыс. коммунистов, комсомольцев, рабочих, колхозников, батраков и бедняков (Ивницкий Н. А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1920—1932 гг.). М. 1972, с. 122).

[21] Только на Украине весной и осенью 1929 г. были отданы под суд 33 тыс. «кулаков». Их имущество было полностью или частично конфисковано и распродано (Данилов В. П. К характеристике общественно-политической обстановки в советской деревне накануне коллективизации.— Исторические записки. Т. 79, с. 43).

[22] Гордон Л. А., Клопов Э. В. Ук. соч., с. 74.

лишенным всякого материального стимула к производительному труду. Нарастает пассивное сопротивление (невыход на работу, труд «спустя рукава» и т. д.) теперь уже колхозного крестьянства, не желавшего работать даром.

Сталин требует выполнения плана хлебозаготовок любой ценой. В ряде районов колхозные амбары выметались подчистую: забирают семенное зерно, страховые запасы. Зимой 1932/1933 г. этот клубок проблем и конфликтов разрешается страшной трагедией — голодом, охватившим районы Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Украины, Казахстана и унесшим огромное число жизней. Полностью оно еще не определено. Максимальные данные о количестве умерших от голода только в Казахстане — 1 750 тыс. человек [23].

Необходимость срочного обеспечения продуктами городов, конечно, не требовала такой эскалации насилия. Постоянно растущие в конце 20-х годов налоги на деревенские «верхи» и освобождение от них «низов»; «твердые», зачастую нереальные задания по сдаче хлеба «кулакам», за невыполнение которых их имущество шло с торгов и дешево доставалось менее зажиточным односельчанам; «чрезвычайные меры» по изъятию «излишков» у зажиточных и передача части изъятого зерна бедноте, помогавшей в его выявлении, а также другие меры привели к тому, что к моменту сплошной коллективизации зажиточные слои деревни были в значительной степени изолированы. «Характерно, что когда ездишь по местам и смотришь на это могучее антикулацкое движение,— говорил в марте 1930 г. М. И. Калинин,— то невольно констатируешь, что органам власти в 95 случаях из ста приходится в области раскулачивания играть сдерживающую роль» [24].

Учитывая степень антикулацких настроений в деревне, процесс самораскулачивания [25], можно сказать, что даже форсированная коллективизация не нуждалась в такой жестокости. В 1930—1931 гг. в ходе кампании по раскулачиванию только в отдаленные районы страны была выселена примерно 381 тыс. «кулацких» семей (средняя семья — 4,8 человека); позднее специальные кампании не проводились, но высылка продолжалась, хотя и в меньших масштабах [26]. «Кулаков» было запрещено принимать в колхозы, на работу в городах. Эти меры только усиливали социальную напряженность в деревне. Думается, что в большинстве районов страны «кулаку» вполне можно было бы открыть дорогу в колхоз, на стройки, ограничившись преследованием в судебном порядке за конкретные противоправные действия (убийства, поджоги и пр.).

Варварские методы осуществления сплошной коллективизации объясняет, пожалуй, ее третья цель. Официально она никогда не декларировалась, но кое-что на страницы печати все же попадало. 17 января 1930 г. в «Правде» публикуется статья наркома юстиции Н. В. Крыленко, в которой, в частности, говорилось: «На основании резолюции СНК РСФСР 29 мая 1929 г. сейчас не практикуется уже лишение свободы на сроки меньше года. Предложено в максимальной степени развить систему принудительных работ. Проведен ряд мероприятий по использованию труда лиц, осужденных на срок выше 3 лет, на общественно необходимых работах в специальных лагерях в отдаленных местностях».

В 1930 г. «по инициативе тов. Сталина и при его настойчивом проведении этого вопроса» чекистам поручается строительство Беломорско-Балтийского канала с использованием преимущественно ручного труда свыше 100 тыс. заключенных, что позволило в 4 раза по сравнению с первоначальными расчетами удешевить строительство [27]. Силами ОГПУ—НКВД (то есть заключенными) были сооружены канал «Москва — Волга», другие объекты, осуществлялись лесозаготовки [28], в основном вручную, с «экономией больше чем в 4 раза»! Страна все гуще покрывалась сетью лагерей, поселков «спецпереселенцев» («кулаков» и членов их семей). Их надо было наполнять. Вот, очевидно, зачем понадобилось отрывать от земли сотни тысяч хлеборобов. Характерно решение комиссии по раскулачиванию (возглавлял ее заместитель председателя СНК СССР А. А. Андреев) от 30 июля 1931 г.: «Слушали: вопрос о дополнительных заявках на спецпереселенцев и распределении их. Постановили: ...обязать ВСНХ в 3-дневный срок представить ОГПУ свои окончательные заявки на спецпереселенцев... В соответствии с этими заявками предложить ОГПУ произвести необходимое перераспределение по районам и выселение кулаков» [29].

Каковы были масштабы применения принудительного труда в 30-е годы? На 1 мая 1930 г. в ведении НКВД РСФСР (279 исправительно-трудовых учреждений) находился 171 251 заключенный, в лагерях ОГПУ — около 100 тысяч. В 1930 г. было создано Управление лагерями ОГПУ, с 1931 г. ставшее главным (ГУЛАГ). Удельный вес осужденных за «контрреволюционные преступления» в 1939—1941 гг. колебался в лагерях от 12,6% (в 1936 г.) до 34,5% (в 1939 г.); в колониях в 1936—1941 гг. в среднем насчитывалось 10,1% осужденных по политическим мотивам. На 1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 исправительно-трудовых колоний, 50 колоний несовершеннолетних; всего 1 668 200 заключенных. В. Ф. Некрасов на начало войны определяет общее количество заключенных в 2 300 тыс. человек. Кроме того, в спецпоселках находились высланные «кулаки» и члены их семей: в январе 1932 г. их насчитывалось 1,4 миллиона. Меньшая их часть занималась сельским хозяйством, большая — трудилась в лесной и добывающей промышленности. К весне 1935 г. 445 тыс. спецпереселенцев (включая членов семей) работало в 1271 неуставной сельхозартели (отличие ее от обычной состояло, в частности, в том, что во главе правления стоял комендант); 640 тыс.— в промышленности. С 1932 г. началось снятие ограничений и предоставление гражданских прав спецпереселенцам, но лишь узкому кругу лиц [30].

В результате сплошной коллективизации была создана целостная система массированной перекачки финансовых, материальных, трудовых

[23] Документы свидетельствуют, с. 40—45; Данилов В. П. Дискуссия в западной прессе о голоде 1932—1933 гг. и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР.— Вопросы истории, 1988, № 3; Абылхожин Ж. Б., Козыбаев М. К., Татимов М. Б. Казахстанская трагедия.— Вопросы истории, 1989, № 7; Зеленин И. Е. О некоторых «белых пятнах» завершающего этапа сплошной коллективизации.— История СССР, 1989, № 2; Конквест Р. Жатва скорби (главы из книги).— Вопросы истории, 1990, №№ 1, 4; и др.

[24] Правда, 3.III.1930.

[25] Под воздействием государственной политики «форсированного наступления на кулака» относительно зажиточные слои деревни все чаще ликвидировали свои хозяйства (резали скот, распродавали имущество, дома) и подавались в город. С 1927 по осень 1929 г. «кулацкая группа» по РСФСР сократилась с 3,9 до 2,5—3% крестьянских хозяйств (Документы свидетельствуют, с. 24—25).

[26] Там же, с. 46—47. «Всего по состоянию на 1 января 1950 года оказались выселенными почти три с половиной миллиона крестьян... около 50 процентов всех выселенных крестьян переселялось в пределах тех же областей, где они проживали ранее» (Дугин Н. ГУЛАГ, открывая архивы.— На боевом посту, 27.XII.1989).

[27] Вестник Коммунистической Академии, 1933, № 5.

[28] См. Большевик, 1935, № 20. Зимой 1929/1930 г. печать пестрела статьями о нехватке рабочих на лесозаготовках. Там «на 10 января имелось 364 тысячи рабочих, вместо 556 тысяч» (Правда, 24.I.1930). Лес был одним из основных экспортных товаров, и проблему «решили» при помощи спецпереселенцев.

[29] Правда, 25.VII.1989.

[30] Некрасов В. Ф. Десять «железных» наркомов.— Комсомольская правда, 29.IX.1989; «Архипелаг ГУЛАГ»: глазами писателя и статистика. Интервью с В. Земсковым.— Аргументы и факты, 1989, № 45; Документы свидетельствуют, с. 49; Дугин Н. Ук. соч.

ресурсов из аграрного сектора в индустриальный. Обязательные госпоставки и закупки сельскохозяйственной продукции по номинальным ценам, многочисленные налоги, обеспечение потребностей ГУЛАГа, организованный набор промышленными предприятиями рабочей силы в деревне, лишение крестьян введенных в 1932 г. паспортов, прикрепившее их к земле, прямое вмешательство партийно-государственного аппарата (райкомов, уполномоченных, политотделов МТС и совхозов) в процесс производства — вот основные звенья этой системы [31].

Результаты форсированного развития. Каковы результаты сплошной коллективизации? Их воздействие на развитие аграрного сектора было катастрофическим. Поголовье крупного рогатого скота только за 1929—1932 гг. сократилось на 20 млн. (1/3), лошадей — на 11 млн. (1/3), свиней — в 2 раза, овец и коз — в 2,5 раза [32]. Но в сталинской стратегии форсированной индустриализации все отрасли народного хозяйства и сферы общественной жизни подчинялись нуждам промышленного роста, общий рост сельскохозяйственного производства вовсе не требовался. Необходимо было лишь такое переконструирование аграрного сектора, такое повышение эффективности труда в нем, при котором можно было бы, во-первых, уменьшить число занятых в сельском хозяйстве пропорционально спросу на рабочую силу в промышленности; во-вторых, поддерживать при меньшем числе занятых производство продовольствия на уровне, не допускавшем длительного голода; в-третьих, обеспечивать снабжение промышленности незаменяемым техническим сырьем [33].

Решение этих задач коллективизация обеспечила. В середине 30-х годов положение в аграрном секторе стабилизировалось. В 1935 г. отменили карточную систему. В течение 30-х годов из сельского хозяйства высвободилось 15—20 млн. человек, что позволило увеличить численность рабочего класса с 9 млн. до 24 млн. человек. Страна обрела хлопковую независимость. Выросла производительность труда в сельском хозяйстве. Если накануне коллективизации (население 150—155 млн. человек) ежегодно производилось 72—73 млн. т зерна, более 5 млн. т мяса, свыше 30 млн. т молока, то в конце 30-х — начале 40-х годов (население 170—200 млн. человек) — 75—80 млн. т зерна, 4—5 млн. т мяса и 30 млн. т молока. Но в конце нэпа эту продукцию производили 50—55 млн. крестьян-единоличников, в предвоенные же годы — 30—35 млн. колхозников, то есть на 1/3 меньшее число работников [34].

В этой связи представляется неправомерным встречающееся в литературе противопоставление результатов индустриализации («промышленность... двигалась семимильными шагами») и коллективизации («но сельское хозяйство вовсе не двигалось вперед, а пятилось назад») [35]. «Промышленность двигалась семимильными шагами» именно потому, что «сельское хозяйство... пятилось назад», и наоборот. Главным результатом коллективизации стал осуществленный, хотя со многими неоправданными издержками, индустриальный скачок. Темпы роста тяжелой промышленности в первые пятилетки (1928—1940 гг.) были в 2—3 раза выше, чем за 13 лет развития России перед первой мировой войной (1900—1913 гг.).

По абсолютным объемам промышленного производства СССР в конце 30-х годов вышел на 2-е место в мире после США (в 1913 г.— 5 место). Сократилось отставание от развитых стран по производству

[31] Тепцов Н. Коллективизация, ее пути и уроки.— Сельская жизнь, 12.III.1989.
[32] Материалы к изучению истории СССР, IX класс (1921—1941 гг.). М. 1989, с. 139.
[33] Гордон Л. А., Клопов Э. В. Ук. соч., с. 78.
[34] Там же, с. 80.
[35] См. Лацис О. Перелом. В кн.: Уроки горькие, но необходимые. М. 1988, с. 32.

промышленной продукции на душу населения: если в 20-е годы разрыв был в 5—10 раз, то в конце 30-х — в 1,5—4 раза, причем рост тяжелой промышленности осуществлялся невиданными темпами: за 6 лет — с 1929 по 1935 г.— СССР сумел поднять выплавку чугуна с 4,3 до 12,5 млн. т; США понадобилось для этого 18 лет (с 1881 по 1899 г.); Германии — 19 лет (с 1888 по 1907 год).

И важнейший результат: было преодолено качественное, стадиальное отставание советской промышленности. В 30-е годы СССР стал одной из трех-четырех стран, способных производить любой вид промышленной продукции, доступной в то время человечеству. Великая Отечественная война устроила беспощадный экзамен советской промышленности, и она его выдержала. Если в первую мировую войну России противостояли от 1/3 до 1/2 войск центральных держав и она не смогла добиться решительного успеха, то во вторую мировую войну против СССР было брошено 2/3—3/4 вооруженных сил фашистской Германии и ее сателлитов, и они были разбиты [36].

Но скачок в развитии тяжелой индустрии был куплен ценой отставания легкой и пищевой промышленности, стагнации аграрного сектора, сверхцентрализации экономической жизни, окончательного слома механизма саморегуляции экономики. Место одних диспропорций заняли другие. Ускорение индустриализации в условиях разбалансированности рыночных отношений, растущих бюджетного дефицита и инфляции вело к усилению административных методов хозяйственного руководства. В 1930 г. ликвидируется коммерческий кредит, осуществляется переход к централизованному (через Госбанк) кредитованию. В 1930—1931 гг. устанавливается единый налог — с оборота [37].

В условиях роста масштабов сверхцентрализованной форсированной индустриализации ВСНХ, объединявший все отрасли промышленности, перестает справляться со своими задачами. С рубежа 1931/1932 г. (дата преобразования ВСНХ в ряд наркоматов) берет начало неудержимая экспансия ведомств: с возникновением новых отраслей, с ростом объема их производства от имеющихся наркоматов отпочковываются все новые и новые. К концу 30-х годов функционировал 21 индустриальный наркомат [38]. Нарастает процесс «закрепощения» предприятий. В 1936 г. наркоматам предоставляется право перераспределения не только отчислений от прибыли предприятий, централизованно выделяемых финансовых ресурсов, но и оборотных средств и амортизационных отчислений предприятий [39]. Промышленность оказалась «поделенной» между отраслевыми сверхмонополиями. Их было еще сравнительно немного, номенклатура изделий не так велика, и Госплану, правительству удавалось «притирать» друг к другу отраслевые производственные программы на основе усиления директивного характера планирования. Если в 1-й пятилетке детальные плановые задания были определены примерно по 50 отраслям крупной промышленности, то во 2-й — по 120 отраслям крупной и мелкой промышленности; натуральные показатели соответственно — по 5 и 36 отраслям машиностроения; плановые задания — по 6 и 15 отраслям пищевой промышленности. Командно-директивные методы руководства промышленностью проецировались и на аграрный сектор. В плане 1-й пятилетки сельскохозяйственная программа сводилась главным образом к мерам экономического регулирования крестьянских хозяйств и подготовке матери-

[36] Лауэр Г. Металлургия перед новым подъемом.— Большевик, 1936, № 3, с. 31; Деникин А. И. Очерки русской смуты.— Вопросы истории, 1990, № 3, с. 137, 153; Гордон Л. А., Клопов Э. В. Ук. соч., с. 65—68.
[37] История социалистической экономики в СССР. Т. 3. М. 1977, с. 63—68.
[38] Там же, с. 58; т. 4. М. 1978, с. 35; История СССР с древнейших времен. Т. 9. М. 1967, с. 408.
[39] История социалистической экономики СССР. Т. 4, с. 37—38.

альных условий для их кооперирования. 2-я пятилетка, составлявшаяся при преобладании обобществленного сектора, включала конкретные государственные задания по росту колхозного и совхозного производства, его технической реконструкции, развитию животноводства. С 1930 г. стали разрабатываться государственные посевные планы, с 1932 г.— планы тракторных работ МТС, с 1935 г.— государственные планы развития животноводства, включавшие плановые задания по росту поголовья скота в совхозах и колхозных фермах, покупке и контрактации скота у колхозников, расширению кормовой базы [40].

Итак, в 30-е годы складывается целостная административно-командная экономическая система. Форсированный экономический рост в условиях острой нехватки капиталов, нарастания военной опасности лимитировал возможность материального стимулирования труда, вел к разрыву экономических и социальных аспектов развития, к стагнации, даже падению жизненного уровня, что не могло не вести к росту психологического напряжения в обществе. Ускоренная индустриализация, сплошная коллективизация вели к усилению миграционных процессов, крутой ломке образа жизни, ценностных ориентаций огромных масс людей («великий перелом»).

Сконденсировать избыточную социально-психологическую энергию народа, направить ее на решение ключевых проблем развития, компенсировать в какой-то мере слабость материального стимулирования был призван мощный политико-идеологический прессинг. Ломается и без того хрупкая грань между политическим и гражданским обществом: экономика подчиняется тотальному государственному контролю, партия сливается с государством, государство идеологизируется.

Поворот 1929 г. и психология масс. «Социалистическое наступление» конца 20-х — начала 30-х годов, выразившееся в повышении плановых заданий в промышленности, в сплошной коллективизации,— это попытка разрубить гордиев узел проблем в экономике и одновременно снять социальную напряженность, накапливавшуюся в обществе. В связи с ускорением индустриализации при незначительных фондах материального стимулирования во второй половине 20-х годов предпринимаются попытки интенсификации трудового процесса, рационализации производства за счет трудящихся. В результате перезаключения зимой 1927/1928 и 1928/1929 гг. коллективных договоров, тарифной реформы, пересмотра норм выработки усиливается уравниловка, у отдельных категорий рабочих снижается заработок.

Растущее недовольство рабочих — неизбежное следствие политики затягивания поясов — партийно-государственное руководство сумело направить в русло «спецеедства». Роль громоотвода сыграли «Шахтинский процесс» (1928 г.) и последующие антиинтеллигентские акции (процессы «Промпартии», «Крестьянской партии» и др.). Другой формой апелляции к классовым чувствам рабочих стало провозглашение курса на всемерное ускорение «социалистических преобразований». В 1929 г. повышаются плановые задания по ключевым отраслям промышленности: электроэнергетике, добыче угля и нефти, производству чугуна, минеральных удобрений, тракторов. Массовый энтузиазм, оторванный от материальных стимулов, неизбежно должен был либо нарастать по мере приближения к желаемому результату, либо сойти на нет. Грандиозность планов оказывала мощное стимулирующее воздействие на рабочих, увлекала их идеей социалистического строительства и давала дополнительный импульс развитию промышленности [41]. Так рождался «двуликий Янус» 30-х годов: трудовой энтузиазм и борьба с «вредителями».

[40] Там же, с. 13—14.
[41] См. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. Ук. соч., с. 25—26.

Организаторы кампании против специалистов эксплуатировали антибуржуазные настроения, имманентные рабочему движению на ранних стадиях индустриализации и принявшие в России особенно острые формы в ходе классовых битв. Лозунг «социалистического наступления» скорее был сориентирован на «новых рабочих» — политически мало искушенных представителей деревенской молодежи. Уже в 1926 г. ощущалась острая нехватка квалифицированных пролетариев. В 1926—1929 гг. рабочий класс пополнился выходцами из крестьянских семей на 45%, из служащих почти на 7%. В год 1-й пятилетки крестьянство стало резко преобладающим источником пополнения рядов пролетариата [42].

Оказавшись «в большом и чуждом мире», «молодые рабочие», вырванные из системы общественных связей деревенского мира и еще не интегрировавшиеся в городское общество, в массе своей были далеки от сознательного участия в общественной жизни, являлись удобным объектом политического и идеологического манипулирования. Лозунг «ускорения» обещал «новым рабочим» быструю ликвидацию безработицы, нараставшей на протяжении 20-х годов. Из-за аграрного перенаселения деревня выталкивала в город все больше рабочих рук: в 1922 г. было зарегистрировано 160 тыс. безработных, в 1924 г.— 1240 тыс., в 1929 г. на 1 апреля — 1741 тыс., на 1 октября — 1242 тысячи. Накануне 1-й пятилетки безработные составили 12% от числа занятых в народном хозяйстве рабочих и служащих [43]. И вот в 1931 г. безработица в СССР была полностью ликвидирована. Миллионы новобранцев индустрии получили ощутимый выигрыш от индустриального скачка.

А что было в деревне? В современной публицистике, художественной литературе в отличие от трудов историков несколько преувеличивается патриархальность, монолитность доколхозного сельского мира. Более обоснованным выглядит положение, что одной из причин сравнительно легкого насаждения колхозного строя было отсутствие стабильности, молодость всех деревенских институтов (коллективизация была четвертой после 1861 г. аграрной реформой за 70 лет, третьим после столыпинской реформы и аграрной революции 1917—1918 гг. преобразованием села в XX веке) [44].

К тому же крестьянство в годы нэпа, по существу, лишили перспективы: дойдя до определенного уровня доходов, хозяйство попадало под мощный налоговый, административный пресс. «Кулак» третировался в печати, его лишили права голоса в Советах, а потом в кооперации и в земельных обществах (общине), детей не принимали в вузы. Пока шли восстановительные процессы, а потому уровень доходов на селе был незначителен, антикулацкая политика властей не особенно ощущалась. Когда же деревня встала перед необходимостью перехода к расширенному воспроизводству, «классовая линия» превращается в существенный тормоз развития производительных сил: зачем расширять запашку, разводить скот, если «излишки» все равно отберут? В результате темпы дробления крестьянских хозяйств в 2 раза превышали дореволюционные показатели [45]. Разделяя хозяйство (со всеми вытекающими отсюда негативными для роста производства последствиями), крестьяне пытались избежать кулацкого статуса, чреватого налоговым ущемлением, гражданской неполноценностью. Коллективизация же давала крестьянину шанс (по крайней мере ему это обещали)

[42] Лацис О. Перелом, с. 43.
[43] История социалистической экономики в СССР. Т. 2. М. 1976, с. 118; т. 3, с. 222.
[44] Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Кн. 1. 1929. Кулаки и партейцы. Ann Arbor. 1987, с. 20 (предисловие С. Максудова).
[45] Кондратьев Н. Д. К вопросу о дифференциации деревни.— Пути сельского хозяйства, 1927, № 5, с. 136.

подняться к более высокому уровню благосостояния на пути коллективного производства.

Итак, кто же составил массовую социальную опору сталинской «революции сверху», а в значительной степени и сталинского режима? 1) Пропитанная антибуржуазными настроениями часть «старых рабочих». 2) Раскрестьяненные крестьяне, оторванные от прошлого, лишенные настоящего, оказавшиеся в зоне «внекультурья»[46]. 3) Сельская беднота (в 1927 г. 28,3% крестьянских хозяйств РСФСР не имели рабочего скота, 31,6% — пахотного инвентаря, 18,2% — коров)[47]. Думается, что режим смог опереться и на нейтралитет значительной массы среднего крестьянства.

Политика — это концентрированная экономика. Помимо «опоры», «административная революция» нуждалась в «творце». В силу своего объективного положения в системе общественного производства осуществить функции тотального административного управления обществом мог только управленческий аппарат. После первоначального сокращения при свертывании «военного коммунизма» он сильно разросся в годы нэпа. На 1 октября 1922 г. советских служащих насчитывалось 1320 тыс.[48], а в 1927 г.— 3722 тыс. человек. «Если же взять административно-управленческую часть аппарата, то она составляет около 2 млн. человек и обходится стране около 2 миллиардов рублей»,— отмечалось на XV съезде ВКП(б)[49].

Однако унаследовавший все пороки «традиционной» российской бюрократии (неповоротливость, коррумпированность и др.) обычный административный аппарат был мало пригоден для «революционных» действий. В конце 20-х — 30-е годы центр тяжести переносится на партийные, чрезвычайные (политотделы МТС, совхозов, на транспорте и др.), карательные (системы НКВД — ОГПУ и др.) органы. Главная политико-мобилизующая роль отводилась партии. Консолидация административно-командной системы требовала от партии иных качеств, чем в годы нэпа. Вместо аморфной, рыхлой, выросшей в атмосфере острых внутрипартийных дискуссий организации создается сориентированная на неукоснительное выполнение директив центра сталинская партия. Ее монолитность поддерживалась при помощи чисток 1929—1930 и 1933 гг., проверки и обмена партийных документов 1935—1936 гг., «большого террора» 1937—1938 годов. Они преследовали три главные цели: 1) подавление местнических, вообще любых оппозиционных настроений, обеспечение безусловной власти центра[50]; 2) очищение от «разложившихся» от зачастую бесконтрольной власти функционеров; 3) снятие социальной напряженности путем наказания «стрелочников» — конкретных виновников частных негативных явлений в жизни общества.

Жесткий политический режим 30-х годов, один из элементов которого — периодические перетряхивания кадров «партократии», был генетически связан с выбранной моделью индустриализации, с возникшей в процессе ее реализации административно-командной экономической системой, при которой постоянное оперативное руководство производством осуществляется из центра[51]. Система могла быть эффективной

[46] Клямкин И. М. Еще раз об истоках сталинизма.— Политическое образование, 1989, № 9, с. 44.

[47] История советского крестьянства. Т. I. М. 1986, с. 330.

[48] XII съезд РКП(б). Стеногр. отч. М. 1923, с. 207.

[49] XV съезд ВКП(б). Декабрь 1927 г. Стеногр. отч. Т. 1. М. 1962, с. 442—443 (для сравнения: в 1926/1927 г. в стране насчитывалось 2388 тыс. рабочих крупной промышленности.— Там же, с. 68).

[50] Бордюгов Г. А., Козлов В. А. Время трудных вопросов: История 20—30-х годов и современная общественная мысль.— Правда, 30.IX, 3.X.1989.

[51] Административно-командная система была достаточно эффективна при решении тех задач, которые тогда перед ней ставились: вполне можно было проконтролировать

лишь при четком неукоснительном выполнении плановых директив и «команд» центра. Кроме того сверхцентрализация ресурсов на одних направлениях подразумевала сверхущемление других секторов, что постоянно создавало опасность социального протеста «пасынков» экономического роста, на ограблении которых базировалась вся стратегия развития. Чтобы в корне пресекать недовольство, создается разветвленная карательно-осведомительная система.

Однако сводить политико-экономический механизм 30-х годов к чисткам, репрессиям, диктату центра было бы неверным. «Эффективность» репрессий имеет свои пределы. Карательными мерами можно сократить прогулы, но не организовать производство, выявить «вредителей», но не подготовить квалифицированных специалистов, нарастить вал, но не обеспечить качество. В 30-е годы в области методов организации производства, форм общественной жизни при общем нарастании администрирования наблюдается «движение маятника»: от «административного уклона», усиления репрессий — к усеченному хозрасчету, ограниченной политической либерализации и обратно...

Форсированная индустриализация при нехватке капиталов, сверхцентрализации планирования не позволяла последовательно внедрить хозрасчет, значительно поднять жизненный уровень, развернуть демократизацию. В свою очередь, практическая невозможность все и вся проконтролировать из одного центра, сомнительная экономическая эффективность и политическая опасность для стабильности режима чисто репрессивного курса ограничивали репрессии и администрирование. На протяжении 30-х годов наблюдаются, с одной стороны, волны «административного усмотрения», репрессий (1929—1930, середина 1932—1933, конец 1936—1940 гг.), с другой — борьба с уравниловкой, бюрократизмом, попытки внедрения ограниченного хозрасчета (1931 — середина 1932 г., 1934—1936, 1941 гг.).

Феномен иллюзорного сознания. Как партийно-государственному руководству на протяжении 30-х годов удавалось поддерживать высокий жизненный тонус, трудовой энтузиазм значительной части советских людей, держать их в состоянии повышенной мобилизационной готовности? Думается, ключевым фактором было чувство хозяина своей страны, пробужденное в широких массах народа Октябрьской революцией, вошедшее в их плоть и кровь в годы гражданской войны. Помноженное на традиционный русский патриотизм, оно побуждало многих рабочих, крестьян, интеллигентов сознательно идти на материальные жертвы ради создания мощной индустриальной державы, способной отстоять независимость Отечества в грядущей войне.

Сыграло свою роль и некоторое повышение материального благосостояния народа во второй половине 30-х годов. За 1-ю пятилетку уровень жизни упал. В 1931 г., а особенно в 1932—1933 гг. обширные сельские районы страны были охвачены голодом. Сотни тысяч крестьянских семей были ввергнуты в пучину страданий и унижений лагерного и спецпереселенческого существования. В городе сложилась более благоприятная ситуация, но и здесь население при резко возросшей его численности испытывало трудности: пищевая промышленность произвела в 1932 г. (против 1928 г.) мяса — 88%, сахара-песка — 65%, масла животного — 81%[52]. По сведениям историографии прошлых лет (иных пока нет), потребление важнейших продуктов питания увеличилось у колхозников в среднем на душу населения в 1937 г. по сравне-

из центра строительство и работу сравнительно незначительного количества ключевых объектов; централизованно внедрить на них апробированные мировым опытом достижения научно-технического прогресса (см. подробнее: Попов Г. Х. С точки зрения экономиста. В кн.: Уроки горькие, но необходимые, с. 78).

[52] История социалистической экономики в СССР. Т. 3, с. 241.

нию с 1933 г. более чем в 2 раза[53]. Эти показатели, видимо, отражают реальную картину, ибо нижняя точка их отсчета — 1933 г., время голода во многих сельских районах, а верхняя — 1937 г., год высокого урожая. Впечатляющими были количественные достижения в области здравоохранения и просвещения: к исходу 2-й пятилетки СССР вышел на 1-е место в мире по числу учащихся, по темпам и объему (при невысоком качестве) подготовки специалистов[54]. Однако важны не столько абсолютные показатели роста, сколько их соотнесение в общественном сознании с предшествующим (1929—1933 гг.) периодом и возникновение определенного психологического ощущения: «жизнь меняется к лучшему» (разумеется, не для жертв репрессий).

Опираясь на эту объективную основу, власть выдвигала широкий спектр обращенных к массам лозунгов, призывов, сменяла одну пропагандистскую кампанию другой, умело затрагивала лучшие и худшие стороны человеческой души. Здесь и апелляция к традициям революционной борьбы, к классовой сознательности, чувству пролетарского интернационализма (например, кампания солидарности с республиканской Испанией). Здесь и все большая опора на патриотические чувства, обращение к традиционным, в первую очередь «государственническим» стереотипам массового сознания (крен в сторону исторической проблематики в литературе, кино; широкое развертывание исторического образования). Здесь и героизация, культ человека труда (широкая пропаганда достижений стахановцев, чкаловцев, папанинцев и др.). Но здесь же и призывы к разоблачению «врагов народа», периодически разжигаемые волны «спецеедства», абсолютизация классового подхода в литературе, в этике. И все это покоилось на целенаправленной индоктринации народа, принявшей грандиозные масштабы после выхода в свет в 1938 г. краткого курса «Истории ВКП(б)» — своеобразного катехизиса сталинизма.

В жизни эти направления активизации «человеческого фактора» сосуществовали, усиливали друг друга, составляли противоречивое, но единое целое. Чтобы поддерживать пламя почти религиозной веры в приближающееся лучшее будущее, помогавшей простому человеку стойко переносить тяготы повседневной жизни, стимулировавшей массовый трудовой энтузиазм, подыскивались новые, все более извращенные, но всегда конкретные и понятные «маленькому человеку» объяснения причин аварий на производстве, нехватки товаров повседневного спроса, перебоев с продовольствием... Вначале во всем оказывались виновными «кулаки» и «буржуазные спецы»; потом — представители эксплуататорских классов, «пробравшиеся» в партию, в государственные органы, на заводы, в колхозы; затем — коммунисты, «завербованные иностранными разведками».

Наказывая «начальников», власть, с одной стороны, удовлетворяла ущемлявшееся чувство социальной справедливости (советское общество в 30-е годы было далеко не эгалитарным, имелись значительные различия в уровне доходов, образе жизни между крестьянами, рабочими, значительным слоем интеллигенции, номенклатурой). Кроме того, вокруг наиболее образованной, способной к выработке и принятию самостоятельных решений части общества создавалась атмосфера общественного недоверия («гнилая интеллигенция», «бюрократы»), над ней постоянно висел дамоклов меч репрессий. Это в корне подавляло всякую оппозицию, сепаратизм, свело до минимума коррупцию, теневую экономику.

Абсурдная на первый взгляд сталинская идея об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму призвана была снять

[53] Там же, с. 243, 244, 480.
[54] Там же, с. 85; см. также: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Ук. соч., с. 87—88.

возникавшие в сознании масс вопросы. Идет год за годом, материальное благосостояние большинства народа растет медленно, из-за частого пересмотра норм увеличивается интенсивность труда, раскручивается маховик репрессий, но... тем лучше: раз нарастают трудности, значит, усиливают свою подрывную деятельность «враги народа», обостряется «классовая борьба», а следовательно, «приближается социализм». Тот же, кто стремится найти другое объяснение, попадал на «перевоспитание» в ГУЛАГ.

В сравнительно непродолжительной перспективе идея тернистого пути к светлому будущему могла обладать бо́льшей мобилизующей силой, чем концепция постепенного «врастания» в социализм неантагонистических противоречий социализма. Если сложности, несправедливости, несчастья будут и при социализме, ради чего тогда жертвовать собой? Иное дело — отдать свою жизнь на алтарь счастливого будущего своих детей, Родины, человечества: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Перед нами феномен искаженного, во многом иллюзорного сознания, род массовой «антирелигиозной религиозности», которая, так же как и собственно религия, примиряла человека с несовершенством мира настоящего ради идеального мира будущего, обрекала на заклание еретиков, эмоционально связывала простого смертного с вероучителем-вождем, носителем благодати, земным воплощением абсолюта.

«Подчиненное положение церкви в отношении к монархическому государству»[55], ускоренное перемалывание в до- и послереволюционное время традиционных социально-экономических структур; общественные, военные катаклизмы (три войны, включая мировую, и четыре революции, включая коллективизацию, за ту треть века); систематические антирелигиозные кампании подорвали в глазах части народа легитимность традиционных религий. «Распалась связь времен», но структуры сознания, потребность в вере остались прежними. И вакуум на время был заполнен верой в партию, в ее идеалы. Сейчас мы все больше узнаем о том, как распорядились этим доверием Сталин и его ближайшее окружение.

Но почему антигуманные методы, преступления сталинского руководства поддержало большинство партии? Огромную роль в этом, помимо репрессий, думается, сыграл нравственный релятивизм значительного слоя большевиков, отрицание ими общечеловеческих моральных норм, их абсолютного характера[56]. Теперь мы знаем, к чему привело на практике такое отношение к этике, смыкающееся с иезуитским «цель оправдывает средства».

[55] Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990, с. 110.
[56] См., напр., Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. Новгород. 1922, с. 233; Московские новости, 1988, № 25, с. 10.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

САВВА МАМОНТОВ

А. Н. Боханов

История России богата людьми-созидателями, к числу которых по праву относится и один из крупнейших отечественных предпринимателей конца XIX в. Савва Иванович Мамонтов. Его имя неразрывно связано с реализацией выдающегося для своего времени инженерного проекта — строительством железнодорожной магистрали Ярославль — Архангельск. Однако главная его заслуга перед потомками состоит в другом. Человек щедрой души, яркой самобытности, удивительного эстетического вкуса, высоких нравственных побуждений, он обессмертил свое имя искренним и бескорыстным служением русской культуре. Творческая судьба В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, М. М. Ипполитова-Иванова, И. И. Левитана, С. В. Рахманинова, И. Е. Репина, Н. А. Римского-Корсакова, В. А. Серова, К. С. Станиславского, Ф. И. Шаляпина и ряда других великих национальных талантов в той или иной степени переплетена с деятельностью этого купца.

Мамонтову-меценату посвящены специальные исследования[1], но о многих сторонах его биографии известно до сих пор сравнительно мало. Жизнь и судьба Саввы Ивановича интересны не только сами по себе, его личность как бы персонифицировала полузабытый ныне феномен российской благотворительности. Длительное время он оставался вне поля зрения советских историков, поэтому и жизнеописания «великолепного Саввы» часто лишены исторического фона, важных временных реалий, придававших делам его особый колорит и значение.

Мамонтов прожил большую и сложную жизнь. Родился он 2 октября 1841 г. в купеческой семье. Отец, Иван Федорович Мамонтов, с конца 30-х годов XIX в. занимался винным откупным промыслом на Сибирском тракте, в городке Ялуторовске Тобольской губернии. Здесь у него, женатого на купеческой дочери Марии Тихоновне Лахтиной, и появился четвертый ребенок — сын Савва, о чем свидетельствует запись в метрической книге местной Воскресенской церкви[2]. Кроме него, в семье было еще семь детей: Александра, Федор, Анатолий, Николай, Ольга, Мария, Софья (две последние умерли в детстве).

В 1849 г. купец первой гильдии (с 1843 г.) И. Ф. Мамонтов переехал в Москву, чтобы возглавить обширное откупное хозяйство Московской губернии, и держал его в своих руках более 10 лет, вплоть до ликвидации откупной системы в 1863 году. Деятельность в Сибири была успешной, и средства позволили жить в первопрестольной на широкую ногу: был арендован роскошный особняк на Первой Мещанской, устраивались званые вечера и балы. Уклад жизни семьи Ивана Федоровича и его брата, тоже купца, Николая Федоровича, переселившегося в Москву из Смоленской губернии и в начале 50-х годов XIX в. основавшего фабрику сургуча и лаков[3], существенно отличался от общепринятого в то время в предпринимательской среде. Литература, музыка, театр занимали важное место в жизни многочисленной мамонтовской родни. Даже внешний облик Ивана Федоровича был необычен для лица купеческого звания. Этого предпринимателя «по фотографиям,— заметила его внучатая племянница, дочь П. М. Третьякова,— можно было принять за английского премьера: цилиндр, бритое лицо, изящный костюм»[4].

В то время Мамонтовы еще не имели прочных связей в среде московского купечества. Торговцы и промышленники завидовали богатым откупщикам, не любили их, да и сами они не стремились завоевать расположение местного купеческого общества и даже не причислялись к нему. Николай Федорович значился «мосальским купцом», а Иван Федорович прожил первые годы в Москве в звании «чистопольского первой гильдии купца» и в качестве такового был в 1853 г. возведен в потомственное почетное гражданство[5]. В дальнейшем род Мамонтовых занял видное мéсто в московском купеческом мире, а его представители породнились (что являлось одной из форм общественного признания) со многими старинными и влиятельнейшими фамилиями. Уже в начале 60-х годов XIX в. Иван Федорович играл значительную роль в купеческом обществе, в городском управлении[6].

В Москве изменился и характер воспитания детей. У старших сыновей (Федора, Анатолия, Саввы) появился гувернер, выпускник Дерптского университета Ф. Б. Шпехт, который обучал их европейским манерам и иностранным языкам. Но, как и в других купеческих семьях, новое соседствовало со старым: за непослушание и нерадивость «клали на кровать и секли»[7].

В конце 1852 г. умерла Мария Тихоновна. В семье надолго воцарился траур. Иван Федорович с детьми переехал в обширный, но более простой дом на Новой Басманной. Он был серьезно озабочен их будущим и стремился дать им систематическое образование. Анатолий и Савва были помещены во Вторую московскую гимназию на Елоховской улице. Ни особого старания, ни прилежания Савва в гимназии не проявил, и через год отец решил определить его в петербургский Институт Корпуса гражданских инженеров (Горный корпус). В этом выборе сказалась прозорливость Ивана Федоровича, осознавшего на заре железнодорожного строительства и индустриализации важность инженерной профессии.

Савва и его двоюродные братья Анатолий и Валерьян (младшие сыновья Николая Федоровича) выдержали экзамен и в августе 1854 г. были зачислены в корпус. Питомцы этого учебного заведения получали не только общие и специальные знания, но и военную подготовку; выпускникам присваивался военный чин. Вспоминая об этом периоде своей жизни, Савва Иванович писал: «Странно и чудно мне было попасть в строгий режим военной жизни: маршировки, ружейные приемы и вообще строгое обращение офицеров с детьми»[8]. Из общеобразовательных предметов преподавали русский, французский и немецкий язы-

БОХАНОВ Александр Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.

[1] См.: Коган Д. Мамонтовский кружок. М. 1970; Копшицер М. И. Савва Мамонтов. М. 1972; Россихина В. П. Оперный театр С. Мамонтова. М. 1985.

[2] Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 799, оп. 1, д. 1, л. 1.

[3] См. Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых в Москве. 1854—1909. М. 1909.

[4] Зилоти В. П. В доме Третьякова. Нью-Йорк. 1954, с. 66.

[5] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 329, л. 1.

[6] Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. Ч. 2. М. 1905, с. 18.

[7] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 2, д. 2, л. 8.

[8] Там же, л. 10.

ки, рисование, географию, древнюю историю, арифметику, алгебру, геометрию, чистописание и закон божий. Савва проучился здесь до января 1856 г. и, как явствует из свидетельства, «был поведения хорошего»[9]. Сложнее было с прилежанием. Чрезвычайно увлекающийся человек, Савва целиком уходил в те области и дела, которые его начинали интересовать, но часто забывал и игнорировал многое другое, что казалось ему несущественным. Так, очень быстро он выучил немецкий язык и всегда имел по этому предмету только высшие баллы, но по латыни получал лишь двойки и тройки.

Трудно сказать, как повлияло почти двухлетнее пребывание Саввы в Петербурге на формирование его личности. О том, с кем он дружил, что читал, чем интересовался, как открывал для себя разные стороны жизни северной Пальмиры, сведений не сохранилось. Известно только, что успехами в учебе он не отличался. В апреле 1855 г. Иван Федорович обратился к 14-летнему сыну с письмом-наставлением, в котором высказал свое недовольство и в конце заметил: «Я благословляю тебя, прошу и приказываю бросить лень, учиться хорошо и баллами в успехах показать мне, что ты послушный и заботливый к исполнению отцовских приказаний сын» [10].

Обучение в Горном корпусе оборвалось внезапно: во время эпидемии от скарлатины скоропостижно умер кузен Валерьян, и Иван Федорович забрал сына в Москву, где определил его в четвертый класс Второй гимназии, в которой он учился ранее. Савва и здесь успехами в учебе не отличался[11]. В седьмом, выпускном, классе весной 1860 г. взрослый, почти 19-летний, он не выдержал экзамена по латинскому языку, не получил свидетельства и был зачислен во второгодники. И отец, и сын тяжело переживали случившееся. Однако нашлись догадливые люди, порекомендовавшие «удачную комбинацию». Савва поступил в Петербургский университет (свидетельство об окончании гимназии здесь не требовалось, латынь же за него сдал другой юноша), а затем перевелся на юридический факультет Московского университета. Осенью он приступил к занятиям и, как позднее вспоминал, «посещал лекции с большим интересом и с большим вольнодумством» [12].

В то время Мамонтов уже серьезно увлекся сценическим искусством. Интерес к удивительному миру «чувств, образов и звуков» он проявлял и раньше. Дневник его за 1858 г. содержит множество записей о посещении театральных спектаклей. Гимназист-театрал не только перечислял постановки и ведущих актеров, но и высказывал собственные мнения о качестве пьес и уровне исполнительского мастерства [13]. Много в дневниковых записях наивных, юношески-максималистских суждений, но они показывают, что театр стал важной и обязательной частью жизни молодого человека. Он бывал на спектаклях охотно и регулярно. Интересовали его разные жанры: опера, балет, водевиль, драма. В доме Мамонтовых не было принято прибегать к запретительным мерам (за редчайшим исключением). Пытаясь добиться нужных результатов и «отвратить от опасных соблазнов», глава семьи действовал убеждением.

Большую роль в формировании личности Саввы играли его близкие, духовная атмосфера «образованных кругов» общества, к которым принадлежали Мамонтовы. Дневниковые заметки позволяют судить о духовных запросах и времяпрепровождении гимназиста. Подробно описаны им вечера в кругу многочисленной родни в своем доме и у дядюшки Николая Федоровича, на Пресне: дружеские разговоры,

[9] Там же, оп. 1, д. 2, л. 1.
[10] Там же, д. 333а, л. 4об.
[11] Там же, д. 3, л. 2.
[12] Там же, оп. 2, д. 2, л. 15.
[13] Там же, оп. 1, д. 11, лл. 6—6об.

музицирование, пение, обсуждение спектаклей и книг. Много в дневнике и других примечательных штрихов жизни молодого Мамонтова. 31 января 1858 г. он записал: «Сегодня утром ходил к Александру (двоюродный брат, Александр Николаевич.— *А. Б.*) на фабрику, у него был Булахов, он пробовал мой голос, говорит, что у меня баритон и может образоваться хороший голос, если мне им заниматься»[14].

В конце 50-х годов XIX в. Мамонтовы переехали в новый дом на Воронцовом поле (улица Обуха). Было приобретено имение Киреево около Химок, под Москвой, ставшее «родовым гнездом» Мамонтовых на многие годы. В семье царила открытая, доброжелательная атмосфера, не лишенная и общественных интересов. Бурные события российской действительности 50-х — начала 60-х годов XIX в.— Крымская война, смерть Николая I и воцарение Александра II, подготовка «великих реформ» и отмена в 1861 г. крепостного права — способствовали оживлению общественной жизни, вызывали живейший интерес в различных слоях общества. В 1856 г. получили амнистию декабристы, и некоторые из них по прибытии в Москву останавливались в доме Ивана Федоровича [15].

Менялись в России и экономические условия. Раскрепощалась частная инициатива, наиболее дальновидные и предприимчивые представители купечества брались за большие начинания, за осуществление смелых проектов. В число таких людей входил и И. Ф. Мамонтов, который имел близкие деловые отношения с крупнейшим предпринимателем середины XIX в. В. А. Кокоревым, сначала занимавшимся винным откупом в Сибири, а затем возглавившим откупное дело в Петербургской губернии. Еще в конце 40-х годов XIX в. Кокорев начал торговые операции с Персией, был одним из пионеров промышленного освоения Закавказья. Два крупнейших откупщика, В. А. Кокорев и И. Ф. Мамонтов, основали в 1857 г. в Москве Закаспийское торговое товарищество, специализировавшееся первоначально на экспортно-импортных операциях, главным образом с шелком.

Однако деловые интересы Ивана Федоровича этим не ограничивались. Накопив значительный капитал на откупах, он помещал средства в городскую недвижимость и железнодорожное строительство. При его деятельном личном и финансовом участии построена одна из первых в России Троицкая железная дорога протяженностью 66 верст, связавшая Москву с древним Сергиевым посадом. Концессия была получена в конце 1859 г., а летом 1863 г. на линии началось регулярное движение. Уже в 1865 г. перевезено было 456 тыс. пассажиров, 9,5 млн. пудов различных грузов, а прибыль составила 476 тыс. рублей [16]. Старший Мамонтов вложил в это предприятие 460 тыс. рублей и был избран членом правления [17]. Он справедливо считал, что у железнодорожного строительства в России большое будущее.

У сыновей была своя жизнь. Савва все больше увлекался тем, что не имело никакого отношения к предпринимательским занятиям,— театром. В студенческое двухлетие он был не только усердным зрителем, но и приобщился к «театральному любительству». В то время частные труппы еще не были разрешены, но существовали различные театральные кружки, самым известным из которых был Секретаревский драматический (по имени владельца дома, где устраивались спектакли). Возглавляли его А. Н. Островский и А. Ф. Писемский. «Почтенные литераторы,— вспоминал Савва Иванович,— очень нас любили, да и было за что, ибо мы из сил рвались и играли очень забавно». Он с го-

[14] Там же, л. 10об.
[15] Копшицер М. И. Ук. соч., с. 10.
[16] Архангельское железнодорожное общество. СПб. 1898, с. 12.
[17] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 333а, л. 27.

ловой ушел в эти занятия и в начале августа 1862 г. дебютировал в пьесе «Гроза» в роли Кудряша, Дикого же играл сам Островский. На спектакль пришел Иван Федорович, и Савва видел, как «он вытирал слезу в последнем акте»[18].

Эта слеза не могла, однако, поколебать деловую натуру Ивана Федоровича, который был серьезно обеспокоен будущим не только Саввы, но и всего семейного дела. Старшие сыновья, Федор и Анатолий, склонности к предпринимательству не проявляли. Что же касается Саввы, то Иван Федорович, конечно, не мог даже вообразить, что любовь к театру и участие в спектаклях станут судьбой сына. Не препятствуя его увлечениям, отец с тревогой отмечал, что «несерьезные» интересы и, как ему казалось, праздное времяпрепровождение все больше и больше увлекали сына. Улетучивались надежды на успешное завершение университета. Иван Федорович решил прибегнуть к радикальным мерам и приобщить Савву к предпринимательским занятиям. Вскоре после указанного спектакля он отправляет его по делам Закаспийского товарищества в Баку, куда тот прибыл 4 сентября 1862 г. Главная цель — отвратить сына от «непозволительных столичных удовольствий».

Осенью 1863 г. руководители Закаспийского товарищества доверили Савве Ивановичу заведовать центральным, Московским, отделением фирмы. В начале 1864 г. молодой негоциант прибыл в Италию, чтобы поправить здоровье и одновременно познакомиться с торговлей шелком. Северная область Италии — Ломбардия — издавна была известнейшим в Европе районом шелководства и шелкоткачества, а столица области Милан — крупнейшим центром шелковой торговли, но не только. Город этот был и столицей оперного искусства, а театр «Ла Скала» — общепризнанной «первой сценой» мировой оперы.

Несколько месяцев пребывания в Милане оказались для Мамонтова весьма примечательными. Подробностей того, как он вел коммерческие дела, не сохранилось, однако известно, что именно в тот период он «серьезно заболел» оперным искусством. Савва Иванович знакомился с лучшими оперными постановками, слушал ведущих вокалистов и начал брать уроки пения. Не без юмора он писал позднее, что во время его занятий с маэстро извозчики, стоянка которых располагалась под окнами снимаемой им комнаты, «не выдерживали и уезжали»[19].

Эта первая поездка в Италию (он побывал там много раз) примечательна еще одним событием в жизни молодого дельца-меломана. Мамонтов познакомился с дочерью известного московского купца, крупного шелкоторговца Григория Григорьевича Сапожникова — Елизаветой (1847—1908 гг.), ставшей его женой. Молодая девушка не блистала красотой, но покорила сердце Саввы Ивановича умом, образованностью и душевной открытостью. Ее мать, Вера Владимировна Алексеева, была сестрой Сергея Владимировича Алексеева — отца К. С. Станиславского, а другой брат матери, Александр,— отцом Н. А. Алексеева, избранного впоследствии Московским городским головой. В иерархии московского купечества Сапожниковы — Алексеевы уже в 60-е годы XIX в. занимали высокое положение, и их согласие на брак служило признанием авторитета Мамонтовых.

Решение сына Иван Федорович сразу и безоговорочно одобрил. «Выбор твой указанной невесты, Лизы Сапожниковой,— писал он в ноябре 1864 г.,— есть выбор правильный и достойный»[20]. Избранница имела всего около 17 лет от роду, но была девушка начитанная, музыкально образованная. Позднее она писала: «Я очень любила стихи,

[18] Там же, оп. 2, д. 2, л. 16.
[19] Там же, л. 30.
[20] Там же, л. 44.

много занималась музыкою и страстно любила немецких классиков, особенно Бетховена и Шумана»[21]. Свадьба состоялась в апреле 1865 г. в Кирееве. Там они прожили несколько недель, а затем уехали в свадебное путешествие в Италию[22].

Вернувшись осенью в Москву, молодая чета поселилась в доме на Садовой-Спасской, который купил для них Иван Федорович. Этот особняк постепенно превратился в один из интереснейших центров художественной жизни не только Москвы, но, пожалуй, и всей России. Первоначально небольшой, двухэтажный (каменный низ, деревянный верх), неоднократно перестраиваясь и расширяясь, он к концу XIX в. имел 15 комнат на первом этаже, 11 — на втором, 4 — в мезонине и обширный зимний сад[23].

Отец приобщал Савву Ивановича к железнодорожному предпринимательству. В 60-е годы XIX в. строилась дорога на Ярославль, и И. Ф. Мамонтов был крупным акционером и директором общества Московско-Ярославской железной дороги. Возглавлял эту компанию Ф. В. Чижов (1811—1877 гг.). Бывший профессор математики Петербургского университета, широко образованный человек, близкий знакомый Н. В. Гоголя, И. С. Аксакова, Н. М. Языкова, А. А. Иванова, В. Д. Поленова и других писателей и художников, он играл заметную роль в кругах славянофилов, был одержим идеей экономического развития северных областей России. Чижов проникся большой симпатией к молодому, энергичному и умному С. И. Мамонтову и на многие годы остался его покровителем и наставником, причем не только в железнодорожных делах[24].

Конец 60-х — 70-е годы XIX в.— важный период в жизни Саввы Ивановича. В августе 1869 г. умер Иван Федорович, и сын стал заниматься предпринимательством самостоятельно. Не без влияния Чижова Савва Иванович не покинул деловой мир, а постепенно все больше и больше втягивался в эти занятия, набирался коммерческого опыта и знаний. В течение нескольких лет он фигурировал в качестве кандидата в члены правления, затем члена правления, а в 1872 г., по рекомендации Чижова, занял ответственный пост директора Общества Московско-Ярославской железной дороги. Линия была открыта для движения в 1870 году[25]. Одновременно С. И. Мамонтов состоял владельцем торговой конторы, специализировавшейся на поставках строительных материалов (операции с шелком были прекращены еще в 60-е годы XIX века).

В начале 70-х годов он начал играть заметную роль и в общественных организациях: избирается гласным Городской думы и действительным членом Общества любителей коммерческих знаний[26]. Еще раньше Мамонтов был причислен к московскому купечеству. В справочной книге купеческого общества на 1873 г. говорится: «Мамонтов Савва Иванович, 31 год, купец 1 гильдии, потомственный почетный гражданин, в купечестве с 1866 года. Жительствует в Сретенской части, в приходе церкви Святого Панкратия у Сухаревой башни, на Садовой

[21] Там же, д. 312, лл. 48—49.
[22] У Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны было пятеро детей: Сергей (1867—1915), Андрей (1869—1891), Всеволод (1870 г.), Вера (1875—1907), Александра (1878 г.). Даты смерти Всеволода и Александры неизвестны.
[23] Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 265, л. 225. Дом этот сохранился лишь частично (Садовая-Спасская, 6).
[24] После него осталось капиталов на 6 млн. руб., завещанных им на устройство промышленных училищ (см. Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. 2. М.— Л. 1932, с. 93).
[25] Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт во второй половине XIX века. М. 1975, с. 77.
[26] Адрес-календарь Москвы 1873 года. М. 1873, с. 63, 125.

улице в собственном доме. Торгует лесом. Состоит выборным от московского купечества с 1869 года»[27].

Киреево унаследовал старший брат Федор, а Савва Иванович и Елизавета Григорьевна решили приобрести собственный дом в сельской местности. Такое желание диктовалось искренней тягой к природе и убеждением, что дети должны расти в простой, здоровой среде. Мамонтовы узнали, что по Ярославской дороге, в нескольких верстах от станции Хотьково, продается усадьба писателя С. Т. Аксакова. В марте 1870 г. супруги Мамонтовы поехали осматривать Абрамцево. Елизавета Григорьевна писала: «Въехав в просеку монастырского леса и увидев на противоположной горе уютный, серенький с красной крышей дом, мы стали восхищаться его местоположением... В доме оставалась кое-какая аксаковская мебель, портреты и рисунки. Дом был настолько плох, что нечего было и думать поселиться в нем, не переделавши его основательно»[28]. Живописная местность и очарование самого дома определили решение — покупать.

Была быстро оформлена на имя Елизаветы Григорьевны купчая, и Мамонтовы за 15 тыс. руб. стали обладателями запущенного, но довольно обширного имения (285 дес.)[29]. Дом был капитально отремонтирован к осени. В дальнейшем неутомимый Савва Иванович, который всю жизнь постоянно что-то сооружал и перестраивал, превратил Абрамцево в благоустроенную в хозяйственном и бытовом отношениях усадьбу. Здесь были построены больница, школа, мост, плотина на реке Воре, улучшена дорога, сооружены мастерские для художников, церковь и много более мелких зданий в самой усадьбе и около нее, создана оранжерея, разбит прекрасный сад. Хозяин дома всей душой полюбил это место. «Не будь Абрамцева, жизни с природой, безотрадно было бы»,— писал он жене[30].

Интерес к искусству и к людям, его олицетворявшим, отличал Савву Ивановича и в пору зрелости, и в старости. И деятели искусства платили ему взаимной симпатией. Своеобразный душевный и интеллектуальный магнетизм Мамонтова способствовал возникновению «мамонтовского кружка», объединившего общностью духовных и эстетических интересов хозяев Абрамцева и многих блестящих представителей художественной культуры России конца XIX века.

Художники появились в доме на Садовой еще в конце 60-х годов XIX века. Одним из первых близким знакомым семьи стал художник и архитектор В. А. Гартман. В 1872 г. в Италии, куда почти ежегодно ездил Савва Иванович с женой, познакомились со скульптором М. М. Антокольским, художником В. Д. Поленовым и искусствоведом А. В. Праховым, которые стали друзьями дома на многие годы. В начале 70-х годов XIX в. изобразительное искусство становится «потребностью души» и Елизаветы Григорьевны. В 1872 г. во время пребывания в Риме с большим интересом и удовольствием она посещала мастерские русских художников, а несколько тысяч франков, подаренных ей матерью, израсходовала на приобретение картины Ф. А. Бронникова «Мученик» и мраморной головы Натана Мудрого работы Антокольского[31].

Пребывание в Италии «выбивало из колеи» Савву Ивановича. Возвращение в Россию и переход от возвышенных духовных интересов к будничным, зачастую рутинным обязанностям в правлении Московско-Ярославской дороги первые годы угнетали его. Летом 1874 г. он

[27] Справочная книга о лицах, получивших на 1873 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве. М. 1873 с. 33.
[28] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 312, лл. 9об.—10.
[29] Там же, д. 14, л. 1об.
[30] Там же, д. 320, л. 1об.
[31] Там же, д. 312, л. 34.

писал жене: «У меня за последнее время римской жизни приходит желание не очень запрягаться во всякие дела. Да и зачем, в самом деле, голова кругом идет, покоя знать не будешь, очерствеешь и из-за чего? Благо не было бы, что кусать, а то, слава Богу, на наш век хватит. Нет, я, право, пресерьезно думаю обставить себя так, чтобы все-таки до известной степени принадлежать себе»[32].

В 70-е годы XIX в.— период становления Мамонтова как знатока, ценителя и покровителя искусств — молодой предприниматель еще только приобретал популярность в деловом мире. Человек он был инициативный и увлекающийся, даже азартный, не лишенный к тому же и определенных амбиций. Его часто тяготило отсутствие настоящего большого дела, где можно было проявить себя в полной мере. Роль «отставного купца» была не для него. «Не знаю, что будет дальше,— писал Мамонтов жене вскоре после избрания его директором Общества Московско-Ярославской дороги,— но сейчас мне вообразить даже немыслимо, чтоб я бросил это дело, уж больно полюбилось, и удача заманчива»[33]. Железнодорожная компания действовала успешно и приносила хорошую прибыль[34].

Общероссийскую известность как предприниматель Савва Иванович получил с постройкой Донецкой каменоугольной железной дороги, связавшей Донбасс с Мариупольским портом. Строительство существенно ускорило индустриальное развитие этого чрезвычайно перспективного в экономическом отношении района. В 1876 г. правительство назначило для потенциальных концессионеров торги. Каждый из претендентов должен был представить свой проект и смету строительства будущих железнодорожных линий, общая протяженность которых составляла примерно 500 верст. Одним из соискателей был Мамонтов. Он вышел победителем и несколько лет занимался новым и большим делом. Донецкая дорога была в основном проложена за 1878—1879 гг., а завершилось строительство в 1882 году. Савва Иванович мог констатировать: «Дорога построена прекрасно»[35]. В начале 90-х годов XIX в. она была выкуплена государством[36].

Предпринимательская деятельность Мамонтова не заслоняла его душевной привязанности к искусству. Он поразительно умел сочетать одно дело с другим. С искренним удивлением Станиславский вспоминал, что Мамонтов в одно и то же время руководил постановкой домашнего спектакля, писал пьесу, «шутил с молодежью, диктовал деловые бумаги и телеграммы по своим сложным железнодорожным делам, которых он был инициатор и руководитель»[37]. Тратя много времени и сил на деловые обязанности, решая каждодневно множество организационных и финансовых вопросов, он не представлял себе жизни без того, что согревало душу.

Мамонтовы любили русскую литературу, постоянно знакомились с новыми произведениями (в 1869 г. Елизавета Григорьевна, например, записывает в «Дневнике», что они с мужем всю весну «с увлечением читали «Войну и мир»[38]). Постепенно сложилась домашняя традиция регулярно устраивать литературные чтения.

По мере того как в семье «обживались» художники (Поленов, Васнецов, Репин, затем Серов, Коровин, Врубель и др.), постоянно

[32] Там же, лл. 69—69об.
[33] Там же, д. 320, л. 2.
[34] См. Финансовое положение русских обществ железных дорог к 1 января 1880 года. Ч. 1. СПб. 1881, прил. 25.
[35] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 320, л. 11об.
[36] Соловьева А. М. Выкуп частных железных дорог в России в конце XIX в.— Исторические записки. Т. 82, с. 103.
[37] Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М. 1948, с. 111.
[38] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 312, л. 6.

и неизбежно возникали беседы об изобразительном искусстве, его роли и значении в прошлом и настоящем, обсуждались выставки. Савва Иванович обязательно посещал экспозиции Товарищества передвижных художественных выставок, хорошо знал собрание П. М. Третьякова (они состояли в родстве). Не проходили для Мамонтова незамеченными и другие события в изобразительном искусстве. Постепенно «беседы у самовара» переросли в рисовальные вечера, где каждый желающий мог проявить себя. В них принимали участие А. М. Васнецов, И. И. Левитан, В. И. Суриков, Н. В. Неврев, В. А. Серов, К. А. Коровин, сам С. И. Мамонтов и другие. Это была форма творческого общения людей, объединенных близостью духовных интересов.

Встречи с художниками не ограничивались только чаепитием и беседами. Многим Савва Иванович оказывал существенную моральную и материальную поддержку, а некоторые из них (Васнецов, Серов, Коровин, Врубель) подолгу жили у него и в Москве, и в Абрамцеве, где им были созданы необходимые для творчества условия. Умение распознать талант было отличительной чертой Мамонтова. Он делал все, чтобы дарование не погибло в нищете и заброшенности. В отчаянно нуждавшемся Врубеле, который не был еще широко известен, Савва Иванович сразу увидел неординарность творческой натуры и после первой же встречи (в дом на Садовую в 1889 г. Врубеля привел сын Мамонтова Андрей, тоже художник) заявил, что «надо обязательно приручить нового знакомого»[39]. Еще раньше, в конце 70-х годов XIX в., в семье «приручили» бедствовавшего Васнецова, затем — Серова и Коровина.

В Абрамцеве и в доме на Садовой художниками были созданы произведения, составившие частицу «золотого фонда» русской национальной культуры: «Проводы новобранца» и портреты Мамонтовых Репина; «Богатыри», «Битва русских со скифами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства» Васнецова; «Сидящий демон» Врубеля; бесчисленное количество рисунков Серова, его знаменитый портрет старшей дочери Саввы Ивановича — Веры («Девочка с персиками», 1887 г.); рисунки и эскизы декораций Поленова, Коровина и многое, многое другое. Члены семьи Саввы Ивановича и некоторые близкие родственники служили «натурой» для Репина, Серова, Неврева, Врубеля.

Мамонтов не принадлежал к числу выдающихся коллекционеров. Но везде, где бы он ни жил, его обязательно окружали произведения искусства. Художники дарили ему свои работы, что-то приобреталось им самим или его женой. Для Саввы Ивановича процесс творчества часто был важнее его результата, целенаправленной собирательской деятельностью он не занимался. Тем не менее постепенно сложилось мамонтовское собрание, включавшее значительное число первоклассных произведений.

В архивном фонде Московского Окружного суда сохранилась составленная в сентябре 1899 г. подробная опись всего «движимого имущества» в доме Мамонтовых на Садовой-Спасской. Из этого реестра следует, что мамонтовское собрание имело большую художественную ценность. Назовем лишь некоторые принадлежавшие ему работы. В большом зале висели картины: «Барышни» Н. А. Ярошенко, «Поздравление» В. Е. Маковского, «Испанки», «Корабли» К. А. Коровина, «Вид Севастополя» И. С. Остроухова; в Малом кабинете — «Портрет А. Мазини» и «Портрет Ф. Таманьо» В. А. Серова, «Мальчик» В. Г. Перова, в Большом кабинете — «Вид Днепра» А. М. Васнецова, «Портрет Э. А. Сайгина» И. Е. Репина; на лестнице — «Вид с балкона в Париже» и «Натурщица в мастерской художника» К. А. Коровина, «Битва русских со скифами» и «Витязь на распутье» В. М. Васнецова. Кроме того, в доме имелось много этюдов и рисунков Врубеля, Коровина, Серова, а также мраморная скульптура «Христос перед Пилатом» (Большой кабинет), бронзовые бюст «Мефистофель» и голова «Иоанн Креститель» Антокольского (Малый кабинет)[40].

[39] Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. М. 1951, с. 75.

Савва Иванович целенаправленно поддерживал многие крупные начинания в области культуры. Он способствовал пропаганде искусства передвижников, например, издал за свой счет в 1880 г. альбом «Рисунки русских художников», который получил высокую оценку Репина и критики[41]. В 70—80-е годы XIX в. помогал организации художественных выставок в Москве, финансировал (совместно с княгиней М. К. Тенишевой) издание журнала «Мир искусства», выходившего с 1898 г. в Петербурге. Внес несколько десятков тысяч рублей в фонд Музея изящных искусств и был избран членом-учредителем Комитета по устройству музея[42]. Очень многое сделал Мамонтов для общественного признания отдельных художников. В 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, после того как по решению комиссии Академии художеств с экспозиции были сняты два панно Врубеля «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза», Савва Иванович построил для них специальный павильон, где выставил эти произведения.

Столь разнообразная деятельность Мамонтова была результатом глубокого осознания им общественного предназначения искусства. В 1899 г. меценат писал: «Искусство во все времена имело неотразимое влияние на человека, а в наше время, как я думаю, в силу шаткости других областей человеческого духа, оно заблестит еще ярче. Кто знает, может быть, театру суждено заменить проповедь»[43].

Неизменной оставалась в мамонтовском доме любовь к музыке. Иногда заранее, чаще экспромтом, составлялась программа вечера, и звучала музыка Бетховена, Шумана, Моцарта, Мусоргского, Глинки, Даргомыжского и других русских и зарубежных композиторов, исполнялись оперные арии. Часто солировал хозяин дома, которому аккомпанировали члены семьи, гости из числа студентов и преподавателей Московской консерватории или друзья.

Чтение, музицирование, рисование, беседы об искусстве дополнялись домашними спектаклями. Все началось с живых картин. Первый театральный вечер, в котором принял участие 17-летний К. С. Алексеев (Станиславский), состоялся в доме на Садовой 31 декабря 1878 года. С 1879 г. (летом в Абрамцеве, зимой в Москве) несколько раз в год устраивались спектакли. Первой была поставлена драма поэта А. Н. Майкова "Два мира". Оформлением спектаклей занимались художники «мамонтовского кружка», они же вместе с членами многочисленной родни Саввы Ивановича играли в них.

Мамонтову не давала покоя мысль о довольно пренебрежительном отношении «просвещенной публики» к национальному оперному искусству. В начале 80-х годов XIX в. у Саввы Ивановича возникает мысль заняться большими оперными постановками. В 1884 г. он совместно с композитором и дирижером Н. С. Кротковым приступает к формированию труппы. Любовь к искусству и высокий эстетический вкус мецената, осознание им задач развития важного направления национальной художественной культуры лежали в основе этого предприятия. Он не только финансировал его, но был душой дела и художественным руководителем.

[40] ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 265, лл. 83, 87об, 88об., 90, 91об.
[41] Русские ведомости, 19.V.1880.
[42] ЦГИА г. Москвы, ф. 179, оп. 21, д. 1460, л. 107об.
[43] Виноградская И. Н. Летопись жизни и творчества К. С. Станиславского. Т. 1. М. 1971, с. 270.

Савва Иванович стал первым, кто после законодательного разрешения в 1882 г. частных театральных трупп в столичных городах «покусился» на монополию императорских театров. Это был смелый и рискованный шаг. Мамонтов хотел не просто учредить оперный театр, а создать нечто качественно новое. Эстетическая концепция мецената была по тому времени новаторской. В казенных театрах оперные постановки сводились к шаблонным сценическим и вокальным приемам, а спектакли походили на дивертисмент сольных партий, слабо связанных общим сценическим действием. Главным было «выпевание нот».

Мамонтов хотел организовать все иначе. Он задумал соединить на сцене воедино певца, актера, художника, музыкальное и хоровое сопровождение и добиться, чтобы спектакль воспринимался как цельное художественное произведение, где все имело бы равноценное значение. Такая задача была тогда трудноразрешима. Отсутствовали навыки, не существовало традиций подобных постановок, почти все приходилось начинать с нуля.

При формировании труппы Московской частной русской оперы было решено, что она должна состоять из молодых певцов, которые не прошли «школу казенной сцены». Капельмейстером стал И. А. Труффи, руководителем труппы числился Н. С. Кротков. Официально С. И. Мамонтов никаких постов здесь не занимал, но, по воспоминаниям очевидца, руководил всеми репетициями и «старался внести в исполнение молодых артистов драматический элемент и осмысленность в произнесении текста» [44]. «Нужно петь играя»,— постоянно наставлял он исполнителей, ибо считал, что опера не есть «концерт в костюмах на фоне декораций» [45].

Для первых постановок было намечено три оперы: «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Фауст» Ш. Гуно и «Виндзорские проказницы» О. Николаи. Днем рождения частной оперы стало 9 января 1885 г., когда в помещении Лианозовского театра шла «Русалка». Рисунки для декораций и костюмов делал В. М. Васнецов, декорации писали молодые К. А. Коровин, И. И. Левитан, Н. П. Чехов. Они же оформляли «Фауста» и «Виндзорских проказниц» по эскизам В. Д. Поленова. Важно то, что Мамонтов привел в театр настоящих больших художников, и именно с частной оперы идет само понятие «художник театра». Ранее талантливые мастера такой деятельностью не занимались. В казенных театрах были декораторы, которые худо-бедно оформляли спектакли, но их занятия считались чем-то второстепенным. Главным для них было «похоже» изобразить на заднике итальянский пейзаж, античные руины, средневековый замок и т. п. «типические картины», на фоне которых и выступали певцы. Как правило, тут не было ни настоящего мастерства, ни творческой фантазии, ни вкуса.

В театре Мамонтова значение и роль художника были иными. Талант братьев Васнецовых, Врубеля, Коровина, Левитана, Малютина, Поленова, Серова и некоторых других не только проявился в полной мере в театральных постановках, но и придал им невиданную доселе яркость и выразительность. Мелочей в оформлении спектаклей, в подборе реквизита и костюмов в частной опере не было. Каждая сценическая деталь, мизансцена, элемент костюма подробно обсуждались в кругу художников, знатоков искусства и истории.

Казалось бы, при такой серьезности подготовки каждого спектакля успех его у публики был обеспечен. Задолго до открытия театра в Москве циркулировали слухи. Театралы-завсегдатаи, любители светских развлечений, критики гадали, что ждет их в театре «железнодорожного короля». Любопытных было много, и на «Русалку» все билеты

[44] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 3, д. 15, л. 3.
[45] Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы. М. 1951, с. 154.

были раскуплены. Однако успеха не было, и последующие спектакли шли часто при почти пустом зале. В прессе появились заметки с однозначно критическими оценками [46].

Конечно, у первых мамонтовских оперных постановок имелись недостатки, неизбежные при осуществлении столь большого и необычного начинания, прежде всего — невысокий уровень вокального и актерского мастерства ведущих певцов, не умевших «петь играя». Однако цели Мамонтова были грандиозней и значительней качества отдельных спектаклей. Заметили же и оценили их на первом этапе лишь немногие. Художник Коровин писал: «Все его осуждали: «Большой человек — не делом занимается, театром». Всем как-то это было неприятно: и родственникам, и директорам железной дороги, и инженерам заводов» [47].

Много сил, времени потратил и средств вложил Савва Иванович в свое начинание, множество неудач, разочарований выпало на его долю, но он не отступил, искал новых исполнителей и свежие выразительные приемы, совершенствовался как режиссер и добился успеха. Возобновление спектаклей Московской частной оперы в 1896 г. на сцене Солодовниковского театра ознаменовалось триумфом его дела. Опера стала важным фактором культурной жизни России. После успешных гастролей мамонтовской оперы в Петербурге В. В. Стасов в 1898 г. опубликовал восторженную статью (появление таких статей уже стало нормой). Отдавая должное меценату, маститый критик писал, что заслуга Мамонтова перед национальной культурой состоит в том, «что он создал в Москве, на свои собственные средства, русскую оперу, нашел оркестр, нашел хоры, нашел солистов, между которыми несколько сильно замечательных, с Шаляпиным во главе» [48]. В этой антрепризе «взошла звезда» Шаляпина, расцвел талант дирижера и композитора Рахманинова, дирижера Ипполитова-Иванова, засверкала во всей красоте и силе музыка Мусоргского, Римского-Корсакова, раскрылся удивительный талант Коровина и многих других. Как заметил Рахманинов, «Мамонтов был большой человек и оказал большое влияние на русское оперное искусство. В некотором отношении влияние Мамонтова на оперу было подобно влиянию Станиславского на драму» [49].

Создание частной оперы и «поддержание ее на плаву» (только в самом конце 90-х годов XIX в. постановки стали окупаться сборами) требовало крупных и постоянных затрат. Эта сторона истории мамонтовского театра никогда не затрагивалась. Данных об этом нет ни в литературе, ни в материалах архивного фонда мецената, хотя ясно, что театральная деятельность требовала значительных средств, которые выделял Мамонтов. Ссылаясь на слухи, А. П. Чехов писал о 3 млн. руб., которые были ассигнованы на оперный театр в первый год его существования [50]. Эта огромная цифра выглядит невероятной. Однако если учесть, что деятельность на благо культуры, которую многие называли «купеческой блажью», длилась долгие годы, то можно предположить, что в общей сложности расходы исчислялись сотнями тысяч, если не миллионами рублей. За всю историю России людей, которые выделили бы на культурные цели такие баснословные суммы, можно пересчитать по пальцам. Эти «вложения» не приносили Мамонтову материальных выгод, и руководствовался он в этом деле соображениями, не имевшими корыстной подоплеки.

Постепенно художественный вкус и знания Саввы Ивановича стали в творческой среде общепризнанными. Перед открытием Художест-

[46] См., напр., Театр и жизнь, 11.1.1885 (передовая статья).
[47] Коровин К. Жизнь и творчество. М. 1963, с. 241.
[48] Стасов В. В. Собр. соч. Т. 3. М. 1952, с. 251.
[49] Рахманинов С. Литературное наследие. Т. 1. М. 1978, с. 57.
[50] Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 16. М. 1987, с. 177.

венного театра, в октябре 1898 г., Станиславский, приглашая Мамонтова на генеральную репетицию, писал: «Вас же, как театрального человека, понимающего разницу между репетицией и спектаклем, как знатока русской старины и большого художника — мы бы были очень рады видеть на репетиции: помогите нам исправить те ошибки, которые неизбежно вкрались в столь сложную постановку, какой является «Царь Федор» [51]. Через 10 лет великий актер и режиссер назовет Савву Ивановича своим учителем эстетики [52]. А. Н. Бенуа писал о Мамонтове, что он «промышленник по профессии, но художник в душе» [53].

В своем служении общественным интересам купец-меценат не ограничивался сферами искусства. Длительное время он был председателем Дельвиговского железнодорожного училища в Москве. Как один из душеприказчиков Чижова деятельно занимался учреждением учебных заведений в северных губерниях, в том числе Костромского промышленного училища им. Ф. В. Чижова, где был избран пожизненным почетным попечителем.

Была и еще одна общественная акция, связанная с именем Мамонтова: организация в Петербурге на исходе XIX в. газеты либерального толка «Россия». Хозяин «Нового времени» А. С. Суворин внимательно следил за новоявленным конкурентом. «Вчера слышал,— записывает он 26 марта 1899 г.,— что Мамонтов и Морозов затевают газету с капиталом 250 тысяч на первый год. Сотрудникам платят вперед за 9 месяцев. Хотят сыграть на неудовольствии против «Нового времени» и спешат» [54]. Газета начала выходить в апреле 1899 г., быстро стала завоевывать популярность и, преодолевая большие административные препятствия, просуществовала несколько лет. В феврале 1902 г. она была закрыта за фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», в котором высмеивались члены царской фамилии.

Все начинания Мамонтова в культурной и общественной жизни требовали крупных расходов. Средства можно было получить лишь в результате предпринимательской деятельности, которая продолжала развиваться. В начале 90-х годов XIX в. правление Московско-Ярославской дороги приняло решение продлить железнодорожную линию до Архангельска. Коммерческие соображения при этом не были определяющими, так как особых финансовых выгод новая магистраль в обозримом будущем не сулила. Савва Иванович руководствовался убеждением, что надежное, круглогодичное транспортное сообщение будет способствовать хозяйственному развитию исконно русских областей и районов.

Осуществление этого большого и чрезвычайно трудоемкого проекта требовало увеличения длины железнодорожного полотна почти вдвое. Общая длина дороги возросла в конечном итоге до 1826 верст, что сделало ее одной из самых протяженных в России. Общество Ярославской дороги было преобразовано в Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, правление которого возглавил С. И. Мамонтов, а одним из двух директоров стал его младший брат Николай. После решения организационных вопросов, связанных со строительством, Савва Иванович привлекает к железнодорожной деятельности и своего сына Всеволода («Воку»), которому писал 10 июня 1894 г.: «Дело по строительству дороги кончено и нами подписано. Теперь, благословясь, будем приступать к делу... Тебе поручается вести канцелярию и все производство по строительному отделу, т. е. все бумаги должны проходить через твои руки и ты должен быть больше всех в курсе» [55]. Спустя

[51] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 236, л. 2.
[52] Там же, л. 7.
[53] Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. 2. М. 1980, с. 194.
[54] Суворин А. С. Дневник. М.— Пг. 1923, с. 188.
[55] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 164, лл. 1—1об.

два года Всеволод вошел в члены правления, членом правления стал и его брат Сергей.

Строительство дороги было завершено в 1897 г., а в следующем году началось по ней регулярное движение. Осуществление этого большого проекта было одобрено всеми, кто искренне сочувствовал экономическому прогрессу России. Вот что писал С. И. Мамонтову профессор И. В. Цветаев: «Спешу приветствовать Вас с завершением важного исторического дела, с которым отныне будет навсегда связано Ваше имя. Вся грядущая счастливая судьба нашего Европейского Севера будет напоминать о той гигантской смелости и энергии, которую Вы, с истинной отвагой русского человека, положили на этом деле» [56].

Мамонтов не искал ни чинов, ни званий, ни наград; подобная амбициозная возня многих других предпринимателей ему была чужда. Он делал дело: учреждал, строил, благотворительствовал. Однако некоторые знаки «монаршей милости» он все-таки имел. В 1896 г., например, получил престижное звание мануфактур-советника. Инициатива награждения исходила от министра финансов С. Ю. Витте, который в представлении «на высочайшее имя» писал, что С. И. Мамонтов на посту председателя правления Московско-Ярославской железной дороги «своею энергией и выдающимися знаниями способствовал упрочению хозяйства этой дороги» [57]. Год спустя министр финансов добьется для него ордена Владимира четвертой степени [58].

Характеристика Витте вполне обоснованна. Общество процветало: только за 1898 г. чистый доход его составил баснословную сумму — 5,2 млн. рублей [59]. Казалось бы, при таких прибылях, часть которых «оседала» в мамонтовской семье, можно было благоденствовать, ничем не рискуя. Но Савва Иванович оставался человеком неуемной энергии, одержимым новыми идеями и планами, которые стремился претворить в жизнь.

В начале 90-х годов XIX в. он выходит за рамки знакомых железнодорожных дел и начинает осуществлять грандиозную экономическую комбинацию, неудача которой в конечном итоге привела предпринимателя к краху. Суть ее состояла в создании конгломерата связанных между собой промышленных и транспортных предприятий. В 1890 г. у казны был арендован запущенный Невский судостроительный и механический завод в Петербурге. На его базе возникло «Московское товарищество Невского механического завода» с основным капиталом в 1,5 млн. руб., устав которого был утвержден в январе 1891 года [60]. Предприятие предназначалось для обеспечения железных дорог подвижным составом, а для снабжения производства сырьем Мамонтов приобрел Николаевский металлургический завод в Нижнеудинском округе Иркутской губернии, преобразованный в общество Восточно-Сибирских железоделательных и механических заводов. В этих двух компаниях он стал председателем правления. Дело было невиданное. Успешное осуществление проекта привело бы к созданию крупного концерна.

Чтобы превратить заводы в современные предприятия, требовалась их полная модернизация, для которой были необходимы огромные финансовые вложения. По всей вероятности, Савва Иванович до конца не осознавал всей сложности поставленной задачи. Первые годы он вкладывал в новые предприятия свои личные средства, но для подъема

[56] Там же, д. 263, л. 1.
[57] Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 40, оп. 1, д. 48, л. 76.
[58] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 12, л. 8.
[59] Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт во второй половине XIX века, с. 115.
[60] Невский судостроительный и механический завод. СПб. 1910, с. 8.

разоренных заводов этого оказалось мало. Сам он не мог уследить за всем разветвленным хозяйством, компетентных и честных сотрудников не хватало, и огромные средства, как позже выяснилось, часто просто разбазаривались. Но не в характере Мамонтова было останавливаться на полпути. Он с удивительной настойчивостью продолжал безнадежное дело, начал финансировать промышленные предприятия из кассы Московско-Ярославско-Архангельской дороги, изыскивал денежные средства на стороне. Интуиция Савве Ивановичу явно изменила, он не рассчитал своих возможностей.

Изъян намеченной комбинации состоял в том, что у Мамонтова не было надежного источника кредитования. С банками тесных отношений у него не существовало; петербургские же финансовые заправилы внимательно следили за его деятельностью, видя в нем серьезного соперника. После того как были исчерпаны все возможности в изыскании необходимых средств, Савва Иванович, по совету Витте, обращается к ним.

В 1898 г. на горизонте мамонтовского дела появляется фигура директора Петербургского международного коммерческого банка А. Ю. Ротштейна. Этот делец, ставший в 90-е годы XIX в. руководителем крупнейшего частного банка России, был доверенным лицом министра финансов и имел многочисленные связи в европейских финансовых центрах. Безвыходное положение заставило Мамонтова пойти на рискованный шаг. В августе 1898 г. он продал 1650 акций Московско-Ярославско-Архангельской дороги Международному банку и одновременно получил специальную ссуду под залог акций и обязательств (векселей), принадлежавших ему и его родственникам [61]. По сути дела, на карту было поставлено все, и Савва Иванович проиграл.

Обращаясь к Международному банку, он хотел получить передышку, а затем, добившись концессии на постройку большой железнодорожной магистрали Петербург — Вятка, за счет казенных субсидий рассчитаться с кредиторами. В то время у него возник и другой грандиозный план — проложить железную дорогу в Среднюю Азию. Инженер-путеец и писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, проводивший по заданию Мамонтова изыскательские работы, писал ему 23 июля 1898 г.: «Я докладывал министру (очевидно, Витте.— *А. Б.*) о Ташкент-Томской дороге после его возвращения. Он весь за эту дорогу и собирался делать Государю доклад. Я передал ему наши записки. Слыхал, что и военный министр за эту дорогу» [62]. В конечном итоге концессия на строительство дороги Петербург —Вятка была получена, но Савву Ивановича это уже не спасло.

Крах Мамонтова вызвал сильный общественный резонанс. В течение многих месяцев тема «мамонтовской Панамы» не сходила со страниц газет. Дотошные, но часто малосведущие в экономических вопросах журналисты будоражили общественность сообщениями о колоссальных суммах хищений и трат. Постепенно, по мере выяснения истинного положения дел, тон печати стал меняться, и о Мамонтове уже стали говорить как о жертве. Влиятельная петербургская газета «Биржевые ведомости» 14 февраля 1902 г. писала: «Итак, делу Мамонтова наступил конец — факт, которому ввиду существенного влияния, оказанного этим делом на нашу торгово-промышленную жизнь, нельзя не порадоваться. Вместе с тем, однако, не наводит ли известие из Москвы на грустные мысли, не бросается ли в глаза странное несоответствие спокойного, основанного на взаимных уступках финала «мамонтовской эпопеи» с той шумихой, которая была поднята при ее возникновении?».

---

[61] ЦГИА СССР, ф. 626, оп. 1, д. 764, лл. 1—6.

[62] ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 19, д. 99, л. 206.

Как могло случиться, что известный и опытный предприниматель потерпел крушение? Был ли он виноват или пал жертвой рокового стечения обстоятельств? Суждения высказывались самые различные. Некоторые считали, что мамонтовское дело — результат интриг в высших эшелонах власти, где шла борьба за влияние между министром юстиции Н. В. Муравьевым и поддерживавшим предпринимателя министром финансов С. Ю. Витте [63]. Другие утверждали, что чиновники и дельцы не могли простить Мамонтову популярности, подвижничества на ниве культуры; что «он был разорен и опозорен главным образом за свое отступничество от традиций московского купечества» и, если бы не его увлечение искусством, «его, конечно, поддержали бы и не допустили бы до скандального погрома» [64]. Похожей была и точка зрения А. М. Горького, который писал А. П. Чехову осенью 1900 г.: «Видел я Мамонтова — оригинальная фигура! Мне совсем не кажется, что он жулик по существу своему, а просто он слишком любит красивое и в любви своей — увлекся». В. Я. Брюсов записал в дневнике 28 сентября 1899 г.: «Мамонтова все жалеют, говорят, что его недочеты — это взятки, которые он дал в высоких сферах» [65]. Встречались и иные мнения.

«Дело Мамонтова» до сих пор обстоятельно не изучено, хотя речь идет о драматической истории, которой не только завершилось предпринимательство Мамонтова, но и прекратилась его широкая филантропическая деятельность [66].

Слухи о неблагополучии в делах С. И. Мамонтова стали циркулировать в июне 1899 г., после того, как ему не удалось вовремя погасить долги Международному банку и некоторым другим кредиторам. Министерство финансов назначило ревизию, вскрывшую нарушения в учете и расходовании средств Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Выяснилось, что из кассы Общества в 1890—1898 гг. деньги переводились на счета Товарищества Невского завода и Восточно-Сибирского общества — предприятий, которые юридически не были друг с другом связаны. Такие финансовые операции были запрещены законом. Это было одним из главных пунктов обвинения, другим — перерасход по смете строительства линии Вологда — Архангельск. Требовали удовлетворения и кредиторы. В конце июля 1899 г. правление Московско-Ярославско-Архангельской дороги во главе с С. И. Мамонтовым ушло в отставку, были избраны новые люди, которые обратились с исками к бывшим руководителям Общества. Делами стали заправлять люди Ротштейна и Государственный банк.

Савва Иванович был чрезвычайно угнетен сложившейся ситуацией, но в течение многих месяцев еще надеялся, что ему окажут поддержку и до суда дело не дойдет. Циничную позицию занял Витте, сыгравший в этой истории неблаговидную роль. Много лет деятельно поддерживая начинания предпринимателя, будучи в курсе всех его дел, добиваясь для него различных привилегий, в критический момент Витте способствовал крушению мамонтовского дела. Занимавший в 1899 г. должность прокурора Московского окружного суда А. А. Лопухин заметил позднее: «То самое министерство финансов, которое в лице его главы,

---

[63] Такая оценка дана в статье безымяного автора с правкой Саввы Ивановича «За кулисами краха Мамонтова» (ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 9, лл. 8—13). Эту точку зрения разделяют и некоторые исследователи (см. Копшицер М. И. Ук. соч., с. 217).

[64] Далматов В. П. Залог.— Театр и искусство, 1905, № 27, с. 434.

[65] М. Горький и А. Чехов. М. 1951, с. 81; Брюсов В. Дневники. 1891—1910. М. 1927, с. 76.

[66] В фонде Московского окружного суда сохранилось 13 томов следственного дела, позволяющего проследить все стадии разбирательства и характер предъявленных С. И. Мамонтову обвинений (ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, дд. 250—259, 265; оп. 19, дд. 99, 100).

С. Ю. Витте, только что выступило в качестве инициатора в вопросе о предоставлении названному обществу выгодной концессии (Петербург — Вятка.— *А. Б.*), выступило в лице того же С. Ю. Витте с требованием об отобрании у него этой самой концессии и о принятии мер, которые были сознательно направлены к финансовой гибели и железнодорожного общества, и крупных его акционеров» [67].

Очевидно, причины подобного поведения главы финансового ведомства объяснялись, с одной стороны, закулисной борьбой в правящих сферах, с другой — желанием казны при посредничестве Международного банка прибрать к рукам важную транспортную магистраль. Историограф московского купечества и предприниматель П. А. Бурышкин считал, что «мамонтовская Панама» была «одним из эпизодов борьбы казенного и частного железнодорожного хозяйства». Еще более откровенно высказался Лопухин: крах Мамонтова прибавил «лишнее темное пятно» к репутации Витте [68].

Между тем положение Саввы Ивановича не было безнадежным. Согласно балансу личной собственности, составленному им самим, общая стоимость движимых и недвижимых имуществ (в числе последних были два дома в Москве, имение во Владимирской губернии, земельный участок на Черноморском побережье) составляла 2660 тыс. руб., а претензии кредиторов — 2230 тыс. (из них на долю Международного банка приходилось 1400 тыс. рублей) [69]. Но иски были предъявлены в суд, и 11 сентября 1899 г. С. И. Мамонтов был арестован в своем доме на Садовой и помещен в Таганскую тюрьму. Он был доставлен туда пешком под конвоем. Одновременно на все его имущество был наложен арест.

Рухнула деловая репутация, которую Мамонтовы завоевывали полвека. Но еще более страшным было то, что деятельный, жизнелюбивый и далеко не молодой человек на несколько месяцев оказался в одиночном тюремном заключении. Следователь по особо важным делам, ведший дело Мамонтова, определил залог (763 тыс. руб.), внесение которого могло бы изменить меру пресечения. В первые дни заключения Савва Иванович не терял надежды и 15 сентября обратился к следователю с просьбой — заменить пребывание в тюрьме домашним арестом: «Я надеюсь, что близкие мне люди в течение нескольких дней найдут эту сумму... Но пока слово суда не произнесено, а условия пребывания в тюрьме почти верный шаг к могиле, не будет [ли] бесцельно мое одиночное заключение [?]». Неделю спустя следователь удостоил его ответом: откровенно игнорируя просьбу человека, ответственность которого еще предстояло установить, он цинично заявлял, что если подследственный желает лечиться, то «может быть переведен в тюремную больницу» [70].

Надежды на скорое освобождение не оправдались. Богатые родственники (Сапожниковы) и близкий знакомый С. Т. Морозов готовы были внести требуемый первоначальный залог, но размер его совершенно неожиданно был увеличен до 5 млн. рублей [71]. Собрать такую астрономическую сумму, тем более в короткий срок, было невозможно. Газетная шумиха, поток сенсационных бездоказательных «разоблачений» привели к тому, что некоторые знакомые отвернулись от арестованного. Но были люди, не изменившие своего отношения к Савве Ивановичу. Вот что писал ему в тюрьму Станиславский: «Есть множество людей, которые думают о Вас ежедневно, любуются Вашей духовной бодростью... Верьте в самые лучшие и искренние чувства к Вам» [72]. 13 художников — членов «мамонтовского кружка» обратились к Мамонтову со словами утешения, надежды: «Все мы в эти тяжелые дни твоей невзгоды хотим хоть чем-нибудь выразить тебе наше участие... Молим Бога, чтобы он помог тебе перенести дни скорби и испытаний и возвратиться скорей к новой жизни, к новой деятельности добра и блага». Примечательно, что рабочие и служащие Северной дороги собирали деньги для «выкупа» предпринимателя [73].

Друзья старались помочь. В. А. Серов так описывает разговор с царем в феврале 1900 г., во время работы над его портретом: «Я решил все-таки сказать государю, что мой долг заявить ему, как все мы, художники — Васнецов, Репин, Поленов и т. д.,— сожалеем об участи С[аввы] Ив[ановича] Мамонтова, т. к. он был другом художников и поддерживал [их], как, например, Васнецова, в то время когда над ним хохотали, и т. д. На это государь быстро ответил и с удовольствием, что распоряжение им сделано уже. Итак, Савва Иванович, значит, освобожден до суда от тюрьмы» [74]. Однако в следственном деле нет никаких следов вмешательства царя в судьбу Мамонтова. Более пяти месяцев провел он в одиночной камере, и только после заключения врачебной комиссии, что Мамонтов «страдает болезнями легких и сердца», следователь вынужден был 17 февраля 1900 г. согласиться на замену тюремной камеры домашним арестом [75]. Поселился Мамонтов под надзором полиции в своем небольшом доме в Петропавловском переулке на Новой Басманной.

В доме на Садовой — «приюте муз и граций» — властями был учинен погром. Несколько раз сюда являлись полицейские и судебные чины, описавшие все имущество и изъявшие переписку и деловые бумаги. Некоторые произведения искусства из коллекции Саввы Ивановича были перечислены выше. Что же еще находилось в этом примечательном здании? Помимо работ Репина, Васнецовых, Врубеля, Антокольского, Коровина, Серова и других, здесь имелось большое количество скульптурных произведений самого Мамонтова, иконы в окладах, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, дорогие безделушки, коллекция оружия, собрание русских и иностранных монет и т. д.

Судебными чиновниками была описана и библиотека, свидетельствующая, что у хозяина особняка были разнообразные интересы. Сочинения Гёте, Шекспира, Шиллера, Фета, Грибоедова, Сухово-Кобылина и других соседствовали с многочисленными альбомами художественных репродукций, журналами «Мир искусства», трудами историка С. М. Соловьева, описаниями Русского Севера, Монголии, Китая, справочными и специальными изданиями, среди которых «Назначение, устройство и очерк деятельности Государственного банка», «Свод законов Российской империи» и т. д.

Однако в доме на Садовой оказались теперь не любители изящного и не потенциальные биографы хозяина, а люди, для которых он был лишь подследственным, а все предметы — «имуществом», которое надо описать и оценить. Каков же был итог? Наиболее высоко были оценены картины Васнецова «Ковер-самолет», «Витязь на распутье» и скульптура Антокольского «Христос перед Пилатом» — по 10 тыс. рублей. В то же время стоимость картины Коровина «Испанки» была определена в 25 руб., его же «Корабли» — в 50; портреты итальянских певцов Мазини и Таманьо работы Серова — в 300 и 200; один,

67 Лопухин А. А. Отрывки из воспоминаний. М.— Пг. 1923, с. 62.

68 Бурышкин П. А. Москва купеческая. Нью-Йорк. 1954, с. 172; Лопухин А. А. Ук. соч., с. 65.

69 ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 265, лл. 80об.—81.

70 ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 42, л. 1; д. 204, л. 1об.

71 ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 257, л. 50об.; Валентин Серов в переписке, интервью и документах. Т. I. Л. 1985, с. 280.

72 ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 1, д. 236, лл. 5—6.

73 Художественное наследство. Т. 2. М.— Л. 1948, с. 56; ЦГИА г. Москвы, ф. 149, оп. 4, д. 250, л.122.

74 Валентин Серов в переписке, интервью и документах. Т. 1, с. 279.

75 ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 257, лл. 50—50об.

как сказано в описании, «этюд Врубеля (без рамы)» — в 25; картина Перова «Мальчик» — в 25 руб., и т. д.[76].

Дом на Садовой с книгами, картинами, скульптурами, мебелью и другим имуществом простоял опечатанным более двух с половиной лет. Весной 1902 г. начались распродажи. Собрание С. И. Мамонтова разошлось по музеям, досталось частным коллекционерам, а некоторые вещи — случайным людям.

Особый интерес судебные чиновники проявили к деловым документам и переписке Мамонтова. Они были изъяты и скрупулезно изучены. В них искали документального подтверждения «махинаций», но убедительных данных об этом не нашли. Удалось обнаружить несколько писем директора Департамента железнодорожных дел В. В. Максимова, в одном из которых он выражал Савве Ивановичу благодарность за присланную семгу. Эта деталь стала темой особого разбирательства. Очевидно, главу юридического ведомства Муравьева действительно интересовали сведения, которые можно было использовать против министра финансов.

Документально доказать корыстный умысел в действиях самого Мамонтова следствию не удалось. На первом допросе, 18 сентября 1899 г., он сразу же признал, что, являясь председателем правления Московско-Ярославско-Архангельской дороги, в течение нескольких лет «неправильно расходовал денежные суммы указанной дороги» на нужды Невского завода и содействовал «переводу долгов названного завода на двух директоров: на меня и Н. И. Мамонтова», которым был открыт «многомиллионный кредит, обеспеченный паями «Товарищества Невского завода, не имеющими достаточной стоимости» [77]. Предумышленного обмана и хищений здесь не было. Ведь и железная дорога до конца 1898 г. (до продажи большого числа акций Международному банку), и Невский завод находились почти целиком в собственности мамонтовской семьи. Предприятия были лишь юридически независимыми, а фактически существовала известная общность средств. Лишь тогда, когда в управление Северной дорогой «внедрились» новые люди, дело стало приобретать криминальный оттенок. В этом суть всей «мамонтовской эпопеи».

Следствие закончилось в мае 1900 г., и дело было передано в суд. Савва Иванович, находясь под домашним арестом, пытался как-то привести в порядок дела, с разрешения властей ездил в Петербург для переговоров с кредиторами. Дело же шло по накатанной колее, и 23 июня в Московском окружном суде началось судебное разбирательство. На скамье подсудимых оказался не только С. И. Мамонтов, но и его сыновья Сергей и Всеволод, брат Николай, а также два других члена правления: директор К. Д. Арцыбушев и начальник коммерческого отдела М. Ф. Кривошеин. Обвинителем был прокурор Московской судебной палаты П. Г. Курлов, а защитником С. И. Мамонтова — известный «златоуст русской адвокатуры» Ф. Н. Плевако. На суде было сказано много лестных слов в адрес Саввы Ивановича. Причем никто (а по делу прошли десятки свидетелей) не сказал о нем ничего плохого, а Н. Г. Гарин-Михайловский даже сравнил подсудимого «с Фаустом во второй половине гётевской трагедии, где он создает жизнь на необитаемом острове» [78].

Содержание выступлений защиты и многих свидетелей сводилось к тому, что выявленные нарушения не были результатом злого умысла. Обращаясь к заседателям с последним словом, Мамонтов сказал: «Вы, господа присяжные заседатели, знаете теперь всю правду, так все

---

[76] Там же, д. 265, лл. 83—105.
[77] Там же, д. 251, л. 101об.
[78] Процесс Саввы Мамонтова и др. М. 1901, с. 79.

здесь было открыто. Вы знаете наши ошибки и наши несчастья, Вы знаете все, что мы делали и дурного и хорошего — подведите итоги по чистой Вашей совести, в которую я крепко верю» [79]. Процесс длился несколько дней, и 30 июня присяжные вынесли свой вердикт: не виновен [80]. После вынесения приговора, писал позднее Станиславский, «зал дрогнул от рукоплесканий. Не могли остановить оваций и толпы, которая бросилась со слезами обнимать своего любимца» [81].

Хотя коллегия присяжных не нашла в действиях Саввы Ивановича состава преступления и оправдала его, дело не было закончено. Требовали удовлетворения иски, Московский окружной суд 7 июля 1900 г. признал его несостоятельным должником, потребовал от него подписку «о несокрытии своего имущества и о невыезде из Москвы». Было решено также опубликовать об этом объявление в газетах, «прибить к дверям суда и вывесить на бирже» [82]. Имущество мецената пошло с молотка. Для реализации собственности потребовалось несколько лет. Все претензии были удовлетворены. Пострадавшим оказался лишь С. И. Мамонтов. Как заметил Станиславский, «материального довольства он не вернул, но любовь и уважение к себе удесятерил» [83].

В конце 1900 г. Савва Иванович покинул свой дом на Басманной и поселился «в доме Иванова 2-го участка Сущевской части за Бутырской заставой, по Бутырскому проезду» [84]. Сюда еще в 1896 г. была переведена из Абрамцева его гончарная мастерская, организованная в 1889 году. В ней, совместно с Врубелем и мастером-керамистом П. К. Ваулиным, изготовлялась художественная керамика, покрытая глазурью — майолика. На Всемирной выставке 1900 г. в Париже изделия мамонтовской мастерской были удостоены золотой медали [85]. Владелицей мастерских художественных изделий «Абрамцево» в Москве была дочь Саввы Ивановича — Александра.

В небольшом деревянном домике у Бутырской заставы прожил Мамонтов последние годы. Сравнительно редко появлялся он на людях, жил замкнуто, общался с узким кругом родных и друзей. Потеряв многое, он сохранил до конца дней любовь к искусству, к людям этого мира. Старые и новые друзья его не забывали. Приходили В. А. Серов, В. М. Васнецов, К. А. Коровин, В. Д. Поленов, В. И. Суриков, И. Э. Грабарь, С. П. Дягилев, Ф. И. Шаляпин и др. Савва Иванович пережил многих своих друзей и близких. Скончался он 24 марта (6 апреля) 1918 г. и был похоронен в Абрамцеве.

---

[79] ЦГАЛИ, ф. 799, оп. 3, д. 15, л. 22.
[80] Биржевые ведомости, 1.VII.1900.
[81] Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 6. М. 1959, с. 102.
[82] ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 265, лл. 32—34об.
[83] Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 6, с. 102.
[84] ЦГИА г. Москвы, ф. 142, оп. 4, д. 265, л. 151.
[85] Грабарь И. Э. Письма. 1891—1917. М. 1974, с. 354.

ВОСПОМИНАНИЯ

МЕМУАРЫ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА ХРУЩЕВА

1942 год: от зимы к лету

Хочу вспомнить об одном никому практически не известном периоде войны. Мне рассказывали Маленков и Берия об одном сугубо секретном шаге, который был предпринят Сталиным. Он относится к осени 1941 г., когда немцами уже была занята территория Украины и Белоруссии. Сталин искал контакта с Гитлером, чтобы на основе уступки немцам Украины, Белоруссии и районов РСФСР, оккупированных гитлеровцами, договориться о прекращении военных действий. У Берии имелась связь с одним банкиром в Болгарии, который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш человек в Болгарию. Ему было поручено найти контакты с немцами, начать переговоры и заявить им, что уступки со стороны Советского Союза — такие-то. Но ответа от Гитлера не было получено. Видимо, Гитлер настолько был тогда убежден в своей победе, что считал: дни существования Советского Союза сочтены и ему незачем вступать в контакт и переговоры, когда его войска и так уже вон где. Он планировал дальнейшее развитие наступательных действий, захват Москвы, сокрушение всей России и уничтожение ее государства.

Конечно, можно объяснять так, что Сталин просто хотел выиграть время за счет каких-то уступок. Но не знаю, какое при прекращении военных действий потребовалось бы нам время и какие усилия, чтобы потом наверстать упущенное. Потерять Украину, Белоруссию и западные районы Российской Федерации по договоренности — очень существенная утрата с точки зрения возможности собраться потом с силами, порвать договоренность и вернуть утерянное. Впоследствии я никогда более не слышал об этом эпизоде ни от кого. А тогда это было сказано мне на ухо шепотом Берией и Маленковым. Я сейчас даже не помню, было ли это сказано еще при жизни Сталина или после его смерти. Однако точно помню, что такой разговор состоялся. Конечно, данный разговор проходил, только когда мы были втроем. Не знаю, было ли известно об этом Молотову как наркому иностранных дел. Может быть, даже и он не знал, потому что контакт устанавливался не через Наркомат иностранных дел, а через нашу разведку, то есть через Берию.

Постепенно зима вступала в свои права. Когда мы наступали на Ростов, земля была уже замерзшей, скованной. Было холодно, хотя по южным условиям еще пока не наступила стойкая зима. Температура там колеблется довольно часто, случаются большие оттепели и зимой. Но в 1941 г. зима была очень ранняя, морозная и снежная. Мы получили распоряжение перенести штаб фронта в Воронеж. Расположились в Воронеже. Потом получили приказ, что к нашему фронту присоединили и территорию севернее, так наш фронт расширился: мы получили район Ельца. А потом, после ликвидации Брянского фронта, получили новый приказ: что наш фронт доходит правым флангом чуть ли не до Каширы.

После успешной операции по освобождению Ростова у нас зародилась мысль провести еще одну операцию: освободить Ливны (это уже севернее). Противник занял Ливны, но силы там у него были небольшие и не существовало сплошной линии фронта, немецкие группировки были расположены очагами. Если сосредоточить свои силы в кулак, то можно устроить немцам неприятность, выбить их из Ливен и расстроить оборону, приготовленную ими для зимовки. Начали мы готовиться. Тоже стянули, что могли, как говорится, с бору по сосенке, все, что было возможно, потому что каких-то подкреплений получить ниоткуда не сумели. За счет внутренних ресурсов сколотили оперативную группу войск и подготовились проводить операцию. Командовать группой поручили генералу Федору Яковлевичу Костенко. Он потом погиб при Харьковской операции. Очень хороший был человек и хороший генерал. Этот генерал получился из солдата первой мировой войны, родом он из крестьян, украинец по национальности, но происходил из Мартыновки на притоке Дона. Когда мы наступали из Сталинграда на Ростов и освобождали эту станицу, то его уже не было в живых.

Начали проводить Елецкую операцию. Она была успешной, мы сразу захватили много пленных. Когда наши войска подступили к Ливнам, немцы оставались восточнее них. Боясь окружения, они дали команду на отвод войск. Отходившие навалились на нас с востока. Перевес был на стороне немцев, и Костенко стал просить помощи. А мы говорили ему еще до начала операции, что резервов у нас нет никаких, и поэтому рассчитывали на внезапность удара и на панику у противника. Подбодрили мы Костенко и сказали, чтобы он отбивался теми силами, которые у него имеются. В целом операция прошла успешно и противник был разбит. Но так, как мы хотели, все же не вышло: мы хотели полностью уничтожить противника, а он частью сил прорвался на запад. Потом часто шутили у Сталина, что Костенко выступил в этой операции, как персонаж известного анекдота. Я слышал такой анекдот — охотник говорит: «Я сейчас пойду и поймаю медведя», пошел; прошло какое-то время, а охотника все нет; потом он кричит, что медведя поймал. Ему говорят, чтобы привел его. А охотник отвечает, что медведь не идет. «Так ты сам иди». «Да он не пускает». Костенко тоже поймал медведя, но полностью разбить его не смог.

И все же это была уже вторая победа на нашем Юго-Западном фронте. Конечно, мелкая победа. Но на фоне прежнего отступления Красной Армии и такая маленькая победа была для нас дорога, и мы радовались ей. Я думаю, меня правильно поймут. Может быть, этот эпизод в истории Великой Отечественной войны и не будет особо отмечен. Однако я о нем рассказываю, потому что, знаете ли, плоды первых побед — это самое вкусное блюдо. Первый пирожок — он самый вкусный и значительно вкуснее последнего, когда человек уже привыкнет к его вкусу, а может быть, даже насытится. Вот почему мы глубоко переживали происходившее и поздравляли Костенко с победой.

Такой была в конце 1941 г. вторая наша победа после Ростова. Конечно, освобождение Ростова — более значительное событие. Кто не знает в Советском Союзе или даже за границей этот знаменитый город на Дону! Елец не Ростов. Но обстановка, которая сложилась той зимой, победа восточнее Ливен и освобождение Ельца стали для нас большим праздником. В той операции много немцев было убито, а часть их взята в плен. Я приехал тогда к Костенко. Меня интересовали немецкие пленные: что за люди? Их состав по социальному положению? Их моральная устойчивость? Хотелось также посмотреть на пленных, которые испытали удары наших войск и наш русский мороз.

Продолжение. См. Вопросы истории, 1990, №№ 2—10.

Эти гитлеровские солдаты производили жалкое впечатление, в том числе их одежда и обувь. Все у них было холодное, шинели — довольно легкие, головные уборы тоже. Поэтому они были укутаны, кто во что. Я встретил среди пленных одного внешне безобразного человека. Его фотография потом была опубликована в «Огоньке». Его физиономия выделялась своей безобразностью. Опубликовали мы фото потому, что немцы размножали и распространяли фотографии некоторых красноармейцев. Пугали европейцев. Мол, вот эти хотят владеть миром, хотят господствовать. И часто показывали наших людей с неприглядной внешностью. Тут наши журналисты, считаю, тоже хорошо использовали фотографию этого немца.

Стал я спрашивать, кто из пленных откуда и чем занимался до войны? Один немец, лет так 35, может быть, чуть больше, огромного роста, а по физиономии простой человек, говорит: «Я литейщик». Я ему: «Ну, как же вам не стыдно? Вы литейщик, рабочий и пошли против Советского Союза, против Страны Советов, против рабочего класса. Где же у вас пролетарская солидарность?». Он довольно нервно, но откровенно и не сдерживаясь, с раздражением отвечает: «Черт его знает! Не разберешь, кто что высказывает и за кого воевать... Вот вы заявляете, что тут — Страна Советов, страна рабочего класса и трудового крестьянства. И у нас тоже говорят вроде этого. А мы воюем и кровь проливаем». Сказал это с таким надрывом...

Решили мы с командующим войсками фронта маршалом Тимошенко выехать под Ливны и на месте познакомиться с руководством этого города и с военными, их освободившими. Мы уже чувствовали по донесениям разведки, что противник в свою очередь замышляет какую-то операцию против Ливен. Мы тоже готовили ударную группировку в районе Ливен, но наша подготовка запаздывала. Мы считали, что противник может нас упредить и на день-два раньше ворваться в Ливны. Поэтому мы поехали туда поговорить с партийными и советскими руководителями и предупредить их, чтобы они при отступлении ничего не разрушали, буквально ничего: ни мостов, ни дорог, ни коммуникационных сооружений, ибо мы полагали, что вернемся в Ливны не больше чем через день-два, у нас была полная уверенность в своих силах.

Приехали мы туда, провели такую беседу и уехали. И действительно, противник через день захватил Ливны. Мы, как и обещали руководителям города, снова ударили, и немцы опять выскочили из Ливен, как пробки. Мы с Тимошенко опять туда приехали, вторично встретились с местными работниками. Действительно, они не произвели никаких разрушений. Да и немцы больших разрушений при своем отходе не учинили. Не знаю, почему. Некогда им было, видимо. А может быть, тоже были уверены, что вскоре вернутся в Ливны? Все это совпало по времени с подготовкой и проведением нашего контрнаступления на Московском направлении. Мы не были тогда еще информированы, что такое контрнаступление состоится. Оно держалось в тайне.

Когда мы подключили в полосу нашего фронта Елец и линию обороны севернее Ельца до Тулы, то мы уже зимою получили в состав Юго-Западного направления заново сформированную 10-ю армию. Командовал этой армией генерал Попов, тогда еще молодой и энергичный, способный человек. Я с ним и позже встречался и относился к нему с большим уважением. Это интересный, культурный человек. Единственный его недостаток, о котором я сожалел, но ничем не смог ему помочь,— большая склонность к выпивке. Больше, чем можно было бы себе позволить на войне. К сожалению, это было несчастьем не только его; оно поражало и других. А в общем-то я с уважением относился к нему тогда, да и сейчас вспоминаю с уважением этого генерала и его хорошую работу.

С приходом 10-й армии (сначала ею командовал Голиков) мы получили известие, что там готовится наступление, и нам сообщили в этой связи о направлении действий нашего правого фланга, где как раз и стояла 10-я армия. Там же находился кавалерийский корпус Белова и другие соединения. 10-я армия должна была наступать на Мценск. Удар 10-й армии и корпуса Белова совпал по времени с наступлением немцев на Тулу. Но Тулу противнику взять не удалось. В некоторых мемуарах их авторы объясняют это тем, что туляки сами сорганизовались и отстояли свой город. Это не совсем верно. Да, туляки героически защищали свой город. Но главным образом сказалось то, что, во-первых, то было последнее усилие уже ослабевшего под Москвой противника; во-вторых, тулякам помог удар нашего фронта. Вскоре противнику стало уже не до Тулы, лишь бы унести свои животы. Враг покатился на запад. Мы преследовали немцев до Мценска, однако Мценск захватить не сумели.

Затем у нас 10-ю армию забрали вместе с упомянутым участком Юго-Западного направления, и мы уже не имели возможности знать в деталях, как развивались бои на этом направлении при отступлении немцев от Москвы. Это было знаменитое наступление Красной Армии и крупнейшее поражение немецких войск. Они были отброшены на большую глубину, потеряли много техники и живой силы. Но подробностей битвы под Москвой мы уже не знали. 10-я армия вошла в состав войск соседнего Западного фронта.

На этом операции 1941 г. были на нашем направлении закончены. Противник перешел к обороне, а мы не имели сил для того, чтобы продолжать наступление, ограничились пока достигнутым и строили оборону, надеясь на то, что нам будут подброшены резервы с тем, чтобы мы могли опять перейти в наступление. Вскоре после завершенного удачно контрнаступления под Москвой, которому Юго-Западный фронт помогал своим правым флангом, я был вызван в Москву для беседы со Сталиным. Здесь я увидел уже «другого» Сталина. Не того, которого встречал в начале войны, когда прилетал в Москву раза два или три. Сейчас он выпрямился и ходил, как солдат, хотя и в это время, по-моему, еще все распоряжения и приказы издавались Ставкой без упоминания фамилии Сталина, а просто от имени Верховного Главкома: распоряжения Главкома, указания Главкома и т. п., Сталин как бы отсутствовал. Это было, конечно, не случайно, потому что Сталин ничего случайно не делал. Он все делал продуманно, соизмерял все свои шаги, и хорошие, и плохие.

Я решил тогда съездить за город и узнать, до какой линии дошли немцы у Москвы. Мне порекомендовали проехать в направлении Солнечногорска. Солнечногорск был ранее взят противником, а лежит он километрах в 50 от Москвы. Поехал туда. Недалеко от Москвы увидел следы боев. Когда же приехал в Солнечногорск, там красноармейцы отрывали могилы для убитых немецких солдат. Это было делать не трудно, потому что трупы зарывались в снег, земля не была уплотнена. Смотреть было, конечно, неприятно, но и удовольствие тоже доставляло. У видевшего страдания нашего народа трупы врагов вызывали чувство какого-то удовлетворения. Вот, мол, вы хотели нас похоронить, а сами отыскали себе могилу под Москвой. Если уж человек втянут в войну, то он выполняет свой долг воина, состоящий в наказании противника и уничтожении его, особенно когда враг вторгается на твою территорию, идет разрушить твой дом, убить тебя и твоих близких. О сугубо человеческих качествах вроде жалости трудно рассуждать и трудно рассчитывать, чтобы они проявились в таких условиях. Думаю, что подобное настроение человека естественно. Я видел на лицах красноармейцев удовлетворение: вот первый результат наших побед,

результат усилий народа и Красной Армии — разгром и уничтожение больших сил противника.

Вернулся я к себе на фронт. В это время штаб фронта располагался в Воронеже. Противник иной раз наведывался туда разведывательными самолетами, летая высоко над городом и проводя рекогносцировку. Особенных бомбежек не помню. Правда, другой раз он бросал бомбы, но это не производило впечатления. Видимо, противник не хотел бесцельно тратить боеприпасы. Он перешел зимой к обороне и производил пока разведку, а активных действий с воздуха не предпринимал. Мы в ту пору тоже строили оборону, укрепляли, пополняли и вооружали войска. Впрочем, мы задумали провести некоторые мелкие операции, например, в районе города Тим. Тогда Тим был в руках противника, и мы пытались его вернуть. Было предпринято несколько таких попыток, но они не принесли результатов, и мы были вынуждены прекратить эти бои.

Вскоре у нас зародилась идея провести наступательную операцию в районе Барвенково. Наш штаб и разведка работали над тем, чтобы узнать силы противника, их расположение и взвесить наши возможности, определить, какие нужны силы для операции. Одним словом, начали разработку операции. Когда она была разработана, понадобилось доложить Москве — Сталину и Генеральному штабу, чтобы получить «благословение», а главное — нужное количество войск и средств. Нас с командующим вызвали в Москву, Сталин нас выслушал. Сделали доклад Тимошенко и начальник штаба фронта Бодин. Мы получили «благословение», но, к сожалению, обеспечение, которое мы просили для наступления, получили далеко не полностью. Операция была утверждена к проведению, однако неполным составом войск по сравнению с тем, который требовался по расчетам нашего штаба. Наметили операцию на январь 1942 года. Для ее проведения мы перенесли оперативный штаб поближе к линии фронта, чтобы иметь лучшую связь с войсками. Расположились в большом селе Сватово-Лучко. Я знал это село, потому что в 1919 г. Красная Армия отбивала это село у белых, и я тогда побывал в нем. Богатое село, хорошее, крепкое.

Для проведения операции нам дали, как помнится, три кавалерийских корпуса. Одним корпусом командовал Бычковский, человек уже в летах и с опытом. Он воевал в кавалерии еще в гражданскую войну. Другим корпусом командовал Гречко, позже он стал министром обороны СССР. Это был самый молодой из корпусных командиров в то время. Третий командир корпуса тоже был человек в летах. Я его фамилию сейчас забыл, хотя раньше хорошо его знал. Перед операцией мы выслушали их. Говорили о задачах, поставленных Тимошенко перед каждым кавкорпусом. Закончилось это, как полагалось тогда, обедом. Тогда на меня произвел лучшее впечатление генерал Гречко. Он только что принял корпус, а до этого командовал отдельной 34-й кавалерийской дивизией, и я знал его в этом качестве, поэтому охотно согласился на назначение его командиром корпуса. Других командиров я еще не узнал. Но неблагоприятное впечатление произвел на меня Бычковский. Он, видимо, воин был действительно боевой, но мне показался недостаточно современным, довольно-таки примитивным и отсталым человеком. Это проявлялось и в боях, и в повседневном поведении, и во взаимоотношениях с партийными и советскими органами. Там, где располагался его корпус, на него постоянно обижались. Он даже позволил себе, например, поместить лошадей в школе. Наверное, своих, командирских лошадей, потому что не мог же он весь корпус разместить в школе. Был подан плохой пример. На него очень жаловались тогда местные организации, на территории которых он допустил такую глупость.

Началась операция. Был взломан передний край противника, двинулась вперед наша кавалерия. Я сейчас точно не помню, какой состав группировки был тогда создан. Имелись ли у нас танки? Видимо, были, но твердо я сейчас не помню. Главной пробивной и подвижной силой оказалась кавалерия. И мы, достаточно быстро продвинувшись вперед, заняли Лозовую, затем пошли дальше на северо-запад и юго-запад, на довольно большую глубину. К сожалению, свои фланги противник удержал. На левом фланге нашей наступавшей группировки немцы удержались в районе Славянска. Свой левый фланг, у Балаклеи, они тоже удержали. Таким образом, получилась вдававшаяся в позиции противника дуга с небольшим разводом концов при значительной ее глубине на запад. Мы тогда радовались, что получили такие возможности, и надеялись эту дугу, как говорится, разогнуть, чтобы расширить плацдарм. У нас появилась заманчивая идея к весне 1942 г. освободить Харьков. Но операция была приостановлена, потому что мы уже выдохлись и не могли дальше наступать. Мы захватили также большие трофеи, однако несерьезного значения. Много было медицинского инструмента. Потом мы захватили офицерские склады с деликатесами, винами, коньяком, всяческими консервами. Из вооружения и боевой техники, кажется, ничего особенно дельного не приобрели.

Тогда мы много шутили над кавалеристами Гречко, которые захватили эти склады и добрались до шампанского. Случилось ли так на самом деле или же кто-то выдумал, не берусь судить. Но тогда нам всем очень нравилась эта шутка. Потом я ее рассказал Сталину, и он любил повторять ее. Дело заключалось в следующем. Когда красноармейцы захватили винный склад и стали пробовать, они не знали, что это — шампанское. Да и вообще многие не знали, что такое шампанское. В том корпусе служило много украинцев. Они пьют и разговаривают между собой: «Да шо цэ такэ? Шосту бутылку пью, шыпыть, а не бэрэ». Этот анекдот — о настроении наших бойцов, о хорошем их духе.

Перешли мы к обороне, прекратив наступательную операцию. Штабные работники — Бодин, Баграмян и другие стали подсчитывать итоги и примерять наши возможности для дальнейшего наступления с тем, чтобы освободить Харьков. Был намечен такой план: главный удар нанести противнику весною на дуге, которую мы создали южнее Харькова, а вспомогательный удар меньшими силами — севернее Харькова, и таким образом, взяв Харьков в клещи, освободить его. Когда планировали, мы были уверены, что эта операция у нас получится, что мы решим задачу и откроем весенне-летние военные действия таким эффективным результатом, как освобождение крупнейшего промышленного и политического центра Украины. Мы понимали, что проведению такой операции грозит опасность, так как противник имеет, с одной стороны, довольно глубокие на нашем фронте вклинения, достаточно беспокоящие, потому что они могут быть использованы для ударов во фланг нашим наступающим войскам. С другой стороны, имелась вражеская группировка, которая находилась в селах у Славянска. Немцы очень упорно держались за эти пункты. Нами там предпринимались неоднократные усилия освободить центр узла обороны — село Маяки или же прощупать противника, но все попытки оканчивались безрезультатно: мы теряли войска, но не могли продвинуться и ликвидировать немецкие укрепления. Там какая-то речонка впадала в Северский Донец; на южном ее берегу имелся выступ, где сосредоточились силы противника. Мы опасались этого их участка.

Помню операцию, которую проводил Малиновский по захвату села Маяки. Там стояла 9-я армия, как раз на стыке Южного и Юго-Западного фронтов. Командовал этой армией Харитонов. Он потом во время войны, как мне говорили, умер. Неплохой был генерал и неплохой человек. Когда подготовили наступление, я сказал Тимошенко, что поеду

к Малиновскому разобраться в обстановке и останусь на месте проведения операции. Поехал. Передвигаться тогда было очень трудно; лежали глубокие снега, дороги были плохо расчищены. Поэтому часть пути я преодолел на автомашине, а потом пересел на сани. Встретились мы с Малиновским в условленном месте и отправились вдвоем, тоже на санях, в село Богородичное, где стоял штаб 9-й армии Южного фронта, очень близко к переднему краю. Там же находилась артиллерия полковника Ратова — тяжелые орудия. Я с ним был знаком с первых дней войны, и мне было приятно встретиться с Ратовым. Он очень нравился мне своими хозяйственными наклонностями. Не потерял ни одной пушки, строго следил за снарядными гильзами. Это были медные гильзы, и их берегли. Даже снаряды получали в обмен на сданные гильзы.

Когда мы приехали к командующему армией, он доложил, что наступление должно начаться через несколько часов, сказал, что к наступлению он не готов, но есть приказ наступать. Тогда Малиновский тут же взялся за карандаш и циркуль, промерил расстояние подвоза боеприпасов (снарядов не хватало), рассчитал, что снаряды не прибудут к началу наступления, и сказал, что наступление надо отложить. Я согласился. Наступление отложили, пока не подвезут боеприпасы.

Операция началась на следующий день. И опять не имела успеха. Противник оказал упорное сопротивление, мы зря теряли людей и прекратили проведение операции на этом участке, хотя вместе с Тимошенко и Малиновским были прежде уверены, что эта операция удастся. Казалось, чего проще — взять населенный пункт? Но мы его не взяли. Видимо, плохо была изучена оборона противника и недостаточным оказалось усиление наступавших войск артиллерией. Вообще-то нет таких крепостей, которые нельзя было бы взять, если соответственно подготовиться и иметь средства для того, чтобы предварительно подавить противника. Видимо, наш расчет был плох. В результате мы потеряли людей, но не решили основной задачи, которая была поставлена.

После того предпринимался еще ряд наступлений на том же участке, и тоже без успеха. Явная неопытность наших командующих сказалась и в том, что хотя мы не смогли взять этот вражеский плацдарм, было все же решено вести наступление, пренебрегая возможностью флангового удара противника. Мы считали, что когда ударим на запад и окружим Харьков, данный участок просто потеряет свое значение и падет сам собою в результате продвижения наших войск на главном направлении. Как потом показала жизнь, это оказалось роковой недооценкой значения вражеского плацдарма.

Противник, удерживая фланги, имел свои планы по окружению группировки наших войск, которая была введена в дугу, образованную в ходе зимнего наступления. Получалось самое короткое расстояние между его флангами, откуда можно было начать окружение наших войск. Но тогда мы недооценили опасность и спокойно начали готовиться к весенне-летней операции. Основные силы на этом направлении у нас составляли 6-я армия под командованием Городнянского и 57-я армия, куда мы назначили новым командующим Подласа. Это был очень интересный человек и с интересной судьбой. Его жизнь сложилась трагично... Во время Хасанских событий он находился на Дальнем Востоке и действовал там против японцев. Ему не повезло: приехал туда Мехлис, и Мехлису он не понравился: тот посчитал его предателем и изменником. Его сняли с должности и посадили в тюрьму. Выпустили его, когда началась война. К нам он явился, когда мы еще были в Киеве. Он пока не был переаттестован и носил старую форму с ромбами на петлицах. Сначала, когда он представился и назвал свою фамилию, я спросил, кто он по национальности? Дело в том, что фамилией недостаточно была выражена его национальность. «Я украинец

из Брянской области»,— отвечает. Мы его использовали сначала для поручений. Это очень организованный человек: куда его ни посылали, он всегда толково разбирался в деле и произвел очень хорошее впечатление. В результате его назначили теперь командующим 57-й армией. Армия эта была укомплектована неплохо, потому что к моменту ее формирования мы получили для нее дополнительно дивизию и несколько маршевых рот и батальонов.

Кроме 6-й и 57-й армий мы создали там довольно сильную армейскую группу. Командовать назначили генерала уже в летах, старого вояку гражданской войны. Фамилию его я не помню сейчас. Он погиб. Остался в окружении и погиб. С ним был подросток, его сын. Он тоже погиб. Кроме того, мы получили тогда танковые бригады и противотанковые бригады. Все, что по тому времени могли нам дать, дали, хотя и далеко не все, что мы просили. Мы согласились проводить операцию и с этими средствами. Да и никогда ведь Верховное Главнокомандование не удовлетворяло фронты полностью силами и средствами для проведения той или иной операции. Всегда одна сторона просит как можно больше, а другая сторона дает меньше.

Начало своей операции мы планировали на апрель. К тому времени земля подсохла, и можно было использовать дороги. Мы много раз выезжали в войска вместе с Тимошенко, заслушивали на месте командующих 6-й и 57-й армиями. На данную операцию мы возлагали большие надежды, так как были подбодрены удачным наступлением в конце года на Ростовском направлении, операциями в районе Ливен, Ельца и, главное, победой под Москвой. Мы не сомневались, что и эта операция пройдет у нас удачно.

Когда был назначен день начала наступления, мы с Тимошенко обсуждали, где будем находиться сами. Я предложил расположиться у Городнянского, в штабе 6-й армии. Это был пункт, наиболее глубоко вклинившийся в немецкую оборону в результате зимнего наступления. Тимошенко предложил другое: «Нет, я считаю, что не следует туда идти. У нас будут две группировки: южная — главная, сильная, а другая — севернее Харькова. При охвате клещами Харькова оттуда затруднено будет иметь связь с северной группировкой». Поэтому он сказал: «Давай мы все-таки останемся в Сватово, на старом командном пункте. Отсюда нам будет проще связаться с той и с другой группировкой. А на участок 6-й армии пошлем влиятельного представителя командования, например, члена Военного совета Гурова». Был такой очень хороший военный товарищ. В Сталинграде он потом стал членом Военного совета у генерала Чуйкова. Заняв с Чуйковым Сталино, он умер. Ему там поставлен памятник.

Операция началась весьма удачно. Мы быстро взломали передний край противника, и наши войска двинулись вперед. Но нас озадачило, что мы против ожиданий слишком легко преодолели этот передний край. Мы вскоре убедились, что против нас почти нет вражеских сил. Следовательно, мы сами лезли в какую-то расставленную нам ловушку. Начали мы обсуждать, какая сложилась ситуация? Противник имел, видимо, какие-то свои планы, поэтому его войск и не оказалось перед нашим лобовым ударом. Дело в том, что противник тоже готовился к весенне-летней кампании. Мы предположили, что противник сейчас сосредоточил свою группировку на нашем левом фланге, на участке, который входил в состав Южного фронта в районе Славянска, и ждали, что отсюда он ударит нам во фланг. Это было очень опасное направление.

Стало ясно, что не случайно немцы, несмотря на большие потери, твердо защищались зимой и не уступили в этом районе ни одного населенного пункта. Видимо, уже тогда они имели свой план ликвидации ударом во фланг выступа, который мы образовали в ходе зимней кам-

пании. Главный контрудар нависал с юга. Мы решили приостановить наше наступление, потому что оно отвечало планам врага: чем глубже мы будем вклиниваться, продвигаясь на запад, тем больше растянем линию фронта и разжижим свои войска, ослабим и обнажим свой левый фланг и создадим условия для более легкого прорыва немцев, для окружения и уничтожения наших войск.

Итак, мы остановили наступление, отдали приказ перебросить на юг танковые и противотанковые бригады, артиллерию. Одним словом, стали перекантовывать свои войска на открытый врагу левый фланг. Мы считали, что это единственная возможность отразить его, единственно правильное решение при сложившихся обстоятельствах. Севернее же Харькова пока ничего нового не предпринимали и продолжали там операцию. Но она успеха не имела.

Да, мы раскрыли замысел противника, но к сожалению поздно. Пришлось принимать меры, чтобы застраховать себя от флангового удара,— приостановить наступление и перегруппировать противотанковые части, танки и артиллерию на левый фланг. Это было для нас необходимо, так что среди нас и споров не возникало на этот счет. Не помню, кому принадлежала инициатива в организации всей операции. Потом Сталин обвинял меня, говорил, что инициатива была проявлена мной. Не отрицаю. Возможно, это я проявил инициативу. Я Сталину отвечал: «А командующий? Мы же вместе с командующим принимали решение». «Ну, командующий вам поддался». «Командующий поддался? Вы же знаете Тимошенко. Тимошенко — очень трудный по характеру человек, и чтобы он вдруг согласился с другим, если придерживается иного мнения? У нас, как говорится, решение было принято тихо и гладко». Да, командующий был того же мнения, что и я. Штабные работники и начальник оперативного отдела штаба Баграмян тоже были такого же мнения. Баграмян и разрабатывал в деталях операцию. Она рассматривалась потом в Генеральном штабе и там тоже была одобрена. Так что это был плод размышлений не только руководства Юго-Западным направлением: решение было апробировано и специалистами Генерального штаба. Здесь сложились единая линия мероприятий, единое понимание дела и единая вера в успех.

И вот мы прекратили проведение этой операции и стали предпринимать шаги к построению обороны. То есть от наступления перешли к обороне. Отдали необходимые распоряжения, и я пошел к себе. Это было, наверное, часа в три утра. Стало светать. Пришел я к себе, но еще не разделся, как вдруг открывается дверь, заходит ко мне Баграмян, очень взволнованный, и говорит: «Я к вам, товарищ Хрущев». Он был так взволнован, что даже заплакал. «Вы знаете? Наш приказ о переходе к обороне отменен Москвой. Я уже дал указание об отмене нашего приказа». «А кто отменил?» Не знаю, кто, потому что с Москвой разговаривал по телефону маршал. После окончания разговора он отдал мне распоряжение отменить наш приказ, а сам пошел спать. Больше маршал ничего не сказал. Я совершенно убежден, что отмена нашего приказа и распоряжение о продолжении операции приведут в ближайшие дни к катастрофе, к гибели наших войск на Барвенковском выступе. Я очень прошу вас лично поговорить со Сталиным. Единственная возможность спастись, если вам удастся убедить товарища Сталина утвердить наш приказ и отменить указание об отмене нашего приказа и о продолжении операции. Если вам не удастся это сделать, наши войска погибнут».

В таком состоянии я Баграмяна еще никогда не видел. Он человек разумный, вдумчивый. Он нравился мне. Я, как говорится, просто был влюблен в этого молодого генерала за его трезвый ум, его партийность и знание своего дела. Он человек, я бы сказал, неподкупный в смысле

признания чужих авторитетов: если не согласен, то обязательно выскажет это. Я замечал это несколько раз, когда мы обсуждали ту или другую операцию. Если вышестоящие люди, занимавшие главное положение в штабе фронта, начинали доказывать то, с чем он не был согласен, то он очень упорно отстаивал свое мнение. Мне нравилось такое его качество. Из других военачальников, с кем я встречался в течение войны, подобное качество наиболее резко проявилось также в генерале Бодине. Я его тоже очень любил. Это был способный и трезвого ума генерал. Его характер отличали партийность, настойчивость, умение возражать даже вышестоящим лицам, если он считал, что они рассуждают неправильно, неверно определяют задание войскам, так что оно может нанести им ущерб. Я об этом говорил много раз Сталину и давал этим двум товарищам отличную характеристику.

Выслушал я Баграмяна. Меня его сообщение буквально огорошило. Я полностью был согласен с ним. Мы же, приняв решение, исходили как раз из тех соображений, которые мне сейчас повторял Баграмян. Но я знал Сталина и представлял себе, какие трудности ждут меня в разговоре с ним. Повернуть его понимание событий надо так, чтобы Сталин поверил нам. А он уже нам не поверил, раз отменил наш приказ. Не поверил, следовательно — теперь следует доказать, что он не прав, заставить его усомниться и отменить свой приказ, который он отдал в отмену нашего приказа. Я знал самолюбие Сталина, его, я бы сказал, зверский характер в таких вопросах. Тем более при разговорах по телефону.

Мне не раз приходилось вступать в спор со Сталиным по тому или другому вопросу в делах гражданских и иногда удавалось переубедить его. Хотя Сталин метал при этом огонь и воду, я настойчиво продолжал доказывать, что надо поступить так-то, а не эдак. Сталин иной раз не принимал сразу же моей точки зрения, но проходили часы, порою и дни, он возвращался к той же теме и соглашался. Мне нравилось в Сталине, что он в конце концов способен изменить свое решение, если убеждался в правоте собеседника, который настойчиво доказывал ему свою точку зрения, если его доказательства имели под собой почву. Тогда он соглашался. Со мной бывало и до войны, и после войны, когда по отдельным вопросам мне удавалось добиваться согласия Сталина. Но данный случай был просто бесперспективным, роковым, и я не питал никаких надежд на удачу. Кроме того, не мог и отказаться от самых настойчивых попыток не допустить катастрофы, ибо понимал, что выполнение приказа Сталина станет катастрофой для наших войск.

Не помню, сколько минут я обдумывал дело. Тут же со мною рядом все время находился Баграмян. Я решил позвонить сначала в Генеральный штаб. Была уже поздняя ночь, совсем рассвело. Звоню. Мне ответил Василевский. Я стал просить его: «Александр Михайлович, отменили наш приказ и предложили выполнять задачу, которая утверждена в этой операции». «Да, я,— говорит,— знаю. Товарищ Сталин отдал распоряжение. Поэтому я в курсе дела». «Александр Михайлович, вы знаете по штабным картам и расположение наших войск, и концентрацию войск другой стороны, более конкретно представляете себе, какая сложилась сейчас у нас обстановка. Конкретнее, чем ее представляет товарищ Сталин».

А я видел, как Сталин иной раз, когда мы приезжали к нему в Ставку, брал политическую карту. Даже однажды с глобусом вошел и показывал, где проходит линия фронта. Это убийственно! Это же просто невозможно так делать. Он порою не представлял себе всего, что происходило. Он только видел в таких случаях, где и в каком направлении мы бьем врага. На какую глубину мы продвинулись, каков наш замысел — это все, конечно, он хорошо знал. Но в результате выполне-

ния принятого замысла этой операции в осложнения, которые возникали, он мог и не вникнуть, не проанализировать конкретные события, не взвесить, почему мы отменили первоначальный приказ. Как показала жизнь, он в данном случае этого как раз не сделал.

Я продолжал разговор: «Возьмите карту, Александр Михайлович, поезжайте к Сталину». Тот отвечает: «Товарищ Сталин сейчас на ближней даче». «Вы поезжайте туда, он вас всегда примет, война же идет. Вы с картой поезжайте — с такой картой, где видно расположение войск, а не с такой картой, на которой пальцем можно закрыть целый фронт. Сталин увидит конфигурацию расположения войск, концентрацию сил противника и поймет, что мы поступили совершенно разумно, отдав приказ о приостановлении наступления и перегруппировке наших главных сил, особенно бронетанковых, на левый фланг. Сталин согласится». «Нет, товарищ Хрущев, нет, товарищ Сталин уже отдал распоряжение. Товарищ Сталин!» Люди, которые с Василевским встречались, знают, как он говорил — таким ровным, монотонно гудящим голосом.

Мы перестали разговаривать с Василевским, я положил трубку и опять стал думать, что же делать? Брать вновь телефонную трубку и звонить Сталину? Она меня обжигала, эта трубка. Обжигала не потому, что я боялся Сталина. Нет, я боялся того, что это может оказаться для наших войск роковым звонком. Если я ему позвоню, а Сталин мне откажет, то не останется никакого другого выхода, как продолжать операцию. А я был абсолютно убежден, что тут начало конца, начало катастрофы наших войск на этом участке фронта. Поэтому я, знаете ли, прикладывался к этой трубке, как кот к горячей каше, и рефлекторно отдергивал руку. У меня были очень хорошие отношения с Василевским. Я к нему относился с уважением. Да и характер у него такой мягкий. Не знаю вообще, были ли у него враги, кто они и какие. Наверное, были у него враги, но по другим мотивам. К нему очень плохо относились некоторые военные. Это я знаю, но сейчас не стану говорить об этом.

Решил я позвонить Василевскому еще раз. Позвонил и опять стал просить: «Александр Михайлович, вы же отлично понимаете, в каком положении находятся наши войска. Вы же знаете, чем может это кончиться. Вы представляете себе все. Поэтому единственное, что нужно сейчас сделать, это разрешить нам перегруппировку войск, претворить в жизнь наш последний приказ, который отменен Ставкой. Иначе войска погибнут. Я вас прошу, Александр Михайлович, поезжайте к товарищу Сталину, возьмите подробную карту». Одним словом, я начинал повторять те же доводы, других у меня не было, настойчиво повторять просьбу поехать и доложить Сталину, убедить его в том, что наш приказ — это единственно правильное решение, которое при сложившихся условиях можно было принять. Но все доводы, которые я приводил при телефонном разговоре, моя настойчивость, апелляция к его сознанию, долгу и ответственности — ничто не возымело действия. Он тем же ровным голосом (я и сейчас хорошо представляю себе тон голоса) ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин дал распоряжение. Товарищ Сталин вот то-то и то-то». Не мог же я по телефону доказывать Василевскому, что в данном случае для меня Сталин не является авторитетом. Это уже само собой вытекало из того, что я говорил, раз апеллирую к Василевскому и прошу взять соответствующую карту, пойти и доложить Сталину.

Очень опасный был для меня момент. В то время Сталин уже начинал рассматривать себя таким, знаете ли, военным стратегом. После того, как он очнулся от первых неудач, когда он в первые дни войны отошел от руководства и сказал: «Государство, которое создано Лениным, мы про.....», — он начал теперь ощущать себя героем. Хотя я знал,

какой он герой и по первым дням войны, и по предвоенному периоду, я его наблюдал в месяцы, когда надвигалась война со стороны Германии.

А у меня что же? У меня не было никаких других возможностей изменить дело кроме тех доводов, которые я высказывал, повторяя их вновь и вновь Василевскому и рассчитывая на его долг военного. Он был в тот период уже заместителем начальника Генерального штаба. Правда, в те дни это не имело особого значения. Было время, когда никакого начальника Генерального штаба вообще не имелось, а сидел на соответствующих делах Боков, который не пользовался никаким авторитетом у командующих фронтами. Он отдавал распоряжения, принимал доклады, как-то их комментировал, как-то докладывал в Ставку. Это был тяжелый для Генштаба период. Помню, как Сталин спросил меня, что говорят о Бокове? Это было уже тогда, когда мы проводили Сталинградскую операцию и когда Бокова из Генштаба убрали. Я ответил: «Советские войска одержали крупную победу над врагом». «Какую?». «Убрали Бокова из Генерального штаба и посадили туда человека, с которым можно разговаривать и который понимает оперативные вопросы. Это уже большая победа для Красной Армии». Такая шутка Сталину не понравилась...

Василевский наотрез отказался что-либо предпринимать в ответ на мои просьбы. Своего мнения он не высказывал, а ссылался на приказ Сталина. Я, признаться, сейчас несколько переоцениваю свое мнение о том инциденте. Тогда я объяснял это некоторой податливостью и безвольностью Василевского. Он был в данном отношении не очень характерным военным. Это добрый человек, даже очень добрый и очень положительный. Я считал его честнейшим человеком. С ним легко разговаривать. Я много раз и до этого случая встречался с ним. Одним словом, это уважаемый человек. Но в сугубо военных вопросах я, конечно, всегда значительно выше ставил Жукова. А сейчас у меня возникло сомнение: была ли это вообще инициатива Сталина в деле отмены нашего приказа? Теперь я больше склоняюсь к тому, что это была инициатива самого Василевского. Возможно, Василевский (у меня не было тогда никаких возможностей проверить это, тем более нет их сейчас) получил наш приказ первым, потому что мы послали его в Генеральный штаб, и сам не был с ним согласен, не разобрался: ведь шло успешное наступление наших войск, а нам приносили большую радость редкие наши победы, было очень приятно открыть победами 1942 год. Каждому было приятно. Возможно, Василевский получил наш приказ, взвесил его и, наверное, возмутился, сейчас же доложил Сталину и соответственно прокомментировал. Сталин согласился с Василевским и отдал контрприказ или же сам позвонил Тимошенко.

Я и сейчас не знаю, о чем тогда разговаривал по телефону Тимошенко и с кем он разговаривал. То ли с Василевским, то ли со Сталиным. Из слов Баграмяна следовало, что со Сталиным. Мне неудобно было спросить Тимошенко. Мы сошлись с ним наутро, смотрели друг на друга и буквально сопели. Оба были недовольны. Недовольны не друг другом, а обстоятельствами, которые сложились у нас. Возвращаюсь к тому разговору. Все больше прихожу к выводу, что это решение было навязано Сталину Василевским. Потому-то Василевский упорно не слушался меня, не посчитался с положением дел, с моими доводами. Он же не мог поехать к Сталину, поскольку сам давал совет по этому вопросу и на основе этого совета было принято решение. Мне такое заключение пришло в голову лишь в последнее время, когда я, уже сейчас, обдумываю события того лично для меня самого тяжелого времени, поворотного для положения дел в 1942 году.

Если бы в штабе сидел в то время не Василевский, а Жуков, я и

Жукову сказал бы это и, если бы он не согласился, то Жуков тоже впал бы в ошибку, как Василевский. Но разница заключалась в том, что Жуков категорично стал бы мне возражать: не ссылаться на Сталина, а сам стал доказывать, что я не прав, что эта операция принесет успех и надо ее только решительно проводить в жизнь. Однако если бы Жуков поверил мне, разобрался в деле и увидел, что я прав, проявляя настойчивость в определении судьбы нашего фронта, то он, я уверен, не остановился бы, сейчас же сел бы в машину, поехал к Сталину и начал энергично и настойчиво докладывать насчет необходимости отмены своего указания и утверждения принятого нами приказа. Так спустя много лет оцениваю я сей вопрос. О нем я помню постоянно. Это — веха в моей жизни, и тяжелая веха. Как только заходит речь о войне или когда я сам начинаю мысленно пробегать страницы военного времени, особенно до Курской дуги (потому что тогда был самый ответственный, самый напряженный момент для нашей Родины), то Харьковская операция 1942 г. всегда у меня стоит перед глазами, и я тотчас начинаю думать: а что, если бы наш приказ был утвержден? Как развивались бы события?

Когда Василевский наотрез отказался ехать к Сталину, я вынужден был ему сам позвонить. Я знал, что Сталин находится на ближней даче, хорошо знал ее расположение. Знал, что и где стоит и даже кто и где сидит. Знал, где стоит столик с телефонами, сколько шагов надо пройти Сталину, чтобы подойти к телефону. Сколько раз я наблюдал, как он делает это, когда раздавался звонок. Ответил на мой звонок Маленков. Мы поздоровались. Говорю: «Прошу товарища Сталина». Слышу, как он передает, что звонит Хрущев и просит к телефону. Мне не было слышно, что ответил Сталин, но Маленков, выслушав его, сообщил мне: «Товарищ Сталин говорит, чтобы ты сказал мне, а я передам ему». Вот первый признак, что катастрофа надвигается неумолимо. Повторяю: «Товарищ Маленков, я прошу товарища Сталина. Я хочу доложить товарищу Сталину об обстановке, которая сейчас складывается у нас». Маленков опять передает Сталину и сейчас же возвращает мне ответ: «Товарищ Сталин говорит, чтобы ты сказал мне, а я передам ему». Все командующие фронтами, в их числе нынешние Маршалы Советского Союза, прошли в свое время через такое испытание.

По большей части это, конечно, относилось уже ко времени с 1943 г. и позднее, когда Сталин обрел боевую форму и уверовал, что мы победим. А раньше ходил, как мокрая курица. Тогда я не помню, чтобы имели место какие-то обеды с выпивкой. Он был настолько угнетен, что на него просто жалко было смотреть. А вот еще один эпизод, по-своему характеризующий Сталина. После войны дела на Украине пошли быстро в гору. Украина восстанавливала сельское хозяйство и промышленность. Соответственно улучшалось отношение Сталина к украинским руководителям и ко мне, занимавшему посты Председателя Совета Народных Комиссаров Украины и Первого секретаря ЦК КП(б)У. Помню, возник большой спор по поводу Харьковского тракторного завода. На одном из заседаний Анастас Иванович Микоян докладывал о дизельном тракторе КД-35, который был создан в Белоруссии. Хороший трактор, недорогой. Микоян хвалил Сталину этот трактор. Сталин спросил мое мнение, и я тоже его похвалил. Я видел, что трактор еще не доработан и маломощен, но зато у него дизель! Сталина тоже подкупило, что этот трактор дизельный, потому что горючее будет дешевле.

Вдруг у него мелькнуло в голове (или кто-то ему подсказал), что хорошо бы перевести и другие заводы на производство дизельных КД-35, и он предложил перейти на его выпуск прежде всего Харьковскому заводу. Я пытался доказать, что делать это нельзя. Министр автотракторной промышленности Степан Акопович Акопов тоже был против и вооружал меня всеми цифровыми данными. Но Сталин был неумолим и записал поручение в принятом решении. Однако настолько идея оказалась непопулярной, что все остальные члены Политбюро, в том числе и Берия (а это бывало редко), тоже заняли нашу с Акоповым позицию. Разгорелась борьба. Но безрезультатно для нас. Прошло какое-то время, Сталин вспомнил и спросил: «Как, переведен Харьковский завод на выпуск КД-35?». «Нет,— говорю,— не перевели». Он страшно возмутился, собрал всех у себя, меня вызвал и устроил большой скандал. Акопову тогда записали даже выговор за невыполнение решения правительства. Берия, Маленков и тем более Микоян махнули на это рукой. Они не были убеждены, что это нужно и полезно, но считали, что ничего не сделаешь, потому что Сталин хочет этого. Я один продолжал борьбу. Помню, Сталин как-то отдыхал в Сочи и вызвал меня с Украины. Приезжаю. Там был Маленков, потом приехали Берия с Молотовым. Удалось все же добиться правильного решения. Харьковчане продолжали выпускать свой ДТ-54. Значит, можно было переубедить Сталина, но с большим трудом.

Вернусь к маю 1942 года. Что же, мне еще и в третий раз просить? Это не метод достижения положительного решения. Раз Сталин уже два раза ответил мне, то на третий раз вообще перестанет со мной разговаривать, и моя настойчивость будет приносить только вред. Тогда говорю Маленкову, что прошу передать товарищу Сталину уже не просьбу утвердить наш приказ, а объясняю обстановку, которая сейчас осложнилась на фронте и что дальнейшее наше продвижение на запад отвечает замыслам противника: наши войска, продвигаясь на запад, сокращают себе путь в немецкий плен. Говорю: «Мы растягиваем фронт, ослабляем его и создаем условия для нанесения нам удара с левого фланга. Этот удар неизбежен, а нам нечем парировать». Маленков передал все Сталину. Тут же возвращает ответ: «Товарищ Сталин сказал, что надо наступать, а не останавливать наступление». Опять говорю: «Мы выполняем этот приказ. Сейчас наступать легче всего. Перед нами нет противника. Это-то нас и тревожит. Мы видим, что наше наступление совпадает с желанием противника. Прошу утвердить наш приказ. Мы, принимая свое решение, всё взвесили». Маленков: «Да, решение было принято, но товарищ Сталин говорит, что это ты навязал его командующему». «Нет, мы единогласно приняли решение. У нас не было даже спора, поэтому не было и голосования. Мы изучили обстановку и увидели, какое сложилось тяжелое положение. Поэтому и приняли такое решение». «Нет, это было твое предложение».

Не знаю, действительно ли сказал Тимошенко в разговоре со Сталиным, что это я навязал решение прекратить наступление. Я, признаться, сомневаюсь, чтобы Тимошенко так сказал. Он человек волевой и самолюбивый. Командующий принял решение, с которым он же не согласен? Этого не могло быть. Но все же могло ли быть, чтобы Тимошенко сказал так в разговоре со Сталиным? Мне трудно с этим согласиться. Маленков мне так говорил, а значит, так сказал ему Сталин. Думаю, что Сталин просто хотел меня несколько уколоть и осадить мою настойчивость. Продолжаю: «Вы знаете характер командующего Тимошенко. Если он не согласен, то навязать ему решение невозможно, да я никогда такой цели и не преследовал». Маленков опять повторяет: «Надо наступать».

Разговор окончился. При этом присутствовал Баграмян. Он стоял рядом со мной, проливая горькие слезы. Если же я слез тогда не проливал, то потому, что менее конкретно представлял трагедию, которая надвинулась на нас. А он как военный человек отлично представлял обстановку. Его нервы не выдержали, вот он и расплакался. Он пережи-

вал за наши войска, за нашу неудачу. И эта катастрофа разразилась буквально через несколько дней, как мы и предполагали.

Ничего мы не смогли тогда поделать, несмотря на все усилия, которые я предпринял. Не знаю, как защищал свой приказ Тимошенко перед Сталиным. Я его и спрашивать не стал, потому что видел, что он тоже переживает. Он представлял себе надвигавшуюся катастрофу, и я не хотел возвращаться к неприятному разговору. Назавтра встретились мы с Тимошенко и обменялись мнениями, но уже не возвращались к его разговору с Москвой. И я ему тоже не говорил о своем разговоре с Василевским. Не сказал об этом потому, что ко мне приходил Баграмян. Приход Баграмяна ко мне, а не к маршалу, как я ожидал, может наложить отпечаток на отношение Тимошенко к Баграмяну. Я не хотел сталкивать людей. Наоборот, я покровительствовал Баграмяну. Это очень спокойный, трезвый и вдумчивый человек...

Позавтракали мы с Тимошенко и решили поехать в район переправы через Донец. Это была единственная переправа, через которую шло питание наших наступавших войск. Переправа находилась на близком расстоянии от авиационных баз противника. Противнику никаких трудов не составляло все время висеть над ней бомбардировщиками и истребителями. Немцы страшно бомбили этот пункт, и мы решили поехать туда, потому что считали, что от удержания нами этой переправы, от нашей способности сохранить ее и не дать возможности прервать поток снабжения боеприпасами и горючим наступавших частей в решающей степени зависит устойчивость и сопротивляемость наших войск.

Приехали мы. Там имелись какие-то укрытия полевого характера. Эшелон за эшелоном подлетали бомбардировщики врага и «разгружались» над этой переправой, но переправа не была разрушена и продолжала работать. Потом мы получили сведения, что неподалеку от этой переправы появился на своем участке командующий войсками Южного фронта. Тимошенко предложил: «Давай поедем туда, обсудим дальнейшие действия и согласуем их с командованием Южного фронта. Эта армия входит в состав Южного фронта, а противник как раз будет прорывать оборону и окружать наши войска ударом с юга, то есть через позиции 9-й армии». Мы вышли из укрытия, пробрались туда, где стояли наши машины, и поехали на встречу с Малиновским. В деревушке на Донце встретились. Зашли в домик, стали разбираться в обстановке. Обстановка была очень напряженной, тяжелой. Я видел, что Малиновский и Тимошенко оба смотрели на эту операцию, как на обреченную. Но ее надо было проводить, потому что был дан приказ сверху и ничего нельзя было сделать. Когда мы обсуждали ситуацию, вдруг кто-то ворвался из охраны и крикнул: «Бомбардировщики летят прямо на нас». Мы хотели выйти, но тут крикнули, что бомбы уже сброшены.

Малиновский дал команду: «Ложись!». Все легли. На меня навалился командующий бронетанковыми войсками. Не помню сейчас его фамилию. Кажется, Штевнев. Хороший генерал. Он потом погиб, бедняга. Взорвались бомбы около самого домика. Домик не пострадал. Следовательно, не пострадали и мы. Кончилась бомбежка, мы вышли, закончили обмен мнениями. Не помню конкретно, что наметили. Трудно было полностью определить наши действия при сложившихся обстоятельствах. Оттуда мы не то вернулись к переправе, не то поехали в Сватово на свой оперативный командный пункт.

На второй или третий день противник предпринял энергичное контрнаступление на нашем левом фланге, взломал оборону, которая у нас там имелась, и замкнул кольцо окружения наших войск внутри дуги. Случилось то, что мы считали неизбежным при проявлении неразумного упорства в продолжении наступления и выполнении задачи, которая была поставлена нами при начале операции. События развивались очень быстро. Боеприпасы и горючее мы уже не могли туда доставлять, и наша боевая техника стала неподвижной. Вот как раз те условия, которые необходимы противнику, чтобы разгромить войска. Потом, выехав поближе к Донцу, мы встречали там людей, которые прорывались из окружения. Плотного прикрытия у противника не было, и наши прорывались поодиночке и группами. Вышел из окружения Гуров, который был при штабе 6-й армии на главном направлении наступления. Он прорвался с танками сквозь кольцо, которое уже замкнул противник.

Как люди выходили из окружения, хорошо рассказано и генералами, и писателями. Я, видимо, лучше описать это не смогу, чем это уже сделано в военной литературе. Гуров доложил, что он вынужден был сесть в танк и прорываться. Другого выхода не было. Если бы он этого не сделал, то тоже остался бы в тылу у немцев. Тогда раздавались отдельные голоса, которые осуждали его. Их обладатели смотрели на меня: может быть, судить Гурова Военным трибуналом за то, что он на танке вырвался из окружения? Но я относился к Гурову с уважением, высоко ценил его честность и военную собранность. Я ответил этим людям: «Нет, хватит уже того, сколько там погибло генералов. Хотите добавить еще и того, кто вырвался оттуда? Это дом сумасшедших. Одних немцы уничтожили, а тех, кто вырвался, мы будем уничтожать? Возникнет плохой прецедент для наших войск: все равно, где гибнуть, то ли под пулями немцев, то ли тебя уничтожат свои».

Все было кончено! Городнянский, командующий 6-й армией, из окружения не вышел. Его штаб весь погиб. Командующий 57-й армией Подлас погиб. И штаб его тоже погиб. Командующий опергруппой погиб, и его сын-подросток с ним вместе. Погибло много генералов, офицеров и красноармейцев. Вышли оттуда очень немногие, потому что расстояние между концами дуги было небольшим, и противник плотно его перекрыл. Окруженные войска находились на большой глубине. Технику они не могли использовать: не было горючего, не было боеприпасов. А уйти пешком — далеко. Они были частично уничтожены, основная же масса взята в плен.

Не помню, на какой день после катастрофы раздался звонок из Москвы. Вызывают в Москву, но не командующего, а меня. Можете себе представить? У меня было очень подавленное настроение, когда я летел в Москву. Вряд ли нужно даже говорить, что я чувствовал. Мы потеряли много тысяч солдат, утратили надежду, которой жили: надежду, что откроем страницу общих наступательных действий против оккупантов в 1942 году. А закончилось катастрофой. Инициатива наступления была наша с Тимошенко. Это тоже накладывало на меня ответственность. То, что мы хотели изменить ход боевых действий и предотвратить катастрофу, было слабо доказательно. Особенно перед теми, от кого зависело приостановление операции. Ведь согласиться с правильностью наших доводов — значит, согласиться с неправильностью своих решений. Не для Сталина такое благородство. Это был человек вероломный. Он на все пойдет, но никогда не признает, что допустил ошибку. Поэтому я ясно представлял себе трагичность своего положения. Но у меня не было другого выхода. Я сел в самолет и полетел, а сам морально был подготовлен ко всему, вплоть до ареста.

Но как тогда быть с командующим? Значит, арестовать и командующего? Но командующий, видимо, вел разговор другого характера, не проявил сопротивляемости и согласился со Сталиным. Я же очень настаивал на своем, и довольно упорно. Кроме того, не знаю, в чьем присутствии Сталин разговаривал с Тимошенко. Когда разговаривал я, то там, за столом, передатчиком слов Сталина и моих слов Сталину был Маленков. Я уверен, что там находились Берия, Микоян, Молотов. Воз-

можно, был и Ворошилов, но тут уверенности не имелось. В это время Ворошилов уже был в большой опале у Сталина. Данное обстоятельство — и в мою пользу, и не в мою пользу: такие свидетели — неприятные свидетели. Обернулось же так, что оказались неприятными для Сталина. Да, я оказался прав, когда настойчиво добивался через Маленкова отмены приказа Сталина. Сталин меня не послушал. Но какое это имеет значение при том положении, которое возникло? Все, что сказал Сталин, гениально. Все, против чего выступал Сталин, никчемно, а люди, которые на этом настаивали,— нечестные, а может быть, и враги народа.

Тогда очень широко гуляла по стране надуманная Сталиным теория дальнейшего обострения классовой борьбы в СССР. Она запутала умы честных людей и в партии, и вне партии. Сталин извратил все понятия. Действительно имелись враги народа — настоящие, озлобленные враги Советской власти. Но в ходе репрессий полетели головы честнейших людей, преданных революции и рабочему классу, доказавших это и в гражданской войне, и при строительстве социализма. Они-то и сложили головы как «враги народа». Одной головой больше, одной меньше. Какое это имело значение для Сталина? А как быть с совестью? Ха-ха, совесть у Сталина? Его совесть? Да он бы сам первый посмеялся: это — буржуазный пережиток, буржуазное понятие. Все оправдывается, что говорит Сталин. То, что он говорит,— все лишь в интересах революции, в интересах рабочего класса.

Поэтому я ехал, летел и шел к Сталину, как говорится, отдаваясь на волю судьбы; что станет со мною, не знал. Встретились. Сталин поздоровался. Сталин — это актер. Он умел владеть собой, никогда не выдавал: не то он кипит, не то относится с пониманием. Он умел носить маску непроницаемости. Поздоровались, и он говорит мне: «Немцы объявили, что они столько-то тысяч наших солдат взяли в плен. Врут?» Отвечаю: «Нет, товарищ Сталин, не врут. Эта цифра, если она объявлена немцами, довольно точная. У нас там было примерно такое количество войск, даже чуть больше. Надо полагать, что частично они были перебиты, а другая их часть, названная немцами, действительно, попала в плен». Сталин ничего мне не ответил. Я видел, как он кипит, и не знал, куда прорвется этот котел. Но он сдержался: ничего мне не говорил больше, не упрекал ни меня, ни командующего. Помалкивал. Перешли в разговоре на другие дела: что мы предпринимаем? Какая есть возможность построить оборону по Донцу с тем, чтобы противник не перешел Донец на этом направлении? Как задержать его продвижение при наших очень ограниченных возможностях? Потом пошли обедать.

Не помню, сколько дней пробыл я в Москве. Чем дольше, тем более томительно тянулось время, которое должно было чем-то кончиться для меня лично. Но чем оно кончится, я был в неведении. Думал, что Сталин не пройдет мимо такой катастрофы после нашей победы под Ростовом и громкой победы под Москвой, не простит и захочет найти козла отпущения, продемонстрировав свою неумолимость, принципиальность и твердость: не останавливаться, не колебаться насчет судьбы личности, как бы она ни была известна или даже близка ему, если это касается интересов страны. Тут имелась возможность продемонстрировать это. Вот, мол, катастрофа разразилась по вине такого-то или таких-то. А правительство и Сталин ни перед чем не останавливаются и строго наказывают виновных людей. Я даже догадывался, исходя из прежнего опыта, как Сталин может формулировать. Он был большой мастер на такие формулировки. Да и в общем-то он человек был очень одаренный, умный. Вопрос заключается в том, как ум надо оценивать в разных случаях. Одно дело, когда ум направлен на соблюдение интересов революции, ее развития и укрепления; другое,— когда против революции под

прикрытием горячих лозунгов защиты ее интересов. А в результате гибли люди, до глубины души преданные делу Ленина, делу марксизма-ленинизма.

Однажды сидели мы за столом, обедали. У Сталина в то время обедов без того, чтобы не напились люди, хотят они этого или не хотят, уже не бывало. Он, видимо, хотел залить совесть свою, одурманить себя, что ли. Не уходил из-за стола трезвым и, тем более, не отпускал трезвыми близких людей и тех из генералов и командующих войсками, которые приезжали с докладами, если готовилась какая-нибудь операция. Как раз за таким обедом завел он разговор о Харьковской операции довольно монотонным, спокойным тоном. Но я знал эти кошачьи сталинские лапы. Смотрит он на меня и говорит: «Вот, в первую мировую войну, когда одна наша армия попала в окружение в Восточной Пруссии, командующий соседней армией, удравший в тыл, был отдан под суд. Его судили и повесили». Я говорю: «Товарищ Сталин, помню этот случай. По газетам, конечно. Русские войска там раньше попали в плен к немцам. Власти вынуждены были осудить Мясоедова, и его повесили. Он был предателем, немецким агентом. Правильно сделал царь, что его повесил как предателя России. Но только он был жандармским полковником, а не командармом». Сталин ничего больше не сказал и дальше свои мысли не развивал. Но и этого было для меня достаточно. Можете себе представить, как я себя чувствовал после такой аналогии? Первая мировая война, Восточная Пруссия, крах русских войск и затем казнь Мясоедова. И вот вам теперь 1942 г., операция с разгромом наших войск. Член Военного совета, член Политбюро ЦК партии находится здесь, и Сталин ему напоминает, что в истории уже был «такой же случай».

Я, признаться, прикидывал тогда так: это Сталин морально меня подготавливает, чтобы я с пониманием отнесся, что в интересах Родины, в интересах Советского государства и для успокоения общественного мнения надо показать, что все виновные в поражениях строго наказываются. Тому уже был пример в первые дни войны, когда немцы прорвались на Западном фронте, уничтожили нашу авиационную технику и вообще смяли весь фронт. Фронт пал. Если бы не пал, может быть, по-другому и протекала бы война. Тогда Сталин арестовал, судил и казнил командующего войсками фронта генерала Павлова, его начальника штаба и других лиц. Был уже такой прецедент. А тут и я, как говорится, ожидал своей судьбы. Единственным затруднением для Сталина, как я считал, был мой телефонный звонок к нему при свидетелях. Разговор велся через Маленкова. Присутствовали, вероятно, и другие. Как бы ни близки были эти люди к Сталину, он понимал, что просто так не обойдется. Возникнут разные мнения, которые могут просочиться, сейчас же или потом, и это обернется против Сталина.

Пробыл я в Москве некоторое время, и Сталин сказал, что я могу уезжать опять на фронт. Я обрадовался, но не совсем, потому что знал случаи, когда Сталин ободрял людей, они выходили из его кабинета, но тут же отправлялись не туда, куда следовало, а туда, куда Сталин указывал тем, кто этим делом занимался и хватал их. Я вышел. Ничего. Переночевал. Наутро улетел и вернулся на фронт.

Там положение было очень тяжелым. Когда мы проводили зимой Барвенково-Лозовскую операцию, обязанности распределялись так: командующим войсками Юго-Западного направления был Тимошенко, командующим войсками Юго-Западного фронта — Костенко, начальником штаба у него был Бодин, а начальником штаба Юго-Западного направления с весны стал Баграмян. Я уже говорил о Костенко. Это очень хороший и приятный человек, боевой и исполнительный генерал. Но, чтобы справиться с ответственными обязанностями командующего

войсками фронта, ему не хватало военной культуры. Мы тогда считали, что если при командующем Костенко будет начальником штаба Бодин и если Костенко станет внимательно относиться к своему начальнику штаба, то промахов ожидать не придется. Я особенно надеялся на Бодина в смысле его способности понимать обстановку. При любых ситуациях он всегда сможет прийти на помощь своему командующему. А членом Военного совета утвердили Кириченко.

Не помню, по какому случаю Бодин прилетел к нам в Сватово, где находился штаб Юго-Западного направления. Но он тогда рассказал мне об обстановке в штабе фронта и пожаловался: «Я хотел бы, чтобы вы знали. Когда мы переехали из Воронежа и стали штабом Юго-Западного фронта, то стали злоупотреблять питейными делами: и Костенко, чего я за ним раньше не замечал, и особенно Кириченко. Сложилась для меня лично довольно тяжелая обстановка. Если я как начальник штаба что-либо предлагал, то встречал при обсуждении вопросов сопротивление. Я не чувствую поддержки со стороны Кириченко. Ужасно трудно стало работать, я не гарантирую, что будут приняты разумные решения». Эти его соображения меня очень обеспокоили. Я в честности Костенко не сомневался, но больше ценил Бодина, считая, что он лучше разбирается в военных вопросах. Я полагал, что Костенко без Бодина не сумеет справиться с управлением фронтом. Когда производили назначения, я думал, что Кириченко будет поддерживать Бодина. А тут Бодин сказал мне, что все обстоит наоборот. Костенко с Кириченко вместе пьют и все вместе решают без Бодина. Мы обсудили это с Тимошенко и решили, чтобы он по совместительству стал командующим войсками Юго-Западного фронта. Так было нами доложено Сталину и им утверждено. Потом я сказал Кириченко: «Как вам не стыдно? Почему вы стали прислушиваться в чисто военных вопросах больше к Костенко, чем к Бодину? Бодин — и более образованный человек в военных вопросах, и более располагающий к себе и своими знаниями, и умением, и тактом. Почему вы повернулись к нему спиной и не стали его поддерживать? Начали злоупотреблять винными делами?»

А когда я приехал к ним, то застал такую картину: выходит ко мне Кириченко в светло-серой шинели (а как раз в то время ввели генеральские шинели такого светло-серого тона). В царские времена генералы носили шинели такого цвета. Полиция, офицеры, приставы, надзиратели тоже ходили в шинелях такого цвета. Я — к нему: «Как вам не стыдно? Какой вы генерал? Нарядились, как павлин. Зачем вам это нужно? Разве вас это украшает или поднимает в глазах военных? Все равно военные знают, что вы не военный человек. Вы здесь — представитель партии, член Военного совета. Недостаточно вам этого? Чем партия вас наделила, тем и дорожите. Проводите нашу политическую линию на пользу армии и на пользу партии». После этого я уже никогда не видел его в такой шинели. Вот тоже характерная черта. Ведь мишура для человека стала тут главнее, чем политическая суть дела.

Возвращаюсь к периоду, когда мы разделились на командование Юго-Западного фронта и Юго-Западного направления. Мы потерпели жестокое поражение. Люди выходили из окружения. Тимошенко, пользуясь опытом гражданской войны, приказал: «Ну, и что? Разбежались войска? Поставьте кухни. К кухням солдаты придут: им деваться больше некуда». Действительно, к кухням приходили солдаты. Сколько-то в совокупности набралось. Еще кое-какие соединения мы получили из резерва Верховного Главнокомандования: танковые корпуса и стрелковые части. Стали возводить оборону. Более или менее построили. Когда противник попытался переправиться через Донец, мы отразили все его атаки.

Видимо, у него к тому времени возникли уже другие планы. Потом

это стало ясно, хотя атаки на данном направлении он проводил жестокие. Затем они прекратились, и вскоре вырисовался замысел противника. Он готовил главный удар не тут, а севернее Харькова в направлении Воронежа. Немцы стали подбрасывать туда пехоту и авиацию. Не помню, в мае или в июне немецкий самолет приземлился на нашем аэродроме. Он потерял ориентировку. Самолет перевозил штабные оперативные документы — карты и прочее. По этим документам выходило, что противник имеет намерения (и существует уже разработанный и оформленный документ) наступать на Воронеж. Через какое-то время, один за другим, приземлились на наших аэродромах еще два немецких истребителя. Конечно, мы взяли летчиков в плен, допрашивали их и выяснили, что они тоже потеряли ориентировку. «Мы,— говорят,— летели на такой-то аэродром и сели сюда. Думали, что это наш аэродром, а оказалось, что сели в вашем расположении». Мы, конечно, докладывали в Москву, что идет подготовка наступления противника, он стягивает войска, авиацию: вот летчики-истребители попали к нам в плен, приземлились на нашем аэродроме, сообщили то-то и то-то. Надо делать соответствующие выводы.

Помню в этой связи звонок Сталина. Разговаривал он со мной в такой манере — иронически и с издевкой: «Ну, что там вам немцы подбрасывают? А вы принимаете всерьез намерения противника? Они вам карту подбросили. Самолет сел; истребители, вы докладываете, тоже садятся. Это делается для того, чтобы ввести вас в заблуждение, дезориентировать». Одним словом, сказал, что мы не понимаем, что это противник делает сознательно. А ведь в том самолете помимо карт был еще и генерал! Тоже нарочно подбросили? Сталин не понял намерений немцев. Он поверил в другую версию, которую они создавали, распуская слухи (говорю это теперь на основе документов, которые опубликованы в книге «Совершенно секретно!»), что готовят удар в направлении Москвы, то есть еще раз в том направлении, где потерпели поражение зимой 1941/42 года. Это им было нужно для дезориентации нашего Верховного Главнокомандования, и им это удалось. И вместо того, чтобы правильно разобраться в деле и создать мощную группировку войск восточнее Харькова, чтобы быть готовыми к отражению врага, мало что было сделано. Наоборот, Сталин-то и клюнул на провокацию, которую задумал Гитлер, а никаким данным, которые сообщали ему мы, не верил. Одернул нас, что мы, дескать, слишком доверчивы, наивны. Он считал, что удар будет нанесен в другом месте, и соответственно мало что было предпринято с тем, чтобы усилить наше направление.

Приближался срок, назначенный Гитлером. Мы с Тимошенко сами приняли меры, какие могли, на нашем направлении. Выехали на командный пункт. Там стояла наша 21-я армия. Командовал ею Гордов. Противник точно в упомянутый им срок начал проводить операцию. Как всегда, развернулась артиллерийская подготовка. Мы с командармом-21 и Тимошенко находились на командном пункте: на чистой поляне было вырыто какое-то квадратное углубление. Вот и все оборудование КП. Это похоже на Гордова. Он пренебрегал опасностью и демонстрировал свою храбрость, да и действительно был храбрым человеком. Сидели мы в этой яме у телефонов, а через нас летели, завывая, снаряды. Завязались бои. Но соотношение сил оказалось неравным. Мы и не рассчитывали на свой успех, если противник реально избрал это направление для нанесения главного удара. У нас не имелось подкреплений, которые могли бы дополнительно преградить путь противнику, хотевшему отсюда развивать свой успех на Воронеж.

Наши войска были смяты, хотя и не сразу. Полная дезорганизация нашего фронта наступила в середине или, может быть, уже к концу июня. Помню лишь, что когда наши войска отступали, то уже стояли

высокие рожь и пшеница. Пехота и танки — все это бежало на восток по посевам. К нам в штаб прилетел тогда Василевский. Усиленный нажим противника ощущался на направлении 38-й армии, которой командовал Москаленко. Поговорив с Василевским, мы условились: давайте сядем на автомашину и проедем к Москаленко. Там теперь главное направление боев. Когда мы приехали в расположение войск Москаленко, то застали ужасную картину. Самолеты противника безнаказанно летали на бреющем полете и расстреливали все, что видели: отходящие автомашины, танки, пехоту. Мы застали какое-то неорганизованное бегство. Василевский говорит: «Давайте проедем в «хозяйство» командующего». Стали мы его искать. Знали, где он находился раньше, и направились сначала туда. Когда подъехали, то там уже снимались с места кухня и военторг.

Мы поняли по обстановке, что здесь-то и был штаб. Навстречу попался здоровый такой парень, лицо у него — кровь с молоком. Солдаты говорили: «По физиономии видно, что из военторга». Не выходя из машины, Василевский подозвал его. У Василевского (я уже упоминал) был мягкий характер и деликатное обращение с людьми. Он говорит: «Послушайте, послушайте, товарищ! Это не Москаленко ли хозяйство?» Тот отвечает: «Да, Москаленко». «А где сам Москаленко?» Солдат сказал, что в таком-то селе, неподалеку отсюда, не дальше чем в 10 километрах. Мы направились было туда. Вдруг этот солдат закричал: «Стой! Стой!» Остановились. Этот краснорожий нахал, глядя на Василевского, говорит ему: «Товарищ генерал, вы вчера у меня отобедали и не заплатили за обед». Василевский перевел взор на меня, потом на него: «Послушайте, батенька, что вы говорите? Как это могло случиться? Я же здесь не был, только что приехал». И обращается ко мне, вроде бы за подтверждением: «Вы же знаете, что я только что приехал?» Тот нахал тут же отвернулся и ушел. Это, видно, тренированный был рвач: позволил себе обратиться к незнакомому генералу с заявлением, что тот ему не заплатил за обед. А Василевский стал оправдываться. Другой бы генерал иначе реагировал. Недаром я с уважением относился к Василевскому, хотя никак не мог забыть разгром наших войск южнее Харькова, и мой разговор с ним перед этим по телефону, его реакцию на мою просьбу. Видимо, до конца жизни не забуду, не смогу примириться, найти разумное объяснение поведению Василевского.

Поехали мы в указанном направлении, прибыли в то село, и еще не развернулся штаб, как встретили Москаленко. Москаленко — человек очень нервный, даже более чем нервный. Он встретил нас словами: «Вот, опять вы ко мне приехали в такую минуту, когда я не могу голову поднять. Противник не дает покоя». Так же он меня встречал и в других случаях, когда я у него бывал. Потом он рассказал нам о расположении своих войск, хотя точно и не мог знать это, потому что противник как раз в то время подавлял его бегущие войска. Так началась новая катастрофа, уже восточнее Харькова, в направлении Воронежа, а потом и Сталинграда. Здесь мы уже отступали, как говорится, без задержки. Как только закреплялись, враг опять сбивал нас с занятых позиций, и мы вновь отходили. Тут у нас и не было сплошной линии фронта. Сражались отдельные очаги сопротивления, а противник отгонял нас все дальше к Дону. И оказались мы на воронежской земле. Не помню названия села, где расположился наш штаб. Но помню, что у нас тогда не было сил, чтобы держаться на месте.

Разведка доложила, что на северо-запад от нас сконцентрированы танки врага. Видимо, этой ночью он уже прибудет с танками в село, где расположен наш штаб. Знал ли противник, что здесь расположен штаб фронта, или нет, не могу сказать. Мы предупредили всех работников штаба, чтобы, когда стемнеет, они переправились через Дон. Село

от Дона было не более чем в 20-ти километрах. Мы рекомендовали никому на ночь не задерживаться в этом селе, потому что люди могут попасть в плен к немцам. А мы с Тимошенко выжидали, пока смеркалось: хотели использовать сумерки, чтобы проехать в полутемноте, но до наступления ночи, потому что ночью ехать без фар невозможно, а завидев фары, противник расстреливал все машины. Приехали на переправу. Вражеские самолеты бомбили ее. Не думаю, будто враг знал, что именно сейчас переправляется командующий войсками и член Военного совета фронта. Нет, любая переправа интересует противника. Там всегда концентрируются транспортные средства, люди, и там их легче уничтожить.

Переправились мы на каком-то катере не то лодке на левый берег Дона, отъехали неподалеку и расположились в каком-то селе просто отдохнуть. Войск у нас не было. Остались разрозненные части. Боеспособными единицами мы не располагали. Такая вот была «веселая картина». Назавтра получили указание из Москвы перенести штаб фронта в Калач-на-Дону, что западнее Сталинграда. Начальником штаба направления стал Бодин, Тимошенко опять командовал Юго-Западным направлением и Юго-Западным фронтом, а Костенко к тому времени погиб в Харьковской операции вместе со штабом 6-й армии. Когда мы получили указание из Москвы переместиться в Калач, я уехал туда с Бодиным и Баграмяном. Тимошенко же сказал, что останется с членом Военного совета Гуровым здесь, чтобы организовать те войска, которые сумеют переправиться через Дон. Мы уехали. Это было, на мой взгляд, очень странное решение командующего. Мне оно было непонятно. Позднее я даже не спросил Тимошенко, чем же оно было вызвано, и только сам сделал вывод, что, видимо, Тимошенко морально подавлен, хочет как-то оправдаться перед самим собой.

Несколько дней не имели мы с ним связи. Он не имел связи и со штабом. Мы его просто не могли найти. Когда Сталин обращался к нам, то мы не могли ответить, где находится командующий. Получалось, что вроде бы мы его где-то бросили. Можете себе представить? Это в сталинские-то времена, когда любому мерещилось на каждом шагу — измена, предательство! В тяжелейший период для нашей армии и уже дважды подряд на направлении, где командует Тимошенко и где я являюсь членом Военного совета, подвергаются такому жестокому разгрому наши войска. А командующего вообще нет. Значит, он сбежал? Нет вместе с ним и члена Военного совета дивизионного комиссара Гурова. Ей-богу, появилась у меня тогда такая мысль. Хотел ее отогнать, но она как бы сама нанизывалась на факты. При Сталине он свое понимание вещей буквально вбивал в сознание каждому, с кем соприкасался. Естественно, зародились нехорошие мысли и в отношении Тимошенко.

Получаем новый приказ — переместить штаб в Сталинград. Там находилась какая-то группа лиц, которая должна была проинформировать нас, что входит в наше распоряжение и в состав нашего нового, Сталинградского фронта. Мы с Бодиным поехали на автомобиле и в дороге встретили Тимошенко! Позднее Гуров рассказывал мне, что они отсиделись в стоге сена. Разостлали под собой бурки и командовали теми, кто был вокруг. Никакой связи не имели, никого близко не знали. «У Тимошенко,— говорил Гуров,— было такое настроение: что же поеду я сейчас и буду сидеть в штабе? Что я смогу сказать Сталину? Войск нет, управлять некем. Мне будут указывать, как отражать натиск противника, а отражать-то нечем. Одним словом, всё сразу: и уязвленное солдатское самолюбие, и огорчение. Он, конечно, переживал не меньше, чем я. Его (теперь уже не меня) обвиняли в этом поражении, а виноваты были Генеральный штаб и лично Сталин. Между собою мы не об-

менивались мнениями по данному вопросу. Я был, конечно, настороже, потому что Тимошенко в разговоре со Сталиным согласился, как сказал мне Сталин при телефонном разговоре через Маленкова, что это я нажал на Тимошенко в ходе Харьковской операции. А мне уже достаточно было, что я назойливо добивался утверждения решения нашего штаба и тем самым вызвал в мае недовольство и раздражение со стороны Сталина.

Уехали мы в Сталинград вдвоем с Бодиным. Тимошенко же опять не поехал, хотя имелось прямое указание Сталина прибыть туда, и даже было указано время. Ехали мы с Бодиным вдвоем на автомашине. Настроение, конечно, хуже некуда. Переносим свой штаб в Сталинград и знаем, что на всем пространстве между Доном и Сталинградом у нас почти нет войск. Есть какие-то дезорганизованные их остатки, не представляющие боевой силы, на которую можно положиться, чтобы задержать противника. Помню даже такую мелочь. Перебрались через реку Хопер. Бодин говорит: «Давайте искупаемся». Роскошь для того времени. Не до того было. Но мы под влиянием южного солнца решились и искупались. Прибыли в Сталинград. Я впервые попал в этот степной город. На меня он произвел впечатление большой деревни, за исключением той его части, где расположен тракторный завод. Там виднелись современные постройки кирпичной кладки, четырех- и пятиэтажные. Там же заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь», мельница, другие сооружения. Преобладали деревянные строения. Я был поражен, что в степи, где вообще нет леса за исключением дубовой рощи на левом берегу напротив Сталинграда, в нем сплошь деревянные постройки. Потом понял, что Волга посылала сюда на своей груди плоты, поэтому лес был тут дешевый.

Нас встретил генерал Толбухин. Он был назначен начальником укрепрайона Сталинграда и занимался строительством укреплений: рытьем траншей и противотанковых рвов. Мало еще было сделано. Видимо, не так давно началось строительство. Боевых единиц у Толбухина имелось тоже очень мало. Нам доложил представитель Генерального штаба (не помню, кто это был), что здесь находятся армии 62-я и 57-я неполного состава. 57-й армией потом командовал как раз Толбухин, 64-й — Чуйков, 62-й — Колпакчи. Стояли там и соединения, в частности механизированная бригада. Командовал ею полковник Бурмаков, а членом Военного совета был хорошо известный мне человек: когда я был секретарем Бауманского райкома партии Москвы в 1931 г., он являлся секретарем парткома мясо-молочного комбината имени Микояна. Очень задорный такой был паренек, еврей, энергичный и хороший секретарь партийной организации, инициативный человек. Прекрасно вел себя и, будучи комиссаром этой мехбригады, имел звание полкового комиссара. Находились там также другие воинские части, но мелкие.

Вскоре после того, как мы с Бодиным прибыли в Сталинград, меня вызвали в Москву. Приехал я в столицу, ожидал опять всяческих неприятностей. Неудачи на фронте не могли сулить мне каких-то приятностей в Москве. Но Сталин никаких упреков на этот раз мне не делал. Я даже подумал, что, может быть, он как-то осознал свою неправоту в том, что не послушал меня, когда я добивался утверждения нашего приказа перейти к обороне на Барвенковском направлении? Сталин это, конечно, сказать не мог. Если он даже так думал, у него язык не повернется признать, что он был не прав, а кто-то прав. Я ничего такого не слышал от него никогда, не мог ожидать и не ожидал этого и теперь. Но то, что он встретил меня довольно спокойно, хотя создавшееся положение было очень тяжелым, позволило мне тогда так думать. Сталин расспрашивал меня о событиях, но я мало что мог сказать, потому что пока не знал ни города, ни обстановки. Рассказывал больше он,

какие там находятся армии и как нужно организовать оборону города. Вдруг он ко мне обернулся и сказал: «Кого назначить туда командующим?» А насчет Тимошенко молчит.

Тимошенко командовал тем Юго-Западным фронтом, который теперь превращался в Сталинградский. Поэтому, естественно, возникал прежде всего вопрос о его кандидатуре. Я тоже не стал говорить о Тимошенко. А только спросил: «А вы как считаете?» Он мне: «Можно назначить командующим войсками фронта Еременко, но он лежит в госпитале и не может сейчас приступить к командованию». Я о Еременко тогда только слышал, но лично его не знал и с ним никогда не встречался. Поэтому ничего не мог толком сказать о Еременко. Однако раз Сталин хорошего о нем мнения, то у меня не имелось оснований возражать. Для меня фамилия Еременко была свежей. Я знал только, что он дрался с немцами в районе Гомеля и на подступах к Курску. Как раз с этого направления враг ударил на юг и замкнул в окружении нашу группировку в районе Киева. Сталин опять начал нажимать, чтобы я назвал командующего войсками Сталинградского фронта. Назвать мне Тимошенко? Для Сталина это была бы тогда не находка. Сталин сам знал Тимошенко, и лучше, чем я. Еще по Первой Конной армии Буденного. Тимошенко вообще был на виду, особенно после репрессирования командного состава Красной Армии в 30-е годы. На фоне оставшихся командиров Тимошенко выглядел довольно заметно.

Когда еще я уезжал из Москвы в Киев первым секретарем ЦК КП(б)У, командующим войсками округа в то время был Тимошенко, и Сталин дал мне о нем благоприятный отзыв и хорошую характеристику. Правда, характеристика заключалась главным образом в том, что это честный человек, на которого можно положиться. Конечно, Сталин глубокого доверия никогда и никому не оказывал. Всегда у него было заложено внутренне какое-то подозрение к любому человеку. Он мне как-то сказал в пылу откровения: «Пропащий я человек, никому не верю. Я сам себе не верю». Это он сказал мне в 1952 г., в Сухуми, в присутствии Микояна. Вот характерная черта Сталина. Не знаю, что тогда на него нашло, если он набрался вдруг духу и откровенно сам дал себе характеристику. А в 1942 г. я сказал ему: «Товарищ Сталин, я могу назвать кандидатов только из числа тех людей, которые командовали войсками на нашем направлении. Других я не знаю. Поэтому командующего на Сталинградский фронт должны назвать вы. Вы больше людей знаете, у вас шире горизонт». «Да что вы? Что вы? Я уже сказал вам про Еременко. Очень хорошим был бы там командующим Власов, но Власова я сейчас не могу дать, он с войсками в окружении. Если бы можно было его как-то оттуда отозвать, я бы утвердил Власова. Но Власова нет. Называйте вы сами, кого хотите!» Крепился я, крепился, но был поставлен в такие условия, что не мог выйти из помещения, пока не назову командующего войсками Сталинградского фронта. Говорю: «Из людей нашего фронта я назвал бы Гордова, даже при всех его недостатках (недостаток его заключался в грубости. Он дрался с людьми). Сам,— продолжаю,— очень щупленький человечек, но бьет своих офицеров. Однако военное дело он понимает. Поэтому я бы назвал его».

В то время он, кажется, командовал 21-й армией и был в нашем распоряжении. А может быть, я уже знал его поближе, по участку фронта, который он занимал на Донце? Членом Военного совета у него был тогда Сердюк. Поэтому я от Сердюка имел характеристику на Гордова — и хорошую, и плохую. Хорошую — в смысле знания дела, его энергии и храбрости; плохую — насчет его грубости вплоть до избиения людей. Это, правда, в то время считалось в какой-то степени положительной чертой командира. Сам Сталин, когда ему докладывал о чем-

либо какой-нибудь командир, часто приговаривал: «А вы ему морду набили? Морду ему набить, морду!» Одним словом, набить морду подчиненному тогда считалось геройством. И били! Потом уже я узнал, что однажды Еременко ударил даже члена Военного совета. Я ему потом говорил: «Андрей Иванович, ну как же вы позволили себе ударить? Вы ведь генерал, командующий. И вы ударили члена Военного совета?!» «Знаете ли,— отвечает,— такая обстановка была». «Какая бы ни была обстановка, есть и другие средства объясняться с членом Военного совета, нежели вести кулачные бои». Он опять объяснил, что сложилась тяжелая обстановка. Надо было срочно прислать снаряды, он приехал по этому вопросу, а член Военного совета сидит и играет в шахматы. Я говорю ему: «Ну, не знаю. Если он играл в шахматы в такое трудное время, это, конечно, нехорошо, но ударить его — не украшение для командующего, да и вообще для человека». Потом этот член Военного совета стал секретарем Астраханского обкома партии, уже после смерти Сталина. Порядочный был человек, заслуживающий уважения.

Давал в морду и Буденный. Я уже рассказывал, как он ударил солдата. Бил подчиненных и Георгий Захаров. Потом он стал заместителем командующего войсками Сталинградского фронта. Я его ценил и уважал как человека, понимающего военное дело. Он преданный Советскому государству и Коммунистической партии воин, но очень не сдержан на руку. На Сталинградском фронте я, правда, уже никогда не видел, чтобы Еременко позволил себе рукоприкладство. Я только знал о таких фактах его жизни в прошлом. А пока что, одним словом, я назвал Сталину Гордова. Сталин говорит: «Хорошо, утвердим Гордова». Тут же, как обычно, сидел Молотов. Сталин и говорит ему: «Бери блокнот, карандаш и пиши приказ о назначении Гордова». Вскоре Гордов приступил к исполнению обязанностей командующего войсками фронта.

Начали мы возводить оборону. Спустя какое-то время Бодина отозвали в Москву и назначили заместителем Василевского. Он получил таким образом большое повышение. На это назначение повлияли и мои характеристики, которые я давал на него неоднократно Сталину. Я просто очарован был Бодиным. И сейчас не отказываюсь от всего того, что говорил хорошего в адрес этого человека. Он погиб уже давно, в 1942 году. Это был замечательный генерал. Сейчас не помню, кто же был на первых порах начальником штаба фронта в Сталинграде. Баграмян уже был отозван в Москву. Я даже несколько волновался: не отозван ли он по соображениям, угрожающим его персоне? Он уехал, и после этого я на фронте уже никогда с Баграмяном не встречался. Только слышал о нем и радовался, что он по заслугам оценен и занимает высокие посты. Он крепко отличился во время войны.

Противник стал подтягивать войска к Сталинграду, и наши армии вошли с ним в соприкосновение. Было это в июле, жарища стояла жуткая. Поехали мы с Гордовым в 62-ю армию, к Колпакчи. Докладывает он нам о положении дел, как вдруг слышим стрельбу. Эти артиллерийские выстрелы были для нас неожиданностью. Мы выскочили из дома, смотрим: наши танки отходят как раз в нашем направлении и ведут огонь, и по ним тоже стреляют. Одним словом, непонятная какая-то картина. Что же творится на фронте? Командующий армией Колпакчи нам ничего тревожного не докладывал, и вдруг неожиданно противник подошел к расположению штаба армии? Вышли мы с Гордовым. Там лежала копна сена. Небольшая, но все-таки возвышенность. Забрались на нее и стали смотреть в бинокли, что случилось? Ничего нельзя было понять.

Оказалось, что противник прорвался и начал теснить нас. Немцы форсировали Чир, южнее заняли Цимлянскую и стали непосредственно

угрожать нам. Произошло что-то невероятное на Южном фронте. Сведений оттуда мы не получали и поэтому не знали, что там делается, к югу от нас. Потом уже узнали, что катастрофа разразилась в значительно большем масштабе, чем можно было предположить. Не только наш Юго-Западный фронт был разгромлен, но и Южный фронт был врагом смят. Довольно солидной обороной вокруг Ростова мы даже и не воспользовались. Противник обошел Ростов, дезорганизовал оборону, и я не знаю, сколько наших взял в плен, сколько перебил, а другие бежали от него через Дон.

Я был раньше там, когда строили укрепленный район под Ростовом. Строил его непосредственно Кулик, имевший полномочия от Сталина. В Ростове у него был свой штаб, и он довольно упорно вел нужные работы. Было сделано много: отрыты противотанковые рвы, возведены земляные укрепления, расставлена артиллерия. Все это строилось километрах в 20—30-ти от Ростова, и имелась надежда, что противник никак не сможет с ходу взять Ростов. Море и Дон прикрывали фланги, а с севера были построены укрепления. Командование этими укреплениями было подчинено Южному фронту. Как противник вышел на Дон восточнее Ростова, мы не могли понять. Что же случилось с Ростовом? Позже мы узнали, что наши войска там бежали и противник занял Ростов без боя: немцы сначала вышли восточнее Ростова к Дону и стали форсировать его. В результате Ростов просто был оставлен. Малиновский был снят с должности. Над ним нависла угроза немилости Сталина.

После разгрома наших под Ростовом противник быстро занял Цимлянскую. Падение Цимлянской — это непосредственная угроза Нижней Волге. От Цимлянской до Волги рукой подать. Цимлянская, Калач-на-Дону и Волга — километров 150. Я сейчас стал уже забывать расстояния, хотя тогда измерял их довольно часто на своей автомашине. Из-за плохой распорядительности командующего 62-й армией Колпакчи мы с Гордовым освободили его от должности и в следующем месяце назначили Лопатина. Завязались бои с немцами уже на подступах к Дону, у Калача. А в Цимлянской они вообще уже были на Дону.

Однажды мы с Гордовым решили поехать в 64-ю армию и познакомиться с ее командующим Чуйковым. Я Чуйкова прежде не знал, а только слышал, что это боевой генерал, который был нашим военным советником у Чан Кайши. Он только что приехал из Китая и сразу принял резервную 64-ю армию. Армия эта стояла южнее. Поехали мы к ней по степи. Тревожных донесений с этого фланга тогда не имели. Но когда приехали туда, увидели ужасную картину. Там тянутся калмыцкие полупустынные степи. Много земель, непригодных для обработки. По ним, как белые лебеди на буром фоне, рассыпанным строем тянулись от Дона на восток бойцы 64-й армии. Они были прижаты противником к Дону и вплавь, сбросив обмундирование, в нижнем белье переплывали, кто мог, реку и отступали на восток. Приехали мы в расположение штаба. В небольшом кустарнике стояли машины и все остальное, что нужно для штаба. Никаких строений не было. Дорожки были хорошо распланированы, убраны и почищены. Так познакомились мы с новым командующим армией.

Чуйков был элегантно одет. Необычно, не так, как наши другие генералы были одеты во время войны. Ходил со стеком в руке. Производил впечатление человека с претензией. Создалось не особенно-то приятное впечатление. Гордов набросился на него со всей своей грубостью и руганью. И действительно: ведь армия потеряла управление. Учитывая тяжелую обстановку того времени и то, что Чуйков только что прибыл из Китая и внешне выглядел довольно вычурно, он производил невыгодное впечатление. Мы вынуждены были поставить во-

прос о его замене. Освободили Чуйкова, передвинули его в опергруппу, а назначили взамен на 64-ю армию Шумилова. Шумилов прежде замещал командующего 21-й армией. Чуйкова мы взяли в резерв фронта. Шумилов, когда принимал армию, попросил, чтобы перевели вместе с ним и члена Военного совета Сердюка. Он говорил, что они привыкли друг к другу и уважают друг друга. Мы уступили и перевели Сердюка членом Военного совета в 64-ю армию. Так Шумилов с Сердюком и продолжали управлять этой армией, вплоть до разгрома войск Паулюса под Сталинградом. Потом, после разгрома Паулюса, я встретился с Шумиловым и Сердюком уже тогда, когда они пришли к нам иа Курскую дугу и заняли участок по Донцу. Их армия называлась уже 7-й Гвардейской: 64-я в результате успешных боев под Сталинградом была названа Гвардейской. Она пришла в полном составе и заняла участок фронта севериее Белгорода.

А пока что мы с Гордовым поручили Чуйкову собирать отставших бойцов, организовать из них отряды и действовать против врага. Чуйков и занялся этим делом. Он быстро организовал отряд, не помню, какого состава, отличился, хорошо иаиосил удары по врагу, который рвался к Волге. Это было уже перед осенью. Между тем получилось так, что новый командующий 62-й армией обманул командующего войсками Сталинградского фронта, которым стал в то время уже Еременко. Возник вопрос, кого же назначить командующим 62-й армией, которая отходила прямо к Сталинграду и должна была защищать его? К этому времени у меня сложилось уже очень хорошее впечатление о Чуйкове. Мы позвонили Сталину. Он спросил: «Кого же вы рекомендуете назначить на 62-ю армию, которая будет непосредственно в городе?» Говорю: «Василия Ивановича Чуйкова». Его почему-то всегда называли по имени и отчеству, что было в рядах армии редко. Не знаю, почему так повелось. Сталин спрашивает: «А не пропьет он армию?» Отвечаю: «Товарищ Сталин, я никогда не слышал, что он пьяница и может как-то пропить армию. Не знаю, откуда у вас такие сведения о Чуйкове. Чуйков себя очень хорошо показал как командующий отрядом, который он сам организовал. Думаю, что он и впредь будет хорошим организатором и хорошим командующим 62-й армией». Сталин: «Хорошо, назначайте. Утвердим его».

Это произошло уже при Еременко. Тогда противник прижал нас. Не помню точно, когда к нам прибыл с фронтовым штабом Еремеико. Сначала ему был отведен особый участок и выделены для него войска. Он находился в составе Сталинградского фронта с какими-то особыми полномочиями. Это было мне и тогда непонятно, и сейчас я никак не могу разобраться, что это значило. Пришел он, представился. Я с иим тогда и познакомился, но не понимал его полномочий. Но раз доложил, то и ладно. На войне приветствуется всё и все, кто может стрелять. Так он начал действовать там.

Кончалось жаркое лето 1942 года. Жаркое во всех отношениях.

(Продолжение следует)

ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

Генерал А. И. Деникин

КРУШЕНИЕ ВЛАСТИ И АРМИИ. ФЕВРАЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1917

ТОМ ПЕРВЫЙ. ВЫПУСК ВТОРОЙ

Глава XXXI. *Служба моя в должности главнокомандующего армиями Западного фронта*

Я сменил генерала Гурко. Уход его был предрешен еще 5 мая, и приказ об этом был уже заготовлен в министерстве. Но Гурко подал рапорт, что при создавшихся в армии условиях (после объявления декларации прав солдата) он снимает с себя всякую нравственную ответственность за ведение армий... Это обстоятельство дало повод Керенскому опубликовать 26 мая приказ, в силу которого Гурко «по несоответствии» с поста главнокомандующего смещался на должность начальника дивизии *. Мотивы: «Отечество в опасности, и это обязывает каждого военнослужащего исполнить свой долг до конца, не подавая пагубного примера слабости другим». И еще: «Главнокомандующий облечен высоким доверием правительства (?) и, опираясь на него, должен все свои усилия направлять к достижению возложенных иа него задач; сложение с себя всякой нравственной ответственности генералом Гурко является уклонением от обязанности вести порученное ему дело по крайнему своему разумению и силе».

Лицемерие этих заявлений, не говоря уже о предшествовавшем им факте признания правительством невозможности оставления генерала Гурко в командной должности, приобретает еще более ясный смысл при сопоставлении этого эпизода с аналогичными фактами: с уходом министров Гучкова, Милюкова и других, даже — ирония судьбы — самого Керенского, который во время одного из министерских кризисов, вызванных непримиримостью революционной демократии, сделал жест выхода из состава правительства, передав 21 июля заместителю Некрасову такое письменное заявление: «Ввиду невозможности, несмотря на все принятые мною к тому меры, пополнить состав Временного правительства так, чтобы оно отвечало требованиям исключительного исторического момента, переживаемого страною, я не могу больше нести ответственности перед государством по своей совести и разумению и потому прошу Временное правительство освободить меня от всех должностей, мною занимаемых». И «отбыл из Петрограда», как гласила хроника. Наконец, 28 октября Керенский, как известно, тайно бежал, бросив пост Верховного главнокомандующего.

Старый командный состав попал в тяжелое положение. Я не говорю о лицах с ярко выраженной политической физиономией, а просто

Продолжение. См. Вопросы истории, 1990, №№ 3—10.

* По ходатайству генерала Алексеева заменено увольнением в резерв.

о честных солдатах. Идти с Керенским (не личность, а система) и ломать собственными руками то здание, которое строили всю свою жизнь, они не могли. Уйти и, следовательно, перед лицом стоящего на русской земле врага и перед своею собственной совестью стать дезертирами — они также не могли. Создавался заколдованный круг, из которого не видно было выхода.

Приехав в Минск, в двух собраниях многочисленных чинов штаба и управлений фронта, потом перед командующими армиями я изложил свой символ веры. Кратко, резко, не помню какими словами, но в таком точном смысле: Революцию приемлю всецело и безоговорочно. Но революционизирование армии и внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны. И против этого буду бороться по мере сил и возможности, к чему приглашаю и всех своих сотрудников.

Пришло письмо от М. В. Алексеева. Сердечно поздравляет с назначением. Пишет: «Будите; спокойно и настойчиво требуйте, и — верится — оздоровление настанет без заигрываний, без красных бантиков, без красивых, но бездушных фраз... Далее так держать армию невозможно: Россия постепенно превращается в стан лодырей, которые движение своего пальца готовы оценивать на вес золота... Мыслью моею и сердцем с Вами, с Вашими работами, желаниями. Помоги Бог»...

«Военную общественность» представлял в Минске фронтовой комитет. Так как накануне моего прибытия эта большевиствующая организация вынесла резолюцию против наступления и за борьбу объединившейся демократии против своих правительств, то взаимоотношения наши определились ясно: я не вступал вовсе в непосредственные отношения с комитетом. Комитет варился в собственном соку, разрешая вопрос главенства своих социал-революционной и социал-демократической фракций, выносил резолюции, своим демагогическим содержанием ставившие в недоумение даже армейские комитеты, распространял пораженческую литературу *, возбуждал солдат против начальников. Комитет по закону не подлежал ни ответственности, ни суду. В таком же духе шло воспитание комитетов большого числа собравшихся со всех армий «слушателей курсов агитаторов» **, которые должны были потом разнести воспринятое учение по всему фронту...

Мелочная подробность, вскрывающая подоплеку не одного из проявлений «гражданской скорби и гнева». Представители курсов обращались часто к начальнику штаба с просьбами и «требованиями». Когда раз требования лишней пары сапог приняли слишком резкий характер, Марков отказал. На другой же день в № 25 газеты «Фронт» появилась «резолюция общего собрания слушателей курсов агитаторов», что они лично убедились в нежелании штабов считаться с выборными организациями. Курсисты заявили, что в лице их самих и тех, кто их послал, фронтовой комитет будет иметь поддержку «против контрреволюции» вплоть до вооруженного воздействия... Какая уж тут совместная работа!

Я присутствовал в заседании фронтового комитета только один раз, сопровождая генерала Брусилова. После вступительной речи Верховный главнокомандующий предложил комитету высказаться, если имеются какие-либо пожелания или вопросы. Председатель ответил, что в сущности никаких особенных вопросов нет, разве вот относительно отпусков и суточных денег... Всем стало несколько неловко. Тогда попросил слова кто-то из членов комитета, извинился за мелочность председателя и начал говорить на общую больную тему, о демократизации армии и взаимоотношениях комитета и командования.

* См. главу XXIV.
** Право, предоставленное Положением о комитетах.

Я указал, что между нами не может быть ничего общего, так как комитет в постановлении своем от 8 июня пошел против правительства и против наступления. Тогда председатель предъявил новое постановление, составленное накануне, которым комитет допускал наступление.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но тут встает какой-то поручик и заявляет, что доверия к главнокомандующему не может быть. Поручик командирован в Минск из Тифлиса комитетом Кавказского фронта и «кооптирован» минским комитетом. Прибыл для расследования моей «контрреволюционности». Прочел уличающий документ — перехваченную майскую телеграмму мою (еще по должности начальника штаба Верховного) к генералу Юденичу. В ней, между прочим, говорилось: «...Верховный главнокомандующий обратился уже с подробным письмом к военному министру с просьбой устранить вредную работу комитетов, парализующих распоряжения военного начальства и оказание содействия в борьбе с течениями безусловно вредными в государственном отношении...» Я разъяснил, что вопрос касался местных гарнизонных рабочих и солдатских депутатов Кавказа, которые не выпускали 104 тысячи пополнений на совершенно обезлюдевший фронт. Брусилов вспылил и наговорил поручику и комитету резкостей. Потом извинился, и в конечном результате допустил в секретный архив Ставки комиссию комитета, которая, вернувшись в Минск, явилась ко мне не то с объяснением, не то с полуизвинением. Скучно, не правда ли? Но нам не было скучно, а мучительно тяжело в этой пошлой обстановке, не дававшей ни душевного равновесия, ни возможности отдаться всецело назревшей операции.

Фронтовой комитет, приняв, наконец, идею наступления, потребовал образования из состава своего и армейских комитетов «боевых контактных комиссий», которые должны были получить право участия в разработке операций, контроля над начальниками и штабами частей, выполнявших боевые задачи, и т. д. *. Я, конечно, отказал. Началась новая история, которая чрезвычайно обеспокоила военного министра, приславшего экстренно в Минск и полковника Барановского — начальника своего кабинета **, и комиссара Станкевича ***. Друзья Барановского впоследствии передавали, что вопрос был поставлен ни более, ни менее, как о возможности оставления меня в должности, ввиду «крупных трений с фронтовым комитетом». Станкевич умиротворил комитет, и боевые контактные комиссии были допущены до участия в наступлении войск, но без права контроля и участия в разработке операции.

Если мне было нелегко, то вся тяжесть сложных взаимоотношений с «революционной демократией армий» легла на голову моего начальника штаба и друга — генерала Маркова. Он положительно изнемогал от той бесконечной сутолоки, которая наполняла его рабочий день. Демократизация разрушила все служебные перегородки и вызвала беспощадное отношение ко времени и труду старших начальников. Всякий, как бы ничтожно ни было его дело, не удовлетворялся посредствующими инстанциями и требовал непременно доклада у главнокомандующего или по крайней мере у начальника штаба. И Марков — живой, нервный, впечатлительный, с добрым сердцем — принимал всех, со всеми говорил, делал все, что мог; но иногда, доведенный до отчаяния людской пошлостью и эгоизмом, не сдерживал своего языка, теряя терпение и наживая врагов.

* Это было тем более оригинально, что в состав Комитета Западного фронта входили и представители рабочих.
** Молодой полковник генерального штаба, который руководил Керенским во всех военных вопросах.
*** Пробыл на Западном фронте два дня и отозван на Северный. Его сменил Каледин.

Не менее хлопот доставляли ему и новые революционные учреждения. В письме Маркова к Керенскому * мы встречаем следующие строки: «Никакая армия по своей сути не может управляться многоголовыми учреждениями, именуемыми комитетами, комиссариатами, съездами и т. д. Ответственный перед своей совестью и Вами как военным министром, начальник почти не может честно выполнять свой долг, отписываясь, уговаривая, ублажая полуграмотных в военном деле членов комитета, имея, как путы на ногах, быть может, и очень хороших душой, но тоже несведущих, фантазирующих и претендующих на особую роль комиссаров. Все это люди, чуждые военному делу, люди минуты и, главное, не несущие никакой ответственности юридически. Им все подай, все расскажи, все доложи, сделай так, как они хотят, а за результаты отвечай начальник. Больно за дело и оскорбительно для каждого из нас — иметь около себя лицо, как бы следящее за каждым твоим шагом... Проще нас всех, кому до сих пор не могут поверить, уволить и на наше место посадить тех же комиссаров, а те же комитеты — вместо штабов и управлений»...

В Минске передо мною прошла длинная вереница лиц, признаться, не оставившая в памяти никаких следов. Гражданское управление прифронтовой полосы вышло совсем из моего ведения, захваченное местными самоопределившимися учреждениями, и напоминало о себе только просьбами вооруженной силы для подавления вспыхнувших в районе фронта беспорядков. Политики — к моему глубокому удовлетворению — не было никакой. «Контрреволюция» явилась лишь однажды в лице В. М. Пуришкевича и его помощника, с нерусскими лицом и фамилией. Пуришкевич убеждал меня в необходимости тайной организации, формально — на основаниях устава, утвержденного еще до революции, «Общества русской государственной карты». На первой же странице устава красовалась разрешительная подпись кого-то из самых одиозных министров внутренних дел. Общество ставило себе действительной целью активную борьбу с анархией, свержение Советов и установление не то военной диктатуры, не то диктаторской власти Временного правительства. Пуришкевич просил содействия для привлечения в состав общества офицеров. Я ответил, что нисколько не сомневаюсь в глубоко патриотических его побуждениях, но что мне с ним не по пути. Он ушел без всякой обиды, пожелав мне успеха, и больше нам не пришлось встретиться никогда. Пуришкевич в 1919 году приехал на Юг, держал вначале «нейтралитет», но к концу года повел сильную кампанию отчасти лично против меня, но более против левой половины «Особого совещания» **, прекратившуюся только с его смертью в Новороссийске от сыпного тифа.

Впрочем, случился еще один маленький «политический эпизод». По поводу избрания Каледина Донским атаманом я послал ему поздравительную телеграмму, на которую получил ответ, шедший подозрительно долго, в таких выражениях: «Сердечно благодарю за память. Пошли Вам Бог успеха. Дон всегда поддержит. Каледин». Эта телеграмма стала известной, почему-то весьма встревожила местную революционную демократию и заставила ее еще более насторожиться.

* * *

Из трех генералов, командовавших армиями, двое находились всецело в руках комитетов; но так как фронты их были пассивными, то временно можно было потерпеть их присутствие.

Наступление готовилось на фронте 10-й армии генерала Киселевского[2] в районе Молодечно. Я поехал осмотреть войска и позиции,

* От 15 июля 1917 года.
** Правительство Юга России[1].

познакомиться с начальниками и с частями. Во многих предшествовавших главах приведен синтез всех пережитых впечатлений, разбросаны факты и эпизоды из жизни Западного фронта. Чтобы не повторяться, я остановлюсь лишь на нескольких деталях. Смотрел войска — в строю. Видел части, правда, как исключение, сохранившие почти нормальный, дореволюционный вид как по внешним формам, так и по внутреннему строю — в корпусе сурового и непреклонно отстаивавшего старую дисциплину Довбор-Мусницкого[3]; видел большинство частей — хотя и сохранивших подобие строя и некоторое послушание, но во внутренней жизни своей подобных развороченному муравейнику: после смотра, обходя ряды и беседуя с солдатами, я был буквально подавлен новым для меня настроением, охватившим их,— бесконечными жалобами, подозрительностью, недоверием, обидами на всех и на все: на отделенного начальника и корпусного командира, на чечевицу и на долгое стояние на фронте, на соседний полк и на Временное правительство за его непримиримое отношение к немцам. Видел, наконец, и такие сцены, которые не забуду до конца своих дней...

В одном из корпусов приказал показать мне худшую часть. Повезли в 703 Сурамский полк. Мы подъехали к огромной толпе безоружных людей, стоявших, сидевших, бродивших на поляне, за деревней. Одетые в рваное тряпье (одежда была продана и пропита), босые, обросшие, нечесанные, немытые, они, казалось, дошли до последней степени физического огрубения. Встретили меня начальник дивизии с трясущейся нижней губой и командир полка с лицом приговоренного к смерти. Никто не скомандовал «смирно», никто из солдат не встал; ближайшие ряды пододвинулись к автомобилям. Первым движением моим было выругать полк и повернуть назад. Но это могли счесть за трусость. И я вошел в толпу.

Пробыл в толпе около часу. Боже мой, что сделалось с людьми, с разумной Божьей тварью, с русским пахарем... Одержимые или бесноватые, с помутневшим разумом, с упрямой, лишенной всякой логики и здравого смысла речью, с истерическими криками, изрыгающие хулу и тяжелые, гнусные ругательства. Мы все говорили, нам отвечали — со злобой и тупым упорством. Помню, что во мне мало-помалу возмущенное чувство старого солдата уходило куда-то на задний план, и становилось только бесконечно жаль этих грязных, темных русских людей, которым слишком мало было дано и мало поэтому с них взыщется. Хотелось, чтобы здесь, на этом поле, были, видели и слышали все происходящее верхи революционной демократии. Хотелось сказать им: «Кто виноват, теперь не время разбирать. Мы, вы, буржуазия, самодержавие — это все равно. Дайте народу грамоту и облик человеческий, а потом социализируйте, национализируйте, коммунизируйте, если... если тогда народ пойдет за вами».

Это был тот самый Сурамский полк, который через несколько дней после моего посещения избил до полусмерти Соколова — редактора приказа № 1, творца нового строя армии, когда тот попробовал от имени Совета рабочих и солдатских депутатов призвать полк к исполнению долга и к участию в наступлении.

Из Сурамского полка я поехал, по настойчивому приглашению особой делегации, на корпусной съезд того же 2-го Кавказского корпуса. Там собрались выборные люди, и поэтому разговоры их были рассудительнее, стремления реальнее: в разных группах делегатов, среди которых замешалась свита, шла беседа о том, что здесь вот главнокомандующий, командующий, корпусной, штабы и все начальства; хорошо бы прикончить их тут же всех разом, вот и конец наступлению...

Знакомство со старшими начальниками также не было утешитель-

ным. Один командир корпуса вел твердо войска, но испытывал сильнейший напор войсковых организаций; другой боялся посещать свои части; третьего я застал в полной прострации и в слезах после какой-то резолюции недоверия: «40 лет службы. Любил солдата, меня любили, а теперь оплевали. Больше служить не могу». Пришлось отпустить его. А тут же, за стеной, молодой генерал, начальник дивизии, вел уже конфиденциальные разговоры с комитетчиками, тотчас же обратившимися ко мне с просьбой, весьма императивной, о назначении молодого генерала командиром корпуса...

Объезд произвел тяжелое впечатление. Все понемногу разваливалось и разбивало надежды. Тем не менее надо было работать. А работы было более чем достаточно. Западный фронт жил теорией и чужим опытом. Он не имел в своем активе ярких побед, которые одни только могут дать веру в правильность метода, не имел большого серьезного опыта прорыва неприятельской оборонительной линии. Много раз приходилось обсуждать совместно с исполнителями общий план и план артиллерийской атаки и устанавливать отправные данные. Особенно трудно обстояло дело с подготовкой самого штурма. Вследствие внутреннего развала частей, всякое передвижение, смена, рытье плацдармов и подступов, перестановки батарей* — все это или совершенно не выполнялось, или достигалось путем невероятных усилий, уговоров, митингов. Всякий малейший предлог был использован для отказа от подготовки к наступлению. Начальникам в силу технического необорудования позиций приходилось совершать огромную и противоестественную работу: не направлять свои части по тактическим соображениям, а эти последние подгонять к качеству начальников, большему или меньшему развалу частей и случайному состоянию лучше или хуже оборудованных участков позиции.

Тем не менее, когда говорят о нашей технической отсталости вообще как об одном из факторов наших военных неуспехов 1917 года, к этому вопросу надо относиться весьма осторожно: несомненно, армия наша отстала; но в 1917 году она была несравненно лучше снабжена материально, богаче артиллерией и боевыми припасами, богаче наконец опытом своим и чужим, чем хотя бы в 1916 году. Техническая отсталость наша — свойство, относительно постоянное, одинаково присущее всем периодам мировой войны до начала революции, значительно ослабевшее к 1917 году, и его отнюдь нельзя бросать на чашу весов при оценке русской революционной армии и ее боевых действий.

Итак, шла Сизифова работа. Командный офицерский состав вложил в нее всю душу, ибо в успехе ее видел последний луч надежды на спасение армии и страны. Все технические трудности были в конце концов преодолимы. Только бы поднять дух.

Приехал Брусилов уговаривать полки. В результате поездки — смена, против моего желания, командующего 10 армией за полторы недели до решительного наступления. С трудом отстоял своего кандидата, доблестного командира 8-го корпуса генерала Ломновского[4], который прибыл в Молодечно лишь за несколько дней до операции. С приездом Брусилова вышло досадное недоразумение: штаб армии ошибочно уведомил войска, что едет Керенский. Невольный подмен вызвал сильное неудовольствие и брожение в войсках; многие части заявили, что их обманывают, и, если сам товарищ Керенский лично не велит им наступать, то они наступать не будут. 2-я Кавказская дивизия послала даже делегацию в Петроград за справкой. С трудом удалось успокоить их обещанием, что товарищ Керенский приедет на днях. Пришлось пригласить военного министра. Керенский приехал с неохо-

* Противодействие пехоты. Артиллерия сохранила почти полную боеспособность до последних дней.

той, уже разочарованный неудачным опытом словесной кампании на Юго-западном фронте. Несколько дней объезжал он войска, говорил, пожинал восторги, иногда испытывал неожиданные реприманды; прервал объезд, будучи приглашен в Петроград 4 июля, вернулся с новым подъемом и новой темой дня, использовав в полной мере «нож, воткнутый в спину революции»*. Но, окончив объезд фронта и вернувшись в Ставку, решительно заявил Брусилову: «Ни в какой успех наступления не верю».

Впрочем, такой же пессимизм Керенский проявил тогда уже и в другом вопросе — грядущих судеб страны. Помню, как в разговоре со мной и двумя, тремя из своих приближенных** он, разбирая этапы в общем ходе русской революции, совершенно убежденно говорил, что террора нам все равно не избегнуть.

Дни шли за днями, а начало наступления все откладывалось. Еще 17 июня я отдал приказ войскам фронта: «Русские армии Юго-западного фронта нанесли сегодня поражение врагу, прорвав его линии. Началась решительная битва, от которой зависит участь русского народа и его свободы. Наши братья на Юго-западном фронте победоносно двигаются вперед, не щадя своей жизни, и ждут от нас скорой помощи. Мы не будем предателями. Скоро услышит враг гром наших пушек. Призываю войска Западного фронта напрячь все силы и скорее подготовиться к наступлению, иначе проклянет нас народ русский, который вверил нам защиту своей свободы, чести и достояния»...

Не знаю, поняли ли всю внутреннюю драму русской армии те, кто читал этот приказ, опубликованный в газетах в полное нарушение элементарных условий скрытности операции. Вся стратегия перевернулась вверх дном. Русский главнокомандующий, бессильный двинуть свои войска в наступление и тем облегчить положение соседнего фронта, хотел, хотя бы ценою обнаружения своих намерений, удержать против себя немецкие дивизии, снимаемые с его фронта и отправляемые против Юго-западного и против союзников.

Немцы откликнулись тотчас же, прислав на фронт прокламацию, в которой говорилось: «Русские солдаты! Ваш главнокомандующий Западным фронтом снова призывает вас к сражениям. Мы знаем об его приказе, знаем также о той лживой вести, будто наши позиции к юго-востоку от Львова прорваны. Не верьте этому. На самом деле тысячи русских трупов лежат перед нашими окопами... Наступление никогда не приблизит мир... Если же вы все-таки последуете зову ваших начальников, подкупленных Англией, то тогда мы будем до тех пор продолжать борьбу, пока вы не будете лежать в земле»... 7 июля наконец раздался гром наших пушек. 9 июля начался штурм, а через три дня я возвращался из 10-й армии в Минск с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на ... чудо.

Глава XXXII. *Наступление русских армий летом 1917 г. Разгром*

Наступление русских армий, предположенное на май, все откладывалось. Первоначально имелась в виду одновременность действий на всех фронтах; потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления уступами во времени. Но фронты, имевшие значение второстепенное (Западный) или демонстративное (Северный) и которым надлежало начинать операцию раньше, для отвлечения внимания и сил противника от

* Петроградский мятеж 3—5 июля.
** Председатель комитета Печерский, комиссар Калинин.

главных направлений (Юго-западный фронт), не были готовы психологически. Тогда Верховное командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно и тем не давать противнику возможности дальних крупных перебросок.

Даже и такая, упрощенная революцией стратегия могла дать большие результаты в мировом масштабе войны если даже не прямым разгромом восточного фронта, то по крайней мере восстановлением его прежнего грозного значения, потребовав от центральных держав притока туда больших сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное беспокойство и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга. В результате начало операции определилось следующими датами: 16 июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 июля — на Северном и 9 июля — на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения (6—7 июля) Юго-западного фронта.

Как я уже говорил, к июню 1917 г. большинство революционной демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального обоснования эта идея имела Временное правительство, командный состав, все офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок Советов, комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве — меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых социал-революционеров, группы Чернова, Цедербаума (Мартова) и еще один маленький привесок — демократизацию армии.

У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но, во всяком случае, во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником, и в частности небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии. Юго-западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства революционной армии.

Между верхним Серетом и Карпатами (Броды — Надворна), на позициях, достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова, к осени 1916 г. севернее Днестра располагалась группа генерала Бем-Эрмоли, состоявшая из 4-й австрийской армии генерала Терстянского (на Бускском направлении, вне главного удара), 2-й австрийской армии, непосредственно подчиненной Бем-Эрмоли,— на Злочевском направлении и Южной германской армии графа Ботмера — на Бржезанском *. Южнее Днестра стояла 3-я австрийская армия генерала Кирбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа. Три последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австро-германские войска испытали уже летом и осенью 1916 г. удары русских армий, нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор потрепанные дивизии Ботмера частично заменены были менее уставшими частями с севера; австрийские армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием и подкрепленные влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли из себя особенно серьезной силы и, по оценке главной немецкой квартиры, обладали в очень слабой степени активными свойствами.

Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма (на Стоходе) главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены в надежде на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко.

* В состав ее входили и 2 турецкие дивизии.

Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного европейского фронта 6 германских дивизий и направил их на усиление группы Бем-Эрмоли: противнику хорошо известны были наши операционные направления...

Главное направление удара армий Юго-западного фронта, под начальством генерала Гутора, намечено было Каменец-Подольск — Львов. Армии были двинуты обоими берегами Днестра: XI-я генерала Эрдели [5] — на Злочев, 7-я генерала Селивачева [6] — на Бржезаны и 8-я генерала Корнилова — на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовом, к разрыву связи между фронтами Бем-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. Прочие армии Юго-западного фронта (1-я и Особая) стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Брод, имея задачей активную оборону и демонстрацию.

16 июня на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий началась артиллерийская канонада еще не слыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Зборовом и Бржезанами и у последнего пункта, на протяжении нескольких верст, фронт противника был прорван; мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 19-го атаки повторились на 60-верстном фронте, между верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров и 18 000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели неприятельскими позициями на многих участках и проникли в расположение противника на 2 — 5 верст, отбросив его на Злочевском направлении за Малую Стрыпу.

Разнесенное телеграфом по всей России известие о нашей победе вызвало всеобщее ликование и подняло надежды на возрождение былой мощи русской армии. Керенский доносил Временному правительству: «Сегодня великое торжество революции. 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине... Русские воины утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, дисциплину... Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических началах...» Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее организацию как роковое наследие...

После трех дней затишья на фронте 11-й армии возобновился горячий бой по обе стороны ж. д. линии на фронте Баткув — Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери; местами окопы после горячих схваток переходили из рук в руки; требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника... Этим боем, по существу, закончилась наступательная операция 7-й и 11-й армий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским огнем «переменного напряжения».

Между тем 23 июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. 25 июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирбаха и вышли на линию Иезуполь — Лысец; 26-го после

упорного кровопролитного боя войска Кирбаха, разбитые наголову, повернули, увлекая в своем стремительном бегстве и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Галичем, перебросив часть сил через Днестр, а 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австро-германцев, взяла с боя Калуш. В последующие два-три дня 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломнице и впереди ее.

В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й австрийской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 10 000 солдат и около ста орудий. Выход на Ломницу открывал Корнилову пути на Долину — Стрый и на сообщения армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим.

Генерал Бем-Эрмоли в это время все свои резервы стягивал на Злочевское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр, против 8-й русской армии. Они подоспели ко 2 июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды 3-й австрийской армии, и с этого дня на Ломнице начинаются позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения, с переменным успехом. Сосредоточение германской ударной группы между верхним Серетом и ж.-д. линией Тарнополь — Злочев закончилось 5 июля.

6-го, после сильной артиллерийской подготовки, эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск, преследуя корпуса 11-й армии, обратившиеся в паническое бегство. Штаб армии, за ним Ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом. Ибо уже 9-го комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству «всю правду о совершившихся событиях»: «Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника... На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части... Положение требует самых крайних мер... Сегодня главнокомандующим, с согласия комиссаров и комитетов, отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду... содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию».

11-я армия «при огромном превосходстве сил и техники уходила безостановочно» *. 8-го она была уже на Серете, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее этой реки, которые служили исходным положением для нашего славного наступления 1916 г[ода]. Бем-Эрмоли, преследуя нас частью сил на Тарнополь, главные силы

* Сводка Ставки.

двинул в южном направлении, между Серетом и Стрыпой, угрожая отрезать пути сообщения 7-й армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, затем перехватить пути отхода и 8-й армии. 9 июля австро-германцы достигли уже Микулинце, в переходе к югу от Тарнополя... Армии генералов Селивачева и Черемисова * попали в очень тяжелое положение: рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не могли, и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его ударов. В особенности тяжко было 7-й армии, отступавшей под двойным напором: с фронта — корпусов гр. Ботмера, с обнаженного правого фланга (с севера) — войск ударной группы Бем-Эрмоли 8-й армии предстояло пройти под напором противника более 140 верст.

10 июля австро-германцы продвинулись на линию Микулинце — Подгайце — Станиславов. 11-го германцы заняли Тарнополь, брошенный без боя 1-м гвардейским корпусом, а на другой день прорвали наши позиции на реке Гнезно и на Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и юго-востоку. В тот же день, преследуя 7-ю и 8-ю армии, противник занял линию от Серета (между Трембовлей и Чертковом) на Монастержиско — Тлумач.

12 июля, ввиду полной безнадежности положения, главнокомандующий отдал приказ об отступлении от Серета, и к 21-му армии Юго-западного фронта, очистив всю Галицию и Буковину, отошли к русской государственной границе. Путь их был обозначен пожарами, насилиями, убийствами и грабежами. Но среди них были немногие части, доблестно дравшиеся с врагом и своею грудью, своею жизнью прикрывавшие обезумевшие толпы беглецов. Среди них было и русское офицерство, своими трупами по преимуществу устилавшее поля сражений.

Армии в полном беспорядке отступали. Те самые армии, которые год тому назад в победоносном шествии своем взяли Луцк, Броды, Станиславов, Черновицы... Отступали перед теми самыми австро-германскими армиями, которые год тому назад были разбиты наголову и усеяли беглецами поля Волыни, Галиции, Буковины, оставляя в наших руках сотни тысяч пленных. Мы не забудем никогда, что 7, 8, 9 и 11 армии в Брусиловском наступлении 1916 года взяли 420 тысяч пленных, 600 орудий, $2^1/_2$ тысячи пулеметов и т. д. ... Этого обстоятельства, вероятно, не забудут и наши союзники: они знают хорошо, что Галицийская битва отозвалась громким эхом на Сомме и Горице... Комиссары Савинков и Филоненко телеграфировали Временному правительству: «Выбора не дано: смертная казнь изменникам... смертная казнь тем, кто отказывается жертвовать жизнью за Родину...»

В начале июля, когда обозначился неуспех русского наступления, в главной квартире Гинденбурга решено было предпринять новую большую операцию против Румынского фронта одновременным наступлением 3-й и 7-й австрийских армий через Буковину в Молдавию и правой группы Макензена на нижнем Серете. Целью ставилось овладение Молдавией и Бессарабией. Но еще 11 июля 4-я русская армия генерала Рагозы и румынская — Авереско перешли в наступление между реками Сушицей и Путной против 9-й австрийской армии. Атака их увенчалась успехом: армии овладели укрепленными позициями противника, продвинулись на несколько верст, взяли 2000 пленных и более 60 орудий, но развития операция эта не получила. По условиям театра и направления, эти действия имели скорее характер демонстрации для облегчения положения Юго-западного фронта, и, кроме того, войска 4-й русской армии вскоре утратили наступательный порыв. В течение июля и до 4 августа войска эрцгерцога Иосифа и Макензена вели атаки в направлении Радауцком, Кимполунгском, Окненском и

* Заменил генерала Корнилова, назначенного 7 июля главнокомандующим Юго-западным фронтом.

севернее Фокшан, имели местные успехи, но никаких серьезных результатов не достигли. Хотя русские дивизии неоднократно отказывали в повиновении и иногда бросали позиции во время боя, но все же несколько лучшее общее состояние Румынского фронта — периферии по отношению к Петрограду, наличие более прочных румынских войск и естественные условия театра позволили удержать фронт.

Это обстоятельство, в связи с выяснившейся неустойчивостью австрийских армий, в особенности 3 и 7 *, и полным расстройством сообщений группы Бен-Эрмоли и левого крыла эрцгерцога Иосифа, заставили главную квартиру Гинденбурга отложить на неопределенное время операцию, и на всем протяжении Юго-западного фронта наступило затишье; на Румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от Збруча на север, на Рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больших резервов, столь нужных на Западно-европейском фронте, наносить нам частные удары и тем давать моральные толчки к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году.

Попытки нашего наступления на прочих фронтах окончились также полной неудачей. 7 июля началась операция у меня на Западном фронте. Подробности изложены в следующей главе. По поводу этой операции Людендорф говорит **: «Из всех атак, направленных против прежнего Восточного фронта (Эйгорна), атаки 9 июля южнее Сморгони, у Крево, были особенно жестоки... Положение в течение нескольких дней представлялось очень тяжелым, пока наши резервы и артиллерийский огонь не восстановили фронта. Русские оставили наши траншеи. Это не были уже русские — прежних дней».

На Северном фронте, в 5-й армии, все окончилось в один день: юго-западнее Двинска «наши части,— говорит сводка,— после сильной артиллерийской подготовки овладели немецкой позицией по обе стороны железной дороги Двинск — Вильно. Вслед за сим целые дивизии без напора со стороны противника самовольно отошли в основные окопы». Сводка отмечала геройское поведение некоторых частей, доблесть офицеров и их огромную убыль. Это событие, ничтожное в стратегическом отношении, представляет, однако, большой бытовой интерес. Дело в том, что 5-й армией командовал генерал Данилов ***, пользовавшийся исключительным признанием революционной демократии. По словам комиссара Северного фронта Станкевича, генерал Данилов был «единственным генералом, который, несмотря на революцию, остался полным хозяином в армии, сумев наладить так отношения, что все новые учреждения — и комиссар, и комитеты — не ослабляли, а лишь усиливали его власть... И он умел пользоваться этими силами, с полным самообладанием и уверенностью устраняя все препятствия. В 5-й армии все работало, училось, просвещалось,.. так как весь лучший и культурный элемент армии был двинут в дело...»

Таким образом, и полное восприятие революционных учреждений командующим не могло служить гарантией боеспособности его войск.

* * *

Еще 11 июля генерал Корнилов, после назначения главнокомандующим Юго-западного фронта, послал Временному правительству, с копией верховному командованию, известную свою телеграмму («Армия

* В Буковине и северных Карпатах.

** «Souvemirs de guerre».

*** Эксперт большевистской делегации при заключении Брест-Литовского мира. В 1920 г. служил в русской армии в Крыму.

обезумевших темных людей бежит»...) *, требуя введения смертной казни; в телеграмме он между прочим писал: «...Я заявляю, что отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни».

Невзирая на своеобразную форму этого обращения идея прекращения наступления была немедленно принята верховным командованием, тем более что фактическая приостановка всех операций явилась независимо от директив, как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так одновременно и вследствие планов германской главной квартиры.

Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах; сформировал особые ударные батальоны из юнкеров и добровольцев для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями; наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силою оружия.

Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым самочинно, его мужественное прямое слово, твердый язык, которым он, в нарушение дисциплины, стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия — все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства; даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове последнее средство, единственный выход из создавшегося отчаянного положения. Можно сказать, что день 8 июля ** предрешил судьбу Корнилова: в глазах многих он стал народным героем, на него возлагались большие надежды, от него стали ждать спасения страны.

Находясь в Минске и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, я все же ясно почувствовал, что центр тяжести морального влияния переносится в Бердичев ***; Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый, странный способ руководительства: из Бердичева получалось в копии «требование» или уведомление о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевом, облеченное в форму закона или приказа...

На солдат июльская трагедия произвела, несомненно, несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд — слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии, в ноябре, мне пришлось под чужим именем, переодетым в штатское платье, в качестве бежавшего из Быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Шли разговоры, воспоминания. И я не слышал ни разу циничного откровенного признания солдатами их участия в июльском предательстве; все находили какие-либо оправдания событиям, главным образом в чьей-либо «измене» — преимущественно... офицерской; о своей — никто не говорил. Во-вторых, появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет и поэтому несколько присмирели, заняв выжидательное положение. Наконец, прекращение серьезных боевых операций и вечно нервного напряжения

* См. главу XIX.

** Вступление [Корнилова] в должность главнокомандующего Юго-западным фронтом и посылка первого «требования» Временному правительству.

*** Штаб Юго-западного фронта.

вызвало временно реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении.

Это был второй момент в жизни армии (первый — в начале марта), который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции. Создавшиеся благоприятные условия для перелома в настроении армии многие поверхностные наблюдатели армейской жизни сочли за совершившийся факт перелома. Так, например, отнеслись к августовскому периоду комиссары Северного и Юго-западного фронтов. Уже 18 июля Гобечио, комиссар последнего фронта, доносил, что «в настроении войск наступает решительный перелом, который дает основание надеяться, что армия выполнит возложенный на нее революцией долг». Для людей, потерявших перспективу, слишком уже разительна была разница между армией — в ее бешеном, паническом бегстве и армией, несколько отдышавшейся и устраивающейся на Збруче...

Но по мере того как замирали последние выстрелы на фронте наступления, люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя. Первым опомнился г. Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед Советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий, оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора тяготели над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките, в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий.

Революционная демократия стала вновь в резкую оппозицию к новому курсу, видя в нем посягательство на свободы и угрозу своему бытию. Точно такое же положение заняли войсковые комитеты, ограничением деятельности которых и должны были начаться преобразования. Новый курс получил в глазах этих кругов значение прямой контрреволюции. А солдатская масса вскоре разобралась в новом положении, увидела, что «страшные слова» — только слова, что смертная казнь — только пугало, ибо нет той действительной силы, которая могла бы сломить их своеволие. И страх вновь был потерян. Пронесшаяся гроза не разрядила душной напряженной атмосферы; нависали новые тучи, вот-вот готовые разразиться оглушительным громом.

Глава XXXIII. *Совещание в Ставке 16 июля министров и главнокомандующих*

После возвращения моего с фронта в Минск, я получил приказание прибыть в Ставку, в Могилев, на совещание, к 16 июля. Керенский предложил Брусилову пригласить по его усмотрению авторитетных военачальников для того, чтобы выяснить действительное состояние фронта, последствия июльского разгрома и направление военной политики будущего. Как оказалось, прибывший по приглашению Брусилова генерал Гурко не был допущен на совещание Керенским; генералу Корнилову послана была Ставкой телеграмма, что ввиду тяжелого положения Юго-западного фронта приезд его не признается возможным и что ему предлагается представить письменные соображения по возбуждаемым на совещании вопросам. Вспомним, что в эти дни, между 14 и 15 июля, шло полное отступление 11-й армии от Серета к Збручу, и всех волновал вопрос, успеет ли 7-я армия перейти нижний Серет, а 8-я — меридиан Залещиков, чтобы выйти из-под удара резавших им пути германских армий.

Положение страны и армии было настолько катастрофическим, что я решил, не считаясь ни с какими условностями подчиненного положения, развернуть на совещании истинную картину состояния армии во всей ее неприглядной наготе. Явился Верховному главнокомандующему. Брусилов удивил меня: «Антон Иванович, я сознал ясно, что дальше идти некуда. Надо поставить вопрос ребром. Все эти комиссары, комитеты и демократизации губят армию и Россию. Я решил категорически потребовать от них прекращения дезорганизации армии. Надеюсь, вы меня поддержите?» Я ответил, что это вполне совпадает с моими намерениями и что я приехал именно с целью поставить вопрос о дальнейшей судьбе армии самым решительным образом. Должен сознаться, что этот шаг Брусилова примирил меня с ним, и поэтому я исключил мысленно из своей будущей речи все то горькое, что накопилось исподволь против верховного командования.

Ждали мы сбора совещания долго, часа полтора. Потом выяснилось, что произошел маленький инцидент. Министра-председателя не встретили на вокзале ни генерал Брусилов, ни его начальник штаба Лукомский, задержанные срочными оперативными распоряжениями. Керенский долго ждал и нервничал. Наконец, послал своего адъютанта к генералу Брусилову с резким приказанием немедленно прибыть с докладом. Инцидент прошел малозамеченным, но те, кто был близок к политической арене, знают, что на ней играют только люди — со всеми их слабостями и что нередко игра продолжается и за кулисами.

В совещании приняли участие и присутствовали: министр-председатель Керенский, министр иностранных дел Терещенко, Верховный главнокомандующий генерал Брусилов и его начальник штаба генерал Лукомский, генералы Алексеев и Рузский, главнокомандующий Северным фронтом генерал Клембовский, Западным — я, с начальником штаба генералом Марковым, адмирал Максимов, генералы Величко[8], Романовский,[9], комиссар Юго-западного фронта Савинков и два-три молодых человека из свиты г. Керенского.

Генерал Брусилов обратился к присутствующим с краткою речью, которая поразила меня своими слишком общими и неопределенными формами. В сущности, он не сказал ничего. Я рассчитывал, что свое обещание Брусилов исполнит в конце, сделав сводку и заключение. Как оказалось впоследствии, я ошибся — генерал Брусилов более не высказывался. Затем слово было предоставлено мне. Я начал свою речь.

* * *

«С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности я приступаю к своему докладу и прошу меня извинить: я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово теперь — при самодержавии революционном.

Вступив в командование фронтом, я застал войска его совершенно развалившимися. Это обстоятельство казалось странным, тем более что ни в донесениях, поступавших в Ставку, ни при приеме мною должности положение не рисовалось в таком безотрадном виде. Дело объясняется просто: пока корпуса имели пассивные задачи, они не проявляли особенно крупных эксцессов. Но когда пришла пора исполнить свой долг, когда был дан приказ о занятии исходного положения для наступления, тогда заговорил шкурный инстинкт, и картина развала раскрылась.

До десяти дивизий не становились в исходное положение. Потребовалась огромная работа начальников всех степеней, просьбы, уговоры, убеждения... Для того, чтобы принять какие-либо решительные меры, нужно было во что бы то ни стало хоть уменьшить число бунтующих войск. Так прошел почти месяц. Часть дивизий, правда, исполнила боевой приказ. Особенно сильно разложился 2-й Кавказский корпус и 169-я пех. дивизия. Многие части потеряли не только нравственно, но

и физически человеческий облик. Я никогда не забуду часа, проведенного в 703-м Сурамском полку. В полках по 8—10 самогонных спиртных заводов; пьянство, картеж, буйство, грабежи, иногда убийства...

Я решился на крайнюю меру: увести в тыл 2-й Кавказский корпус (без 51-й пех. дивизии) и его и 169-ю пех. дивизию расформировать, лишившись таким образом в самом начале операции без единого выстрела около 30 тысяч штыков... На корпусный участок кавказцев были двинуты 28-я и 29-я пех. дивизии, считавшиеся лучшими на всем фронте... И что же: 29 дивизия, сделав большой переход к исходному пункту, на другой день почти вся (два с половиной полка) ушла обратно; 28-я дивизия развернула на позиции один полк, да и тот вынес безапелляционное постановление — «не наступать».

Все, что было возможно в отношении нравственного воздействия, было сделано. Приезжал и Верховный главнокомандующий и после своих бесед с комитетами и выборными 2 корпусов вынес впечатление, что «солдаты хороши, а начальники испугались и растерялись»... Это неправда. Начальники в невероятно тяжелой обстановке сделали все, что могли. Но г. Верховный главнокомандующий не знает, что митинг 1-го Сибирского корпуса, где его речь принималась наиболее восторженно, после его отъезда продолжался... Выступали новые ораторы, призывавшие не слушать «старого буржуя» (я извиняюсь, но это правда... Реплика Брусилова — «Пожалуйста»...) и осыпавшие его площадной бранью. Их призывы также встречались громом аплодисментов.

Военного министра, объезжавшего части и вдохновенным словом подымавшего их на подвиг, восторженно приветствовали в 28-й дивизии. А по возвращении в поезд его встретила депутация одного из полков, заявившая, что этот и другой полк через полчаса после отъезда министра вынесли постановление — «не наступать».

Особенно трогательна была картина в 29-й дивизии, вызвавшая энтузиазм,— вручение коленопреклоненному командиру Потийского пех. полка красного знамени. Устами трех ораторов и страстными криками потийцы клялись «умереть за Родину»... Этот полк в первый же день наступления, не дойдя до наших окопов, в полном составе позорно повернул и ушел за 10 верст от поля боя...

В числе факторов, которые должны были морально поднять войска, но фактически послужили к их вящему разложению, были комиссары и комитеты. Быть может, среди комиссаров и есть черные лебеди, которые, не вмешиваясь не в свое дело, приносят известную пользу. Но самый институт, внося двоевластие, трение, непрошенное и преступное вмешательство, не может не разлагать армии.

Я вынужден дать характеристику комиссаров Западного фронта. Один, быть может, хороший и честный человек — я этого не знаю,— но утопист, совершенно не знающий не только военной жизни, но и жизни вообще. О своей власти необычайно высокого мнения. Требуя от начальника штаба исполнения приказания, заявляет, что он имеет право сместить войскового начальника до командующего армией включительно... Объясняя войскам существо своей власти, определяет ее так: «Как военному министру подчинены все фронты, так я являюсь военным министром для Западного фронта»... Другой — с таким же знанием военной жизни — социал-демократ, стоящий на грани меньшевизма и большевизма. Это известный докладчик военной секции Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, который развал, внесенный в армию декларацией, счел недостаточным и требовал дальнейшей «демократизации»: отвода и аттестации начальников, отмены второй половины § 14-го, предоставлявшей право применять оружие против трусов и негодяев, требовал свободы слова не только

«во внеслужебное время», но и на службе. Третий — не русский, по-видимому, с презрением относящийся к русскому солдату,— подходил к полку обыкновенно с таким градом отборных ругательств, к каким никогда не прибегали начальники при царском режиме. И странно: сознательные и свободные революционные воины принимают это обращение как должное, слушают и исполняют. Комиссар этот, по заявлению начальников, приносит несомненную пользу.

Другое разрушающее начало — комитеты. Я не отрицаю прекрасной работы многих комитетов, всеми силами исполняющих свой долг. В особенности отдельных членов их, которые принесли несомненную пользу, даже геройской смертью своей запечатлели свое служение Родине. Но я утверждаю, что принесенная ими польза ни в малейшей степени не окупит того огромного вреда, который внесло в управление армией многовластие, многоголовие, столкновения, вмешательства и дискредитирование власти. Я мог бы привести сотни постановлений, вносящих дезорганизацию, дискредитирующих власть. Ограничусь лишь более выпуклыми и характерными.

Совершенно определенно и открыто идет захват власти. Орган фронтового комитета в статье председателя требует предоставления комитетам правительственной власти. Армейский комитет 3-й армии в постановлении, поддержанном, к моему удивлению, командующим армией, просит «снабдить армейские комитеты полномочиями военного министра и Центрального комитета солдатских и рабочих депутатов, дающими право действовать от имени Комитета»... При обсуждении знаменитой «декларации», по поводу § 14 мнения во фронтовом комитете разделились. Часть отвергла вторую половину его вовсе, другая требовала добавления: «Членам фронтового комитета предоставляется при тех же обстоятельствах право применять все меры до применения вооруженной силы включительно против тех же лиц и даже самих начальников». Вот куда идет дело!..

В докладе секции Всероссийского съезда читаем требования, чтобы органам солдатских самоуправлений предоставлено было право отвода, аттестации начальников, право участия в управлении армией. И не думайте, что это только теория. Нет. Комитеты захватывают в свои руки все вопросы — боевые, бытовые, административные. И это наряду с полной анархией во внутренней жизни и службе частей, вызванной сплошным неповиновением.

Нравственная подготовка наступления шла своим чередом. Фронтовой комитет 8 июня вынес постановление — «не наступать»; 18 июня перекрасился и высказался за наступление. Комитет 2-й армии 1 июня решил не наступать, 20 июня отменил свое решение. Минский совет рабочих и солдатских депутатов 123 голосами против 79 не разрешал наступать. Все комитеты 169-й пехотной дивизии постановили выразить недоверие Временному правительству и считать наступление «изменой революции» и т. д.

Поход против власти выразился целым рядом смещений старших начальников, в чем в большинстве случаев приняли участие комитеты. Перед самым началом операции должны были уйти командир корпуса, начальник штаба и начальник дивизии важнейшего ударного участка. Подобной участи подверглись, в общем 60 начальников, от командира корпуса до командира полка...

Учесть все то зло, которое внесено было комитетами, трудно. В них нет своей твердой дисциплины. Вынесенное отрадное постановление большинством голосов — этого мало. Проводят его в жизнь отдельные члены комитета. И большевики, прикрываясь положением члена комитета, не раз безобразно сеяли смуту и бунт. В результате — многоголовие, многовластие; вместо укрепления власти — подрыв. И боевой на-

чальник, опекаемый, контролируемый, возводимый, свергаемый и дискредитируемый со всех сторон,— должен был властно и мужественно вести в бой войска...

Такая нравственная подготовка предшествовала операции. Развертывание не закончено. Но обстановка на Юго-западном фронте требовала немедленной помощи. С моего фронта враг увел туда уже 3—4 дивизии. Я решил атаковать с теми же войсками, которые остались по виду хотя бы, верными долгу. В течение трех дней наша артиллерия разгромила вражеские окопы, произвела в них невероятные разрушения, нанесла немцам тяжелые потери и расчистила путь своей пехоте. Почти вся первая полоса была прорвана, наши цепи побывали на вражеских батареях. Прорыв обещал разрастись в большую, так долгожданную победу... Но... обращаюсь к выдержкам из описания боя.

«Части 28-й пех. дивизии подошли для занятия исходного положения лишь за 4 часа до атаки, причем из 109-го полка дошло лишь две с половиной роты с 4-мя пулеметами и 30 офицерами; 110-й полк дошел в половинном составе; два батальона 114-го полка, занявших щели, отказались от наступления; в 112-м полку солдаты целыми десятками уходили в тыл. Части 28-й дивизии были встречены сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем и залегли у своей проволоки, будучи не в силах продвинуться вперед; только некоторым частям штурмовиков и охотников Волжского полка со взводом офицеров удалось захватить первую линию, но вследствие сильного огня им удержаться не удалось, и к середине дня части 29-й дивизии вернулись в исходное положение, понеся значительные потери, особенно в офицерском составе. На участке 52-й дивизии атака началась в 7 часов 5 минут. 202-й Горийский и 204-й Ардагано-Михайловский полки, а также две роты сухумцев, штурмовая рота сухумцев и штурмовая рота Потийского полка быстрым натиском прорвались через две линии окопов, перекололи штыками их защитников и в 7 часов 30 мин. стали штурмовать 3-ю линию.

Прорыв был настолько стремителен и неожидан, что противник не успел открыть своевременно заградительного огня. Следовавший за передовыми полками 201-й Потийский полк, подойдя к первой линии наших окопов, отказался идти далее и, таким образом, прорвавшиеся части не могли быть своевременно поддержаны. Двигавшиеся вслед за потийцами части 134-й дивизии, вследствие скопления в окопах потийцев, а также вследствие сильного артиллерийского огня противника, задачи своей не выполнили и частью рассыпались, частью залегли в наших щелях. Не видя поддержки сзади и с флангов, горийцы и ардаганцы пришли в смущение, и некоторые роты, потерявшие убитыми офицеров, начали медленно отходить, а за ними все остальные, однако, без особого давления со стороны немцев, которые только при отходе наших частей открыли по ним сильный артиллерийский и пулеметный огонь... Части 29-й дивизии не успели своевременно занять исходное положение, так как солдаты, вследствие изменившегося настроения, шли неохотно вперед. За четверть часа до назначенного начала атаки правофланговый 114-й полк отказался наступать; пришлось двинуть на его место Эриванский полк из корпусного резерва. По невыясненным еще причинам 116-й и 113-й полки также своевременно не двинулись»...

«После неудачи утечка солдат стала все возрастать и к наступлению темноты достигла огромных размеров. Солдаты, усталые, изнервничавшиеся, не привыкшие к боям и грохоту орудий после стольких месяцев затишья, бездеятельности, братания и митингов, толпами покидали окопы, бросая пулеметы, оружие и уходили в тыл»... «Трусость и недисциплинированность некоторых частей дошла до того, что начальствующие лица вынуждены были просить нашу артиллерию не стрелять, так как стрельба своих орудий вызывала панику среди солдат *...»

Вот другое описание — командира корпуса, принявшего его накануне операции и поэтому совершенно объективного в оценке подготовки ее. «...Все для успешного выполнения наступления было налицо: обстоятельно разработанный план; могущественная, хорошо работавшая артиллерия; благоприятная погода, не позволявшая немцам использовать свое превосходство в авиационных средствах; перевес наш в силах, своевременно поданные резервы, обилие огнестрельных припасов, скажу еще — удачно выбранный участок для наступления, позволявший укрыто и близко от окопов расположить большое количество артиллерии, имевший, благодаря сильно волнистому его характеру, много скрытых подступов к фронту, незначительное расстояние между нашей линией и линией противника и, наконец, отсутствие естественных препятствий между линиями, которые требовали бы их форсирования под огнем противника. Кроме того, обработка солдат комитетами, начальством и военным министром Керенским, которая в конечном итоге сдвинула на самый трудный первый шаг».

«Успех, крупный успех, был достигнут, да еще со сравнительно незначительными потерями с нашей стороны. Прорваны и заняты три линии укреплений; впереди оставались лишь отдельные оборонительные узлы, и бой мог скоро принять полевой характер; подавлена неприятельская артиллерия, взято в плен свыше 1400 германцев и захвачено много пулеметов и всякой добычи. Кроме того, врагу нанесены крупные потери убитыми и ранеными от артиллерийского огня, и можно с уверенностью сказать, что стоявшие против корпуса части временно выведены были из строя».

«Всего на фронте корпуса редким огнем стреляло 3—4 неприятельские батареи и изредка 3—4 пулемета. Ружейные выстрелы были одиночные»... Но пришла ночь... «Тотчас стали поступать ко мне тревожные заявления начальников боевых участков о массовом, толпами и целыми ротами, самовольном уходе солдат с неатакованной первой линии. Некоторые из них доносили, что в полках боевая линия занята лишь командиром полка со своим штабом и несколькими солдатами»... Операция была окончательно и безнадежно сорвана. «...Пережив таким образом в один и тот же день и радость победы, достигнутой при условиях неблагоприятного боевого настроения солдат, и весь ужас добровольного лишения себя солдатской массой плодов этой победы, нужной Родине, как вода и воздух, я понял, что мы, начальники, бессильны изменить стихийную психологию солдатской массы, и горько, и долго рыдал» **...

Эта бесславная операция тем не менее повлекла серьезные потери, которые теперь, когда каждый день возвращаются толпы беглецов, установить трудно. Через головные эвакуационные пункты прошло до 20 тысяч раненых. Я пока воздержусь от заключения по этому поводу, но процентное отношение рода ранения показательно: 10% тяжело раненных, 30% в пальцы и кисть руки, 40% прочих легко раненных, с которых повязок на пунктах не снимали (вероятно, много симулянтов), и 20% контуженных и больных.

Так кончилась операция. Никогда еще мне не приходилось драться при таком перевесе в числе штыков и материальных средств. Никогда еще обстановка не сулила таких блестящих перспектив. На 19-верстном фронте у меня было 184 батальона против 20 вражеских; 900 орудий против 300 немецких; 138 моих батальонов введены были

* Выдержки из описания боя штабом 20-го корпуса.
** Выдержки из описания боя 1-го Сибирского корпуса.

в бой против перволинейных 17 немецких. И все пошло прахом. Из ряда донесений начальников можно заключить, что настроение войск, непосредственно после операции, такое же неопределенное, как было.

Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос: «Могут ли их армии противостоять серьезному (с подвозом резервов) наступлению немцев?» Получил ответ: «Нет». «Могут ли армии выдержать организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время?» Два командующих армиями ответили неопределенно, условно. Командующий 10-й армией — положительно. Общий голос: «У нас нет пехоты»... Я скажу более: у нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало создать ее.

Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала.

Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма. Развалило армию военное законодательство последних 4 месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов ее существования. Вначале это делалось под гнетом Совета солдатских и рабочих депутатов — учреждения в первой стадии своего существования явно анархического. Потом обратилось в роковую ошибочную систему.

Вскоре после своего нового назначения военный министр сказал мне: «Революционизирование страны и армии окончено. Теперь должна идти лишь созидательная работа...». Я позволил себе доложить: «Окончено, но несколько поздно»... Генерал Брусилов прервал меня: «Будьте добры, Антон Иванович, сократить ваш доклад, иначе слишком затянется совещание». Я понял, что дело не в пространности доклада, а в его рискованной сущности, и ответил: «Я считаю, что поднятый вопрос — колоссальной важности. Поэтому прошу дать мне возможность высказаться полностью, иначе я буду вынужден прекратить вовсе доклад». Наступившее молчание я счел за разрешение и продолжал: «Объявлена декларация прав военнослужащих. Все до одного военные начальники заявили, что в ней — гибель армии. Бывший Верховный главнокомандующий, генерал Алексеев, телеграфировал, что декларация — «последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии»... Бывший главнокомандующий Юго-западным фронтом, генерал Брусилов, здесь, в Могилеве, в совете главнокомандующих, заявил, что еще можно спасти армию и даже двинуть ее в наступление, но лишь при условии — не издавать декларации. Но нас никто не слушал.

Параграфом 3-м разрешено свободно и открыто высказывать политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Хлынула в армию политика. Солдаты расформированной 2-й Кавказской грен. дивизии искренне недоумевали: «За что? Разрешили говорить где хочешь и что хочешь, а теперь разгоняют»... Не думайте, что такое распространительное толкование «свобод» присуще лишь темной массе. Когда 169-я пех. дивизия нравственно развалилась, а все комитеты ее в крайне резкой форме выразили недоверие Временному правительству и категорический отказ наступать, я приказал расформировать ее. Но встретил неожиданное осложнение: комиссары нашли, что юридически здесь нет состава преступления, что на словах и на бумаге все можно. Нужно, чтобы было налицо фактическое неисполнение боевого приказа.

Параграфом 6-м установлено, чтобы все без исключения печатные

произведения доходили до адресата... Хлынула в армию волна разбойничьей (большевистской) и пораженческой литературы. Чем стала питаться наша армия, и, по-видимому, за счет казенной субсидии и народных денег, это видно из отчета «Московского военного бюро», которое одно снабдило фронт литературой в таких размерах: с 24 марта по 1 мая выброшено 7972 экз. «Правды», 2000 экз. «Солдатской Правды», 30 375 экз. «Социал-демократа» и т. д. С первого мая по 11 июня — 61 525 экз. «Солдатской Правды», 32 711 экз. «Социал-демократа», 6999 экз. «Правды» и т. д. Того же направления литература была выброшена в деревню «через солдат» *.

Параграфом 14-м установлено, что никого из военнослужащих нельзя наказывать без суда. Конечно, эта «свобода» коснулась лишь солдат, так как офицеров продолжали жестоко карать высшей мерой — изгнанием. Что же вышло? Главное военно-судное управление, не уведомив даже Ставку, ввиду предстоящей демократизации судов, предложило им приостановить свою деятельность, за исключением дел исключительной важности, как, например, измена. Начальников лишили дисциплинарной власти. Дисциплинарные суды частью бездействовали, частью бойкотировались (не выбирались). Правосудие вконец было изъято из армии. Этот бойкот дисциплинарных судов и поступившее донесение о нежелании одной части выбирать присяжных весьма показательны. Законодатель может столкнуться с таким же явлением и в отношении новых военно-революционных судов. И в этих частях присяжных необходимо будет заменить назначенными членами.

В результате целого ряда законодательных мер упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав, которому ясно выражено недоверие и неуважение. Высшие военачальники, не исключая главнокомандующих, выгоняются, как домашняя прислуга. В одной из своих речей на Северном фронте военный министр, подчеркивая свою власть, обмолвился знаменательной фразой: «Я могу в 24 часа разогнать весь высший командный состав, и армия мне ничего не скажет».

В речах, обращенных к войскам Западного фронта, говорилось: «В царской армии вас гнали в бой кнутами, пулеметами... Царские начальники водили вас на убой, теперь драгоценна каждая капля вашей крови»... Я, главнокомандующий, стоял у пьедестала, воздвигнутого для военного министра, и сердце мое больно сжималось. Совесть моя говорила: «Это неправда! Мои железные стрелки, будучи в составе всего лишь восьми батальонов, потом двенадцати, взяли более 60 тысяч пленных, 43 орудия... и я никогда не гнал их в бой пулеметами. Я не водил на убой войска под Мезоляборчем, Лутовиско, Луцком, Чарторийском. Эти имена хорошо известны бывшему главнокомандующему Юго-западным фронтом».

Но все можно простить, все можно перенести, если бы это нужно было для победы, если бы это могло воодушевить войска и поднять их к наступлению... Я позволю себе одну параллель. К нам на фронт, в 703-й Сурамский полк, приехал Соколов с другими петроградскими делегатами. Приехал с благородной целью бороться с тьмой невежества и моральным разложением, особенно проявившимся в этом полку. Его нещадно избили. Мы все отнеслись с негодованием к дикой толпе негодяев. Все всполошились. Всякого ранга комитеты вынесли ряд осуждающих постановлений. Военный министр в грозных речах, в приказах осудил позорное поведение сурамцев, послал сочувственную телеграмму Соколову.

Другая картина... Я помню хорошо январь 1915 года, под Лутовиско. В жестокий мороз, по пояс в снегу, однорукий бесстрашный герой, полковник Носков, рядом с моими стрелками, под жестоким огнем вел

* Отчет в газете «Фронт» № 25.

свой полк в атаку на отвесные неприступные скаты высоты 804... Тогда смерть пощадила его. И вот теперь пришли две роты, вызвали генерала Носкова, окружили его, убили и ушли. Я спрашиваю господина военного министра: обрушился ли он всей силой своего пламенного красноречия, обрушился ли он всей силой гнева и тяжестью власти на негодных убийц, послал ли он сочувственную телеграмму несчастной семье павшего героя?

И когда у нас отняли всякую власть, всякий авторитет, когда обездушили, обескровили понятие «начальник», вновь хлестнули нас больно телеграммой из Ставки: «Начальников, которые будут проявлять слабость перед применением оружия, смещать и предавать суду»... Нет, господа! Тех, которые в бескорыстном служении Родине полагают за нее жизнь, вы этим не испугаете! В конечном результате старшие начальники разделились на три категории: одни, невзирая на тяжкие условия жизни и службы, скрепя сердце до конца дней своих исполняют честно свой долг; другие опустили руки и поплыли по течению; а третьи неистово машут красным флагом и по привычке, унаследованной со времен татарского ига, ползают на брюхе перед новыми богами революции так же, как ползали перед царями.

Офицерский состав... мне страшно тяжело говорить об этом кошмарном вопросе. Я буду краток. Соколов, окунувшийся в войсковую жизнь, сказал: «Я не мог и представить себе, какие мученики ваши офицеры... Я преклоняюсь перед ними». Да! В самые мрачные времена царского самодержавия опричники и жандармы не подвергали таким нравственным пыткам, такому издевательству тех, кто считался преступниками,* как теперь офицеры, гибнущие за Родину, подвергаются со стороны темной массы, руководимой отбросами революции. Их оскорбляют на каждом шагу. Их бьют. Да, да, бьют. Но они не придут к вам с жалобой. Им стыдно, смертельно стыдно. И одиноко, в углу землянки, не один из них в слезах переживает свое горе...

Неудивительно, что многие офицеры единственным выходом из своего положения считают смерть в бою. Каким эпическим спокойствием и скрытым трагизмом звучат слова боевой реляции: «Тщетно офицеры, следовавшие впереди, пытались поднять людей. В это время на редуте № 3 появился белый флаг. Тогда 15 офицеров с небольшой кучкой солдат двинулись одни вперед. Судьба их неизвестна — они не вернулись» *... Мир праху храбрых! И да падет кровь их на головы вольных и невольных палачей.

Армия развалилась. Необходимы героические меры, чтобы вывести ее на истинный путь: 1) Сознание своей ошибки и вины Временным правительством, не понявшим и не оценившим благородного и искреннего порыва офицерства, радостно принявшего весть о перевороте и отдающего несчетное число жизней за Родину. 2) Петрограду, совершенно чуждому армии, не знающему ее быта, жизни и исторических основ ее существования, прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь Верховному главнокомандующему, ответственному лишь перед Временным правительством. 3) Изъять политику из армии. 4) Отменить «декларацию» в основной ее части. Упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних **. 5) Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка и приличия. 6) Делать назначения на высшие должности не только по признакам молодости и решимости, но, вместе с тем, по боевому и служебному опыту. 7) Создать в резерве начальников отборные, законопослушные части трех родов оружия как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации. 8) Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла — войск и гражданских лиц, совершающих тождественные преступления.

* Описание 38-го корпуса.
** Разъяснение, данное во время речи военного министра.

Если вы спросите меня, дадут ли все эти меры благотворные результаты, я отвечу откровенно: «Да, но далеко не скоро. Разрушить армию легко, для возрождения нужно время. Но по крайней мере они дадут основание, опору для создания сильной и могучей армии. Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она ни была. Хотя бы даже с отступлением к далеким рубежам. Пусть союзники не рассчитывают на скорую помощь нашу наступлением. Но и обороняясь и отступая, мы отвлекаем на себя огромные вражеские силы, которые, будучи свободны и повернуты на Запад, раздавили бы сначала союзников, потом добили бы нас. На этом новом крестном пути русский народ и русскую армию ожидает, быть может, много крови, лишений и бедствий. Но в конце его — светлое будущее. Есть другой путь — предательства. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей... Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство.

Судьба страны зависит от ее армии. И я, в лице присутствующих здесь министров, обращаюсь к Временному правительству: Ведите русскую жизнь к правде и свету,— под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых — не бойтесь! — стерто имя самодержца, стерто прочно и в сердцах наших. Его нет больше. Но есть Родина. Есть море пролитой крови. Есть слава былых побед. Но вы, вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними. ...Если в вас есть совесть!»

* * *

Я кончил. Керенский встал, пожал мою руку и сказал: «Благодарю вас, генерал, за ваше смелое, искреннее слово». Впоследствии в своих показаниях верховной следственной комиссии * Керенский объяснял это свое движение тем, что одобрение относилось не к содержанию речи, а к проявленной мной решимости и что он хотел лишь подчеркнуть свое уважение ко всякому независимому взгляду, хотя бы и совершенно не совпадающему с правительственным. По существу же — по словам Керенского — «генерал Деникин впервые начертал программу реванша — эту музыку будущего военной реакции». В этих словах глубокое заблуждение. Мы вовсе не забыли галицийского отступления 1915 г. и причин, его вызвавших, но вместе с тем мы не могли простить Калуша и Тарнополя 1917 г. И наш долг, право и нравственная обязанность были не желать ни того, ни другого.

После меня говорил генерал Клембовский. Я выходил и слышал только конец его речи. Он очень сдержанно, но приблизительно в таком же виде, как и я, очертил положение своего фронта и пришел к выводу, который мог быть продиктован только разве полной безнадежностью: упразднить единоначалие и поставить во главе фронта своеобразный триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата...

Генерал Алексеев был нездоров, говорил кратко, охарактеризовав положение тыла и состояние запасных войск и гарнизонов, и подтвердил ряд высказанных мною положений.

Генерал Рузский, давно уже лечившийся на Кавказе и поэтому отставший от жизни армии, анализировал положение на основании прослушанных речей и привел ряд исторических и бытовых сопоставле-

* По делу Корнилова.

ний старой армии с новой революционной настолько горячо и резко, что дал повод Керенскому в его ответной речи обвинить Рузского в призыве к восстановлению... царского самодержавия. Не могли понять новые люди глубокой боли за армию старого солдата. Керенский, вероятно, не знал, что Рузского не признавали и, в свою очередь, страстно обвиняли правые круги как раз в обратном направлении — за ту роль, которую он сыграл в отречении императора...

Была прочтена корниловская телеграмма, в которой указывалось на необходимость: введения смертной казни в тылу, главным образом, для обуздания распущенных банд запасных; восстановления дисциплинарной власти начальников; ограничения круга деятельности войсковых комитетов и установления их ответственности; воспрещения митингов, противогосударственной пропаганды и въезда на театр войны всяких делегаций и агитаторов. Все это было, в той или другой форме, и у меня и получило общее наименование «военной реакции». Но у Корнилова появились предложения и другого рода: усиление комиссариата путем введения института комиссаров в корпуса и предоставления им права конфирмации приговоров военно-революционных судов, а, главное, генеральная чистка командного состава. Эти последние предложения произвели на Керенского впечатление «большей широты и глубины взглядов», чем те, которые исходили из «старых, мудрых голов», опьяненных, по его мнению, «вином ненависти» *... Произошло очевидное недоразумение: корниловская «чистка» должна была коснуться вовсе не людей крепких военных традиций (качество это ошибочно отождествлялось с монархической реакцией), а наемников революции — людей без убеждений, без воли и без способности брать на себя ответственность.

Говорил и от своего имени комиссар Юго-Западного фронта Савинков. Соглашаясь с нарисованной нами общей картиной состояния фронта, он указывал, что не вина революционной демократии, если после старого режима осталась солдатская масса, которая не верит своему командному составу, что среди последнего не все обстоит благополучно и в военном, и в политическом отношениях и что главная цель новых революционных учреждений (комиссары, кроме того — «глаза и уши Временного правительства») восстановить нормальные отношения между двумя составными элементами армии.

Закончилось заседание речью Керенского. Он оправдывался, указывал на неизбежность и стихийность «демократизации» армии, обвинял нас, видевших, по его словам, источник июльского поражения исключительно в революции и ее влиянии на русского солдата, жестоко обвинял старый режим и в конце концов не дал нам никаких отправных точек для дальнейшей совместной работы.

Все участники совещания разошлись с тяжелым чувством взаимного непонимания. И я — с не меньшим. Но в душе осталось — увы, оказавшееся ошибочным — сознание, что голос наш все-таки услышан. Мои надежды подкрепило письмо Корнилова, полученное вскоре после его назначения Верховным главнокомандующим. «С искренним и глубоким удовольствием я прочел ваш доклад, сделанный на совещании в Ставке 16 июля. Под таким докладом я подписываюсь обеими руками, низко вам за него кланяюсь и восхищаюсь вашей твердостью и мужеством. Твердо верю, что с Божьей помощью нам удастся довести (до конца) дело воссоздания родной армии и восстановить ее боеспособность». Судьба жестоко посмеялась над нашей верой...

---

* «Прелюдия большевизма».

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Особое совещание» — «правительство» белогвардейского режима, установленного Деникиным на Северном Кавказе, Дону и Украине. Создано 31 августа 1918 г. в Екатеринодаре (с августа 1919 г. находилось в Ростове-на-Дону) как «высший орган гражданского управления» при верховном руководителе Добровольческой армии генерале М. В. Алексееве (до начала октября 1918 г.— его председатель), затем трансформировалось в совещательный орган при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России (ВСЮР) генерале Деникине. В состав «Особого совещания» входили, кроме упомянутых, генералы А. М. Драгомиров, А. С. Лукомский (они последовательно были его председателями в период с октября 1918 по сентябрь 1919 г.), И. П. Романовский, вице-адмирал А. М. Герасимов, генералы А. С. Санников, Г. И. Картаци, Н. М. Тихменев, бывший царский министр С. Д. Сазонов, монархисты А. А. Нератов, Н. Н. Чебышев, В. П. Носович, кадет К. Н. Соколов и другие. «Особое совещание» осуществляло на практике политику военной диктатуры. 30 декабря 1919 г. упразднено Деникиным и заменено «правительством при главнокомандующем ВСЮР» во главе с Лукомским (Новороссийск), а в марте 1920 г.— созданным Деникиным там же «Южнорусским правительством».

[2] Киселевский Н. М.— командующий 10-й армией Западного фронта с 8(21) апреля по 4(17) июля 1917 года.

[3] Довбор-Мусницкий Юзеф (Иосиф Романович) (1867—1937) — генерал-лейтенант (1917). В годы первой мировой войны, с августа 1917 г., командовал сформированным в Белоруссии 1-м Польским корпусом легионеров. В январе 1918 г. поднял мятеж против Советской власти. В конце этого года принял польское подданство. До начала 1919 г.— главнокомандующий великопольской армией. В 1920 г. вышел в отставку.

[4] Ломновский П. Н.— генерал-лейтенант, командующий 8-м корпусом, после снятия Верховным главнокомандующим Брусиловым Киселевского — командующий 10-й армией (4(17) июля — 31 июля (13 августа) 1917), затем до 5(18) августа временно исполнял обязанности главнокомандующего Западным фронтом.

[5] Эрдели И. Г.— генерал, командующий 11-й армией Юго-Западного фронта с 4(17) июня по 9(22) июля 1917 года.

[6] Селивачев В. И.— генерал, командующий 7-й армией Юго-Западного фронта с 26 июня (9 июля) по 9(22) сентября 1917 года.

[7] В действительности военным экспертом при заключении Брестского мира был генерал от инфантерии Н. А. Данилов (1867—1934). Во время первой мировой войны он был главным начальником снабжения армий Северо-Западного фронта (1914—1915 гг.), командиром корпуса (1916—1917 гг.), командующим 2-й армией Западного фронта (1917 г.). В феврале 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. В дальнейшем находился на преподавательской работе в военных академиях, профессор. С 1931 г.— инспектор штаба РККА. С 1933 г. в отставке. В русской армии в Крыму, видимо, служил генерал Ю. Н. Данилов — командующий 5-й армией Северного фронта с 29 апреля (12 мая) по 9(22) сентября 1917 г. (назначен после генерала А. М. Драгомирова).

[8] Величко К. И. (1856—1927) — инженер-генерал (1916). В годы первой мировой войны — начальник инженеров Юго-Западного фронта. Предложил новую форму инженерного оборудования местности для наступления — «инженерные плацдармы», испытанные при подготовке брусиловского прорыва. В 1917 г.— полевой инспектор инженерной части при Ставке Верховного главнокомандующего (высшая инженерная должность в армии). В ноябре 1917 г. перешел на сторону Советской власти. В феврале 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию, руководил инженерной обороной Петрограда, с марта — председатель коллегии по инженерной обороне государства при Главном инженерно-техническом управлении РККА; преподавал инженерное дело в Военной академии РККА. С января 1919 г.— член инженерного комитета Главного военно-инженерного управления, с 1923 г.— профессор фортификации в Военно-инженерной академии.

[9] Романовский И. П.— генерал-майор, начальник штаба Добровольческой армии (с февраля 1918 по 8 января 1919 г.), член «Особого совещания».

В примечании 9 к «Очеркам русской смуты» генерала А. И. Деникина («Вопросы истории», 1990, № 4) ошибочно помещены сведения о генерале К. В. Сахарове. В действительности командующим Румынским фронтом с 12(23) декабря 1916 по 1(14) апреля 1917 г. был генерал В. В. Сахаров, которого сменил на этом посту генерал Д. Г. Щербачев (с 11(24) апреля 1917 по 25 марта 1918 г.).

РОССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОВОРОТЕ

А. Ф. Керенский

Глава XIII. *Дни, когда решалась судьба России*

Около восьми утра в понедельник, 27 февраля 1917 г., меня разбудила жена и сказала, что звоиил Некрасов и просил передать, что заседания Думы откладываются, в Волынском полку восстание и мне следует немедленно прибыть в Думу. Хотя политическое положение в последние дни становилось все более угрожающим и нестабильным, я не сразу осознал все значение сообщенных Некрасовым новостей. Сцена для последнего акта спектакля была давно готова, однако, как это часто бывает, никто не ожидал, что время действия уже иаступило. И все же после непродолжительных размышлений я понял, что час истории, наконец, пробил. Наскоро одевшись, я отправился к зданию Думы, которое находилось в пяти минутах ходьбы от моего дома. Первой мыслью было: любой ценой продолжить сессию Думы и установить тесный контакт Думы с вооруженными силами.

Добравшись до Думы, я сразу же иаправился в Екатерининский зал, где встретил Некрасова, Ефремова, Вершиинна, Чхеидзе и нескольких других депутатов от оппозиции. Они согласились с моим предложением о проведении официального заседания Думы. Некрасов сказал мне, что Родзянко уже послал царю в Ставку в Могилеве и командующим фронтами телеграммы, в которых сообщил о том, что беспорядки в Петрограде учащаются.

В телеграмме, которую накануне направил царю в Ставку председатель Государственной думы, говорилось: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах идет беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя...». 27 февраля Родзянко направил царю телеграмму следующего содержания: «Занятия Государственной Думы указом вашего величества прерваны до апреля. Последний оплот порядка устранен. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направляются к дому министерства внутренних дел и Государственной думе. Гражданская война началась и разгорается. Повелите немедленно призвать новую власть на началах, доложенных мною вашему величеству во вчерашней телеграмме. Повелите в отмену вашего высочайшего указа вновь созвать законодательные палаты. Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом. Государь, не медлите. Если движение перебросится в армию, восторжествует немец, и крушение России, а с ней и династии неминуемо. От имени всей России прошу ваше величество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу вашу и родины, настал. Завтра может быть уже поздно. Председатель Государственной думы Родзянко».

Уходя утром из дома, я успел позвонить нескольким моим друзьям и попросил их отправиться в охваченные восстанием военные казармы и убедить войска идти к Думе. Только накануне революции депутаты Думы, наконец, поняли, что ее левое крыло — единственная группа, которой хорошо известны настроения масс и которая находится в курсе всех событий в городе. Мы действительно хорошо наладили по всей столице службу сбора информации, и телефонные сообщения о событиях поступали к нам каждые 10—15 миинут. Стоило войти в зал, как меня окружили люди и засыпали бесчисленными вопросами. Я рассказал, что волнения охватили весь город, что восставшие войска направляются к Думе и что, на мой взгляд, началась революция. Наш долг как представителей народа, заявил я, приветствовать восставших и вместе с ними решать общие задачи.

Поначалу весть о том, что к Думе движутся войска, вызвала у депутатов известную тревогу, но возбуждение было столь велико, что вскоре от тревоги ие осталось и следа.

Тем временем полки солдат без офицеров один за другим покидали казармы, заполняя улицы города. Некоторых офицеров арестовали, были отдельные случаи их убийства. Остальные бежали, столкнувшись с явно враждебным отношением и недоверием солдат. Повсюду к войскам присоединиялись штатские. От окраин к центру города двигались огромные толпы рабочих, во многих районах шла яростная перестрелка. Вскоре поступили сообщения о столкновениях с полицией. С колоколен и крыш домов полицейские обстреливали из пулеметов движущиеся толпы *. Какое-то время казалось, что толпы текут по улицам без какой-либо видимой цели, и трудно было предсказать, как развернутся события. Одно было очевидно: правительство намеревалось извлечь пользу из растущих беспорядков. Все считали, что клика Протопопова постарается использовать голодные бунты, развал в армии, а также «нелояльность» Думы в качестве предлога для того, чтобы открыто сделать шаг к заключению сепаратного мирного договора с Германией.

Представители левой оппозиции — Некрасов, Ефремов, Чхеидзе и я — внесли предложение в Совет старейшин: немедленно, не принимая во внимание царский указ, провести официальную сессию Думы. Большинство же, включая Родзянко и (несколько неожиданно) Милюкова, высказалось против такого шага. Аргументов не приводилось. Игнорируя произвол и преступления правительства, большинство Думы цеплялось за прошлое. Совет старейшин отверг наше предложение и решил, как планировалось ранее, провести «неофициальное заседание». Политически и психологически это означало, что оио будет проведено как закрытое собрание группы частных лиц, среди которых иемало людей влиятельных и пользующихся большим авторитетом, тем не менее всего лишь группы частных лиц. Соответственно и само это заседание не могло претендовать на официальное признание.

В тот момент, когда авторитет Думы в стране и в армии возрос и когда это могло бы сыграть далеко идущую положительную роль, отказ созвать официальное заседание Думы был равиосилен политическому самоубийству. В этом сказалась слабость Думы, в основном отражавшей лишь узкие интересы высших слоев общества, что мешало ей вы-

Продолжение. См. Вопросы истории, 1990, №№ 6—10.

* Утверждалось, что этого не было. Для всех, кто интересуется этим вопросом, сошлюсь на «Приказ № 2 по городу Петрограду», подписанный членом Временного военного комитета, офицером отряда кубанских казаков Карауловым, в котором говорилось inter alia [между прочим], что всякий, кто позволит пулеметчикам занять позицию, подлежит военному суду. Я лично знаю два дома, на крыше которых были установлены пулеметы: на набережной Мойки и иа Сергиевской улице. И тут и там жили лишь гражданские лица.

ражать чаяния нации в целом. Отказавшись взять в свои руки инициативу, Дума стала частной организацией наравне с Советом рабочих депутатов, который к тому времени только начал обретать силу. Осознав на следующий день совершенную ошибку, Родзянко предпринял попытку возродить Думу как официальный институт. Но было слишком поздно. К тому времени в столице возникли два центра власти: Дума, назначившая на неофициальном заседании Временный комитет в качестве своего временного руководящего органа, и Совет рабочих депутатов, возглавляемый его Исполнительным комитетом.

Не припомню всех вопросов, обсуждавшихся утром в тот понедельник в Совете старейшин, как и тех, которые рассматривались позднее на неофициальном заседании, длившемся с 12 до 2 часов, в памяти сохранилось лишь решение создать Временный комитет с неограниченными полномочиями. В него вошли Родзянко, Шульгин, Львов, Чхеидзе, Некрасов, Милюков, Караулов, Дмитрюков, Ржевский, Шидловский, Энгельгардт, Шингарев и я. В Комитете были представлены все партии, за исключением крайне правых. Эти правые депутаты, которые незадолго до того держались предельно вызывающе, неожиданно исчезли с политической арены.

В час дня солдат все еще не было, и поэтому, когда, наконец, кто-то крикнул мне из вестибюля, что они появились, я бросился к окну, с трудом веря в такую возможность. Из окна я увидел солдат: окруженные горожанами, они выстроились на противоположной стороне улицы. Было очевидно, что они чувствовали себя неуверенно в непривычной обстановке и были растерянны, лишившись руководства офицеров.

Не медля ни минуты, не накинув даже пальто, я выбежал через главный вход на улицу, чтобы приветствовать тех, кого мы ждали так долго. Подбежав к центральным воротам, я от лица Думы выкрикнул несколько приветственных слов. И когда я стоял, окруженный толпой солдат Преображенского полка, в воротах появились Чхеидзе, Скобелев и некоторые другие члены Думы. Чхеидзе произнес несколько приветственных слов, а я попросил солдат следовать за мной в здание Думы, чтобы разоружить охрану и защитить Думу, если она подвергнется нападению войск, сохранивших верность правительству. Построившись в шеренги, солдаты двинулись за мной. Через главный вход дворца мы вошли в помещение караульной службы. Я опасался, что придется прибегнуть к силе для разоружения охраны, однако, как выяснилось, она разбежалась еще до нашего появления. Я передал командование охраной какому-то унтер-офицеру, объяснив, где следует расставить часовых.

Вернувшись в Екатерининский зал, я обратился с речью к заполнившей здание Думы толпе. У этих людей, пришедших сюда из всех районов города, не было ни малейшего сомнения в том, что революция совершилась. Они хотели знать, как мы собираемся поступить со сторонниками царского режима, и требовали сурового их наказания. Я объяснил, что самых опасных из них возьмут под стражу, однако толпа ни при каких условиях не должна расправляться с ними. Я потребовал не допускать кровопролития. На вопрос, кто будет арестован первым, я ответил, что им должен стать бывший министр юстиции председатель Государственного совета Щегловитов. Я распорядился, чтобы его доставили непосредственно ко мне. Выяснилось, что некоторые из солдат Преображенского и Волынского полков по своей инициативе отправились арестовывать Протопопова, но тому удалось бежать. Однако в 4 часа пополудни я получил сообщение, что Щегловитов арестован и доставлен в Думу. Депутаты были этим крайне обескуражены, а умеренные призвали Родзянко освободить Щегловитова, поскольку как председатель законодательного органа он пользовался личной неприкосновенностью.

Я отправился к Щегловитову и обнаружил, что, окруженный толпой, он взят под стражу наспех созданной охраной. Там же я увидел Родзянко и нескольких других депутатов. На моих глазах Родзянко, дружески поздоровавшись с ним, пригласил его как «гостя» в свой кабинет. Я быстро встал между ними и сказал Родзянко: «Нет, Щегловитов не гость, и я не допущу его освобождения». Повернувшись к Щегловитову, я спросил: «Вы Иван Григорьевич Щегловитов?» «Да». «Прошу вас следовать за мной. Вы арестованы. Ваша безопасность гарантируется». Все отпрянули, Родзянко и его друзья в растерянности вернулись в свои кабинеты, а я отвел арестованного в министерские апартаменты, известные под названием «Правительственный павильон». Это был отдельный флигель, состоявший из нескольких комфортабельных комнат, соединенный полукруглой галереей с главным залом Думы. В этих комнатах располагались министры, приезжавшие выступать в Думе. Поскольку павильон как таковой не считался помещением собственно Думы, то он находился под юрисдикцией правительства. Его обслуживал свой штат слуг, и депутаты могли входить туда только по особому разрешению. Используя эти комнаты как место временного заключения, мы избежали таким образом превращения в тюремные камеры помещений самой Думы, а государственные чиновники получили возможность содержаться под стражей в своих собственных апартаментах. К Щегловитову вскоре присоединились Протопопов, Сухомлинов и целая плеяда светил старого бюрократического мира.

К трем часам дня Дума приобрела совершенно неузнаваемый вид. Зал заседаний заполонили гражданские лица и солдаты. Со всех сторон к нам обращались за указаниями и советами. Только что созданный Временный комитет был вынужден взять на себя функции исполнительной власти. Мы чувствовали себя в положении Генерального штаба ведущей военные действия армии: мы не видели поля боя, но из донесений, телефонных сообщений и рассказов очевидцев имели полное представление о том, что там происходит. И хотя мы не располагали детальными отчетами о каждом отдельном событии, перед нами была полная достоверная картина происходящего.

Характер поступавших сообщений мог кого угодно сбить с толку. Сотни людей требовали внимания, давали советы, предлагали свои услуги. Вокруг царило возбуждение, порой граничащее с истерией. Нельзя было терять голову, ибо потеря драгоценного времени и неуверенность в себе были равнозначны катастрофе. Нам приходилось на месте незамедлительно решать, какой кому дать ответ, какой отдать приказ, кого поддержать, кому отказать в поддержке, куда направить войска и подкрепления, как найти помещение для сотен арестованных, как наилучшим образом использовать возможности компетентных людей и, наконец, последнее, но отнюдь не менее важное: как накормить и где разместить тысячи людей, заполнивших Думу. Кроме того, нужно было подумать о сформировании нового правительства и о выработке программы, приемлемой для всех партий. В то же время надо было быть в курсе событий, происходивших вне Петрограда, особенно в Ставке и в царском поезде.

Думаю, было приблизительно 4 часа дня. Сейчас не помню, кто тогда подошел ко мне и попросил найти в Таврическом дворце какое-нибудь помещение для только что созданного Совета рабочих депутатов. С разрешения Родзянко им была выделена комната номер 13, где они и провели без промедления свое первое заседание. Естественно, подбор представителей от рабочих носил более или менее случайный характер, поскольку в столь короткий срок не было никакой возможности организовать настоящие выборы. Совет избрал временный Исполнительный комитет, его председателем выбрали Чхеидзе, а Скобелева и меня — заместителями председателя. О своем избрании я узнал позже,

поскольку на том заседании не присутствовал. На деле я редко бывал на заседаниях Совета или его Исполнительного комитета. С самого начала мои отношения с руководителями Совета были натянутыми. Их шокировало мое неприятие теоретического социализма, который они стремились навязать революции. Говоря об этом, я имею в виду тот Исполнительный комитет, который существовал первые несколько недель. Позднее и Исполком и Совет в целом изменились к лучшему.

Однако единственным общенациональным центром власти оставалась Дума. Ее Временный комитет действовал, не испытывая давления крайне левого крыла; комитет давал возможность развиваться революции своим путем, исходя из того, что время для нее созрело. И не случайно первыми до фронта дошли сообщения о деятельности Думы, и успех революции объяснялся главным образом тем, что солдаты на полях сражений вместе со своими командирами с самого начала приветствовали перемену. Люди, находившиеся на фронте, знали о катастрофическом положении страны, и они с большей готовностью, чем кто-либо, признали власть Думы.

К исходу дня 27 февраля весь Петроград перешел в руки восставших. Прежняя государственная машина прекратила работу, а здания некоторых министерств и правительственных учреждений были заняты революционерами. Некоторые здания, те, в частности, в которых размещались штаб-квартира охранки, полицейские участки, суды, были преданы огню. В Думе мы к тому времени учредили центральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихийность толпы принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнет всех нас, но мало-помалу напор ее стихал, давая нам несколько минут для передышки. Казалось, Таврический дворец стонал и вздрагивал от могучих ударов людских волн. Снаружи он более напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. Повсюду виднелись ящики с боеприпасами, ручные гранаты, пирамиды винтовок, пулеметы. Во всех углах расположились солдаты, среди которых, к сожалению, почти не было офицеров.

Поскольку днем, в бесконечном водовороте людей, новостей и событий решать основные государственные вопросы было невозможно, мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы набрасывали контуры новой России.

Перед нами прежде всего встали проблемы организации, на случай крайней необходимости, системы обороны и взятия под свой контроль гарнизона Петрограда. В тот первый день, однако, в нашем распоряжении практически не было офицеров или людей с соответствующими специальными знаниями. Первой нашей акцией в тот вечер было создание ad hoc [для данного случая] Военной комиссии, в которую первоначально вошли несколько штатских, обладающих хоть какими-то познаниями в военном деле, горстка офицеров и рядовых, а также Родзянко и я. В задачу Комиссии входило руководство операциями против протопоповской полиции, которая все еще оказывала вооруженное сопротивление революции.

В момент формирования Комиссии к зданию Думы подошел 1-й резервный пехотный полк. Он был первым полком, явившимся в полном составе во главе с командиром полка и другими офицерами. И все же, несмотря на нехватку офицеров, мы сумели на скорую руку укрепить оборону столицы, хотя горько было сознавать, что ей не выдержать массированного удара и что врагу ничего не стоит установить полный контроль над городом силами двух-трех боеспособных полков. В Петрограде прежнее правительство не располагало ни единым солдатом, готовым выступить против народа и Думы.

Мы в Думе понимали, что победа на нашей стороне, однако не имели ни малейшего представления, какими силами располагает прежнее правительство за пределами столицы. Мы не знали даже, где оно находится и что предпринимает. Наконец, поступило сообщение, что правительство заседает в Мариинском дворце. Туда немедленно был направлен отряд в сопровождении броневиков с приказом арестовать всех членов кабинета, однако в полночь солдаты возвратились обратно, будучи не в состоянии добраться до дворца из-за сильного ружейного огня. Позднее мы узнали, что члены бывшего правительства перебрались в Адмиралтейство под защиту войск и артиллерии, прибывших из Гатчины. В другом сообщении говорилось о приближении к городу царских войск, направленных из Финляндии, и мы поспешно стали создавать оборону в Выборгском районе столицы вдоль русско-финской железнодорожной линии.

Одновременно Временный комитет направил депутата IV Думы А. Бубликова с отрядом солдат, чтобы взять на себя функции управления центральным железнодорожным телеграфом. Этот вовремя предпринятый шаг позволил Думе поставить под свой контроль всю сеть железных дорог, поскольку ни один состав не мог отправиться из столицы без согласия Бубликова. Именно Бубликов, выполняя распоряжение Временного комитета, передал по телеграфу во все уголки страны первое сообщение о революции. Железнодорожники с большим энтузиазмом встретили революцию. Они в то же время поддерживали высочайшую дисциплину, и только благодаря их усилиям военные составы отправлялись на фронт точно по графику.

К этому времени мы зашли настолько далеко, что возврат к прошлому был уже невозможен. Разрыв между старым и новым режимами стал очевидным: Временный комитет, по сути дела, вырвал власть у царского правительства.

Всю ночь провели мы за обсуждениями и спорами в кабинете председателя Думы, подвергая тщательному разбору все поступающие новости и слухи. Создание незадолго перед тем Совета было расценено как критическое событие, ибо возникла угроза, что в случае, если мы немедленно не сформируем Временное правительство, Совет провозгласит себя верховной властью России. Дольше всех колебался Родзянко. Однако в конце концов около полуночи он объявил о своем решении принять пост председателя Временного комитета, который отныне, вплоть до создания Временного правительства, берет на себя верховную власть. И когда в полночь с 27 на 28 февраля часы пробили 12 раз, в России появился зародыш нового общенационального правительства.

Миновала первая ночь революции и, казалось, вечность отделила нас от дня предыдущего. Утром 28 февраля о своей солидарности с Думой объявили военные академии и большинство гвардейских полков. Поступили сообщения, что население и солдаты в соседних городах также присоединились к нам. Родзянко получил от главного командования и многих штабов телеграммы, которые рассеяли все тревоги относительно настроений в армии на фронте. В тот день, когда Николай II выехал из Ставки в Царское Село, жители Царского Села объявили о своей верности революции.

Несмотря на царивший в Петрограде хаос, стали возникать новые организации. Сопротивление нашей власти если и было, то крайне незначительное, и единственное, что нас тревожило, это возможные попытки сопротивления прежней власти в каких-нибудь других районах страны. Однако ситуация, сложившаяся в Царском Селе, позволяла надеяться, что подобное маловероятно. Вскоре мы узнали, что царь отдал приказ генералу Н. Я. Иванову, герою первой Галицийской кампании (1914 г.) возглавить специальную группу войск, захватить Петроград и

восстановить там порядок. По прибытии на рассвете 1 марта в Царское Село солдаты этой группы разбежались. Сам генерал бежал, направившись обратно в Могилев.

Тем временем проявления поддержки от частей военного гарнизона стали настолько многочисленными, что нам пришлось выработать определенный приветственный ритуал. Какая-нибудь войсковая часть, например, Семеновский гвардейский полк, прибывала в Думу крайне возбужденная, врывалась в Екатерининский зал и выстраивалась. Выходил Родзянко и обращался к ним с речью, призывая оказывать доверие власти, сохранять дисциплину и т. д. Его речь неизменно тонула в шквале восторженных криков и аплодисментов. Затем с ответным словом выступал командир части, что вызывало еще большее ликование. Как правило, солдаты просили, чтобы перед ними выступил еще кто-нибудь — Милюков, Чхеидзе или я. Получив, наконец, возможность говорить свободно со свободными людьми, я испытывал чувство пьянящего восторга. Прибытие этих подразделений, включая сенсационное появление казачьего отряда из личной охраны царя, значительно укрепило новую власть в Таврическом дворце.

Однако одновременно войска поставили перед нами множество острых проблем. Например, такую. Солдаты испытывали все большее беспокойство и становились все более неуправляемыми, и не в последнюю очередь из-за подозрений, что офицеры замышляют вместе с военным командованием контрреволюционный заговор. Когда по городу распространились слухи, будто в некоторых казармах офицеры отбирают у солдат оружие, председатель Военного комитета, консервативный депутат Думы полковник Энгельгардт тотчас издал приказ, обнародованный ранним утром 1 марта, в котором говорилось, что слухи эти совершенно необоснованны. Командующий Петроградским гарнизоном объявил, что в отношении офицеров, которые позволят себе подобные акты, будут приняты самые решительные меры, вплоть до смертной казни.

Кроме всего прочего, почти полное отсутствие офицеров помогло Совету проникнуть в воинские казармы. Его руководители быстро уяснили, какие преимущества даст им установление контроля над 150-тысячным Петроградским гарнизоном, и, овладев им, они в полной мере использовали эти преимущества. 27 февраля Исполнительный комитет Совета создал свою собственную, так называемую Военную, секцию. Эта секция быстро наладила тесные связи со всеми районами столицы, и все два месяца, пока Гучков занимал пост военного министра, а Корнилов — пост начальника Петроградского военного гарнизона, она на равных конкурировала с официальными военными властями.

Тем же вечером делегация только что созданной Военной секции Совета посетила полковника Энгельгардта. Делегаты обратились к нему с просьбой издать приказ, обращенный к тысячам солдат, которые, оставшись без командиров, не имели ни малейшего представления о том, что им надлежит делать. Энгельгардт отказался. Он заявил, что первый приказ по Петроградскому военному округу должен исходить от нового военного министра Гучкова, который вступит в должность скорее всего через несколько дней. Отказ полковника крайне разочаровал солдатских делегатов Совета. Уходя, они объявили Энгельгардту, что ввиду его отказа в помощи они будут вынуждены сами издать такой приказ. По возвращении в штаб-квартиру Совета они и подготовили свой знаменитый «Приказ №1».

Раздел приказа, касающийся офицеров, заподозренных в контрреволюционной деятельности, был написан в значительно более мягких выражениях, чем те, которые использовал Энгельгардт. В нем не содержалась угроза смертной казни. Вопреки утверждениям в нем ничего не говорилось об избрании офицеров в солдатские комитеты и только указывалось на необходимость соблюдения в войсках строжайшей дисциплины. Кроме того, для защиты экономических, культурных и политических прав солдат приказ предусматривал создание солдатских комитетов во всех подразделениях Петроградского гарнизона. Приказ запрещал также выдачу офицерам оружия и предписывал комитетам надежно хранить его. До сих пор остается загадкой, кто, не без злого умысла, разослал этот приказ, предназначенный только для Петроградского гарнизона, по всем фронтам. И хотя эта акция и наделала много бед, отнюдь не она вопреки абсурдным утверждениям многочисленных представителей русских и иностранных военных кругов явилась причиной «развала русской армии». Несправедливы и их заявления, будто приказ был разработан и опубликован если не непосредственно самим Временным правительством, то по крайней мере с его молчаливого согласия. Суть дела в том, что приказ был обнародован за два дня до создания Временного правительства. Более того, первым шагом этого правительства было разъяснение солдатам на фронте, что приказ этот относится не к ним, а лишь к Петроградскому гарнизону.

Несомненно, распространение этого приказа на фронте сыграло отрицательную роль и ускорило создание солдатских комитетов, однако оно никоим образом не было решающим фактором, так как и до публикации приказа комитеты уже были созданы на кораблях Черноморского флота и в отдельных частях Северного фронта. Более того, незадолго до падения монархии командующий 4-й армией на Румынском фронте генерал Чуриков сообщил в Ставку, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами он распорядился о создании в армии комитетов под своим контролем и рекомендует как можно скорее прибегнуть к такой же мере и в других армиях.

Хотя германские агенты всячески стремились организовать беспорядки среди матросов и солдат, натравливая их на офицеров, большинство людей, занимающих ответственные посты, включая Исполнительный комитет Совета, выступило с осуждением неправомерных действий и расправ над офицерами и предпринимало необходимые меры для предотвращения воинского неповиновения. В обращении к Петроградскому гарнизону мы с Чхеидзе подчеркивали, что листовки против офицеров, выпущенные от имени комитетов социал-демократов и социалистов-революционеров, есть не что иное, как злонамеренные фальшивки, сфабрикованные агентами-провокаторами. Вскоре после этого офицеры гарнизона торжественно поклялись в своей поддержке революции и Думы, и напряженность спала. Их заявление, под которым подписались и мы с Милюковым и Карауловым, получило широкое распространение, а первая речь, которую я произнес как министр юстиции, заканчивалась призывом соблюдать подчинение офицерам и сохранять дисциплину.

С самого начала революции сонм полицейских шпиков, германских агентов и левых экстремистов стремился вызвать ненависть к нам. Для того чтобы осознать, насколько опасна и эффективна была такого рода пропаганда, необходимо иметь в виду, что в распоряжении тайной полиции прежнего режима — охранки — во всех слоях населения по-прежнему находилось несколько тысяч агентов, шпиков, агитаторов и осведомителей. В добавление к ним подрывную работу вело множество вражеских агентов, печатавших и распространявших листовки с призывами к убийствам, вносивших сумятицу и распространявших дезинформацию, которая, хотя и была очевидной фальшивкой, тем не менее производила впечатление на легковерную публику.

К утру 1 марта работа по созданию нового правительства и выработке его программы была в основном закончена, и тогда представители Временного комитета приступили к переговорам с Советом. Предполагалось, что в состав Временного правительства войдут в основном члены Прогрессивного блока. В последний момент портфель министра труда был предложен Чхеидзе, портфель министра юстиции — мне. Вре-

менный комитет предложил Исполнительному комитету Совета войти в состав Временного правительства и направить в него двух своих членов, однако Исполнительный комитет принял решение отказаться от участия во Временном правительстве, поскольку происшедшая революция имела «буржуазный характер». Такое решение поставило меня перед дилеммой: должен ли я остаться в Совете и отказаться от поста во Временном правительстве или я должен принять этот пост и выйти из Совета? Оба варианта казались неприемлемыми. Не найдя выхода из положения, я под давлением событий, требующих от меня полного внимания, вынужден был отложить на время решение этой проблемы.

В тот день, 1 марта, положение в городе, казалось, было еще более тревожным. Поползли смутные слухи о беспорядках на военно-морской базе в Кронштадте. В самом Петрограде хулиганствующие громилы совершили нападение на офицерскую гостиницу «Астория», ворвались в несколько номеров, приставали к женщинам. Приблизительно в то же время по городу прокатилась весть о прибытии в Царское Село воинских подразделений во главе с генералом Ивановым, и, хотя причины для беспокойства не было, толпы людей, собравшихся в здании Думы, были охвачены, вследствие неопределенности положения, паникой.

Постепенно порядок был восстановлен. В 11 часов в штаб частей морских гвардейцев явился великий князь Кирилл Владимирович и заявил о своей поддержке нового режима. В Петрограде продолжалось братание войск с народом, перестрелка на улицах прекратилась. Были сформированы отряды городской полиции и назначен ее новый начальник. Люди прилагали максимум усилий для восстановления дисциплины в войсках гарнизона, и Гучков, который на следующий день занял пост военного министра, активно включился в эту работу.

А тем временем революция перекинулась в провинцию. Хорошие новости поступили из Москвы, где, по словам очевидца, «все шло с точностью часового механизма». Сообщения о победе революции стали поступать из сотен городов страны, движение приобрело общенациональный характер. Все это настоятельно вынуждало нас ускорить формирование нового правительства. Вечером 1 марта Временный комитет лихорадочно работал над завершением манифеста Временного правительства, который должен был быть опубликован на следующий день. В тот момент мы занимались в основном формированием министерств.

Вопрос о верховной исполнительной власти в повестке дня не стоял, ибо большинство Временного комитета Думы все еще считало само собой разумеющимся, что до совершеннолетия наследника престола Алексея великий князь Михаил Александрович будет регентом. Однако в ночь с 1 на 2 марта почти единодушно было принято решение, что будущее государственное устройство страны будет определено Учредительным собранием. Тем самым монархия была навечно упразднена и сдана в архивы истории.

Первое официальное заявление, которое предстояло сделать Временному правительству, стало предметом жарких дискуссий. По некоторым пунктам выявилось абсолютное разногласие. Наиболее ожесточенные споры между представителями Временного комитета и Совета вспыхнули по вопросу о правах солдат, в результате чего в первоначальный проект Совета по этому вопросу были внесены существенные изменения. Каждый параграф вызывал глубокие разногласия, хотя ни в одном не было упоминания о войне. Поразительно, что такая наболевшая, такая важнейшая проблема, как проблема войны, даже не возникала в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг проекта о статусе правительства. Правительство получило полную свободу действий в отношении войны, не беря на себя при этом никаких официальных обязательств. Позже, однако, ни один вопрос не вызывал столь ожесточенных нападок левых сил на Временное правительство, как этот. Еще более поразительным может показаться то обстоятельство, что в этом самом первом документе правительства ни слова не говорилось о настоятельной необходимости аграрных реформ. И действительно, вопрос о них был сформулирован так неясно и туманно, что не вызывал у меня ни малейшего энтузиазма. Тем не менее, несмотря на то что с самых первых шагов правительство выполняло все свои обязательства и даже приступило к осуществлению далеко идущей программы аграрной и рабочей реформ, левые по-прежнему продолжали обвинять нас в пренебрежении своим долгом перед крестьянами и рабочими, сея таким образом в массах семена недоверия.

И вот, наконец, состав кабинета министров согласован. Для многих членов Думы было важно, чтобы я получил пост в правительстве, и, как мне стало известно позднее, некоторые из тех, кому предложили войти в правительство, ставили условием мое участие в кабинете.

Ночью 1 марта, когда события тех незабываемых дней достигли апогея, я почувствовал себя на грани нервного срыва. Сказывалось чудовищное напряжение двух предыдущих дней. И все же мне было не уйти от решения стоящей передо мной трудной дилеммы. Даже Совет в большинстве своем считал разумным мое участие в правительстве, да я и сам понимал, что если в него не войдет представитель Совета, оно не получит широкой поддержки народа. А потому я склонялся к тому, чтобы не отступать от своих убеждений даже тогда, когда Чхеидзе решительно отверг министерский пост, оставив меня в правительстве в полной изоляции.

В конце концов на рассвете, не придя ни к какому решению, я решил отправиться домой. Было странно идти по знакомым улицам без привычного сопровождения агентов секретной полиции, проходить мимо часовых и видеть дым и языки пламени, все еще вырывающиеся из здания жандармерии, где меня допрашивали в 1905 году. И лишь когда я пришел домой, я осмыслил значение недавних событий. Два или три часа я пролежал в полузабытье. И вдруг, словно вспышка молнии, в мозгу созрело решение. Надо немедленно сообщить по телефону о согласии принять пост в правительстве, а уж потом отстаивать это решение на общем заседании Совета. И пусть Исполнительный комитет и члены Совета обсуждают этот шаг. Как это ни покажется странным, но на это мое решение пойти против воли Исполнительного комитета в значительной мере повлияла мысль об арестованных, томившихся в Правительственном павильоне. Ни одному из министров Прогрессивного блока не удалось спасти их от ярости толпы, и только я смог избавить революцию от кровопролития.

Я позвонил во Временный комитет и сообщил Милюкову о своем согласии. Он был, по крайней мере мне так показалось, очень доволен и принес мне свои поздравления, однако я отнюдь не был уверен, что реакция Совета будет такой же. Вернувшись в Думу, я понял, что мое решение стало предметом жарких споров, поскольку никто с уверенностью не мог предсказать реакцию на него Совета. Я тотчас направился в комнату Исполнительного комитета, члены которого встретили меня с кислыми лицами. Шло очередное пленарное заседание, и я объявил о своем намерении войти в правительство и мотивировал этот шаг. Члены Исполнительного комитета попытались переубедить меня, но я остался непреклонным, не желая откладывать дела в долгий ящик.

В соседней комнате член Исполнительного комитета Стеклов докладывал Совету о своих переговорах с Временным комитетом по вопросу о формировании правительства. Едва он кончил, председательствовавший Чхеидзе сообщил, что я попросил слова. Я забрался на стол и начал свою речь. Я сразу понял, что слова мои доходят до сознания собравшихся. Стоило увидеть их лица, заглянуть в их глаза, и мне сразу стало ясно, что они на моей стороне. Я сказал им, что пришел в ка-

честве министра юстиции нового правительства и что ждать долее одобрения этого шага со стороны Совета считаю для себя невозможным. И вот я пришел, сказал я им, просить вотум доверия. Речь моя была встречена овациями.

Когда я спрыгнул со стола, делегаты Совета подняли меня на плечи и пронесли через всю Думу до самых дверей той комнаты, где заседал Временный комитет. Я торжествовал победу. Обойдя абсурдное вето Исполнительного комитета, я был уверен, что за мной последуют и другие и что со временем это приведет к формированию коалиционного правительства. Однако в разгар овации я понял, что руководители Совета постараются взять реванш, и так оно и произошло: довольно скоро против меня, против моего влияния и авторитета в массах развернулась самая разнузданная кампания.

Утром 2 марта, выступая перед толпой в Екатерининском зале, Милюков объявил, что великий князь Михаил Александрович будет регентом и что решено установить в России конституционную монархию. Заявление Милюкова вызвало бурю негодования всех солдат и рабочих, собравшихся в Таврическом дворце.

В спешном порядке было созвано специальное заседание Исполнительного комитета Совета, на котором я был подвергнут пристрастному перекрестному допросу. Я решительно воспротивился попыткам втянуть меня в спор и лишь сказал: «Да, план действительно таков, но ему никогда не дано осуществиться. Это просто невозможно, а потому и нет причин для тревоги. Со мной по вопросу о регентстве никто не консультировался, я не принимал никакого участия в обсуждении этой проблемы. В качестве крайней меры я могу обратиться к правительству и предложить ему выбор: либо отказаться от этого плана, либо принять мою отставку».

Вопрос о регентстве ни в малейшей степени не волновал меня, однако внушить другим мою уверенность в неосуществимости этого плана было крайне трудно. В это дело попытался вмешаться Исполнительный комитет. Он хотел послать к царю своих собственных делегатов, а в случае, если это не удастся,— помешать нашим делегатам воспользоваться поездом. Однако тут они не преуспели, и приблизительно в 4 часа дня делегация Временного комитета Думы в составе Гучкова и Шульгина отбыла в Псков с целью потребовать отречения царя.

Ожидая вестей от Гучкова и Шульгина, мы были вынуждены заниматься решением многочисленных вопросов. В здании Думы располагалась специальная служба телеграфа, и в тот вечер я разослал свои первые, в качестве министра юстиции, приказы. В первой телеграмме прокурорам всей страны предписывалось освободить всех политических заключенных и передать им поздравления от имени нового революционного правительства. Вторая, посланная в Сибирь, передала приказ немедленно освободить из ссылки «бабушку русской революции» Екатерину Брешковскую и со всеми почестями отправить ее в Петроград. В аналогичной телеграмме я потребовал освобождения пяти социал-демократов, членов IV Думы, которые были сосланы в 1915 году.

Тем временем все более тревожным становилось положение в Гельсингфорсе: в любой момент мог подвергнуться уничтожению стоявший там флот и начаться расправы над офицерами. Меня срочно вызвали в Адмиралтейство для проведения переговоров с матросами по телефону. В ответ на мои просьбы человек на другом конце провода обещал сделать все возможное, чтобы успокоить матросов. Расправа над офицерами была предотвращена. В тот же вечер в Гельсингфорс отправилась делегация из представителей всех партий, чтобы попытаться восстановить дисциплину. На какое-то время мы были избавлены от хлопот с этой военно-морской базой. Однако 4 марта каким-то штатским, как выяснилось, немецким агентом, был убит адмирал Непенин.

События же в Кронштадте, о которых мельком упоминается в XIV главе, в действительности произошли 27 февраля, но сообщения о них поступили значительно позже.

Вечером 2 марта было подписано, а днем позже опубликовано следующее заявление Временного правительства *:

«Декларация Временного правительства о его составе и задачах
3 марта 1917.

Граждане! Временный комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами старого режима, который дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти.

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает министрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью.

Председатель Совета министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов.

Министр иностранных дел — П. Н. Милюков
Министр военный и морской — А. И. Гучков
Министр путей сообщения — Н. В. Некрасов
Министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов
Министр финансов — М. И. Терещенко
Министр просвещения — А. А. Мануйлов
[Обер-прокурор] Святейшего Синода — В. Н. Львов
Министр земледелия — А. И. Шингарев
Министр юстиции — А. Ф. Керенский

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями:

1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.

5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении **.

8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

---

* Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957, с. 419—420 (*прим. ред.*).

** Этот пункт вызвал наибольшие разногласия. Милюков в своих мемуарах (т. 2, с. 307) пишет, что не мог противиться принятию 7 пункта, поскольку, по сути дела, мы не знали в тот момент, будут или не будут они (восставшие войска) использованы в предстоящей борьбе против «лояльных» частей, которые направят в столицу.

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь ие намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий.

Председатель Государственной думы М. Родзянко
Председатель Совета министров кн. Львов
Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещенко, В. Львов, Шингарев, Керенский».

Когда наступила ночь 2 марта, члены Временного правительства собрались, чтобы обсудить другие наиболее важные вопросы. Мы все по-прежнему с нетерпением ждали вестей от Гучкова и Шульгина. Мы понимали, что любая попытка передать власть регенту будет иметь тяжкие последствия, и из частных разговоров с коллегами я сделал вывод, что почти все они относятся к самому этому факту вполне спокойно. Милюков — единственный, кто держался до конца, отстаивая эту идею. Отсутствовавшие Гучков и Шульгин не могли изложить свою точку зрения. Однако все согласились с тем, что приближается критический момент.

Отречение царя

Первые сообщения о происшедшей 27 февраля революции царь воспринял спокойно. Неизбежные беспорядки в связи с разрывом с Думой предусматривались в его плане восстановления абсолютизма, а командующий специальными вооруженными силами, дислоцированными в Петрограде, генерал Хабалов заверил царя, что «войска выполнят свой долг». Несколько гвардейских кавалерийских полков, отозванных с фронта, как это и обещал царь перед своим отъездом 22 февраля в Ставку Протопопову, уже двигались в направлении столицы.

Утром 27 февраля к царю с отчаянной просьбой обратился его брат, великий князь Михаил Александрович, умоляя царя прекратить беспорядки, назначив такого премьер-министра, который будет пользоваться доверием Думы и общественности. Однако царь в весьма резкой форме посоветовал великому князю не вмешиваться не в свои дела и приказал генералу Хабалову использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для подавления бунта. В тот же день царь отдал приказ генералу Иванову отправиться в Царское Село. На следующий день царь и сам выехал в Царское Село.

На узловой станции Дно, через которую шел путь в Царское Село, комиссар по железнодорожному транспорту Бубликов распорядился остановить императорский поезд, а также состав с его свитой. Узнав, что путь через станцию Дно закрыт, царь после лихорадочных консультаций с приближенными приказал отправить состав в Псков, где находился штаб командующего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. Путь в этом направлении был еще свободен. 1 марта в 7.30 вечера царь прибыл в Псков, где его встретил генерал Рузский с офицерами своего штаба.

По свидетельству его советников, царь во время этой нелегкой поездки не проявлял никаких признаков нервозности или раздражения. В этом и не было ничего удивительного, ибо царю была всегда свойственна какая-то странная способность равнодушно воспринимать внешние события. Однако я убежден, что за этим напускным, противоестественным спокойствием Николая II скрывалось глубокое душевное напряжение: он, должно быть, уже к тому времени осознал, что все его планы провалились и власть им полностью утрачена. В Псков прибыл уже совсем не тот человек, что всего лишь за день до этого выехал из Могилева, намереваясь положить конец «мятежу». Все его сторонники словно испарились. Теперь он готов был пойти на любые уступки ради сохранения боевой мощи России накануне решающего весеннего наступления против армий Вильгельма II, которого так презирал и ненавидел.

В тот вечер царь заслушал в своем личном вагоне доклады генерала Рузского и начальника штаба фронта о происшедших за время его поездки событиях. Доклады никоим образом не изменили состояния его духа. В 11.30 вечера генерал Рузский передал царю только что полученную телеграмму от генерала Алексеева, в которой генерал сообщал о растущей опасности анархии, распространяющейся по всей стране, дальнейшей деморализации армии и невозможности продолжать войну в сложившейся ситуации. В телеграмме также говорилось о необходимости опубликовать официальное заявление, желательно в форме манифеста, которое внесло бы хоть какое-то успокоение в умы людей, и провозгласить создание «внушающего доверие» кабинета министров, поручив его формирование председателю Думы. Алексеев умолял царя безотлагательно опубликовать такой манифест и предлагал свой проект документа. Прочитав телеграмму и выслушав соображения Рузского, царь согласился обнародовать манифест на следующий же день.

Немедленно по принятии этого решения царь направил генералу Иванову телеграмму (2 марта, 00.20), в которой потребовал не предпринимать никаких акций до его прибытия и доклада ему Иванова. Затем царь распорядился о возвращении на фронт всех частей, направленных в Петроград для подавления мятежа силой оружия. В 2 часа ночи, как рассказывал нам генерал Рузский, Николай подписал манифест о создании правительства, ответственного перед законодательной властью. Этот манифест никогда не был опубликован.

Стихийное революционное движение из Петрограда перекинулось на фронт, и в 10 часов утра 2 марта генерал Алексеев, установив связь с командующими всех фронтов, а также Балтийского и Черноморского флотов, предложил им, ввиду катастрофического положения, умолить царя ради сохранения монархии отречься от престола в пользу наследника Алексея и назначить регентом великого князя Михаила Александровича. Командующие во главе с великим князем Николаем Николаевичем с удивительной готовностью согласились с этим предложением.

В 2 ч. 30 м. Алексеев передал это послание царю, который почти тотчас же сообщил о своем отречении. Но царь отрекся от престола не только от своего имени, но и от имени своего сына, назначив своим преемником брата Михаила Александровича. Одновременно он назначил князя Львова председателем Совета министров, а великого князя Николая Николаевича — главнокомандующим вооруженными силами России. Однако за исключением ближайших советников царя никто в России ничего не знал об этом решении Николая II.

Первое сообщение о неожиданном шаге царя было получено вечером 3 марта от Гучкова и Шульгина во время заседания нового правительства и членов Временного комитета. После объявления этой новости наступила мгновенная тишина, а затем Родзянко заявил, что вступление на престол великого князя Михаила невозможно. Никто из членов Временного комитета не возражал. Мнение собравшихся казалось единодушным.

Вначале Родзянко, а затем и многие другие изложили свои соображения касательно того, почему великий князь не может быть царем. Они утверждали, в частности, что он никогда не проявлял интереса к государственным делам, что он состоит в морганатическом браке с женщиной, известной своими политическими интригами, что в критиче-

ский момент истории, когда он мог бы спасти положение *, он проявил полное отсутствие воли и самостоятельности и т. д. Слушая эти малосущественные аргументы, я понял, что не в аргументах как таковых дело. А в том, что выступавшие интуитивно почувствовали, что на этой стадии революции неприемлем любой новый царь.

Неожиданно попросил слова молчавший до этого Милюков. С присущим ему упорством он принялся отстаивать свое мнение, согласно которому обсуждение должно свестись не к тому, кому суждено быть новым царем, а к тому, что царь на Руси необходим. Дума вовсе не стремилась к созданию республики, а лишь хотела видеть на троне новую фигуру. В тесном сотрудничестве с новым царем, продолжал Милюков, Думе следует утихомирить бушующую бурю. В этот решающий момент своей истории Россия не может обойтись без монарха. Он настаивал на принятии без дальнейших проволочек необходимых мер для признания нового царя. Шингарев на правах старого друга своего партийного лидера попытался выступить в поддержку Милюкова, однако его доводы прозвучали слабо и неубедительно.

Время было на исходе, занималось утро, а решение так и не было найдено. Самым важным было не допустить — до принятия окончательного решения — опубликования акта отречения царя в пользу брата. По общему согласию заседание было временно отложено. Родзянко отправился в военное министерство, которое имело прямую связь со ставкой, и связался с генералом Алексеевым, который сообщил ему, что акт об отречении уже распространяется на фронте. Родзянко дал ему указание немедленно это прекратить. Указание было исполнено, однако еще до его получения на некоторых участках фронта солдатам уже сообщили об отречении и они стали присягать новому суверену. Я возвращаюсь к этому эпизоду потому, что он привел к весьма неприятным осложнениям в ряде воинских частей, солдаты которых начали подозревать генералов в интриганстве.

Когда Родзянко вернулся в Думу после своего телефонного разговора с Алексеевым, мы решили связаться с великим князем, который, возвратившись из Гатчины, остановился у княгини Путятиной в доме № 12 по Миллионной, и информировать его о событиях минувшей ночи. Было 6 утра, и никто не решился обеспокоить его в столь ранний час. Но в такой ответственный момент вряд ли стоило думать о соблюдении этикета, и я решил сам позвонить домой княгине. Должно быть, там все уже были на ногах, поскольку на мой звонок немедленно ответил личный секретарь и близкий друг великого князя, англичанин Джонсон. Я объяснил положение и спросил, не согласится ли великий князь принять нас утром между 11 и 12 часами. Утвердительный ответ последовал через несколько минут.

Во время обсуждения вопроса о том, какую позицию нам следует занять на встрече с великим князем, большинство высказалось за то, чтобы разговор от нашего имени вели Родзянко и князь Львов, а остальные бы присутствовали в качестве наблюдателей. Однако, как я и предполагал, с возражением против этого выступил Милюков, сказавший, что он имеет право как государственный деятель и как частное лицо в этот жизненно важный момент истории России высказать великому князю свою собственную точку зрения. После краткой дискуссии, по моей инициативе было решено предоставить Милюкову столько времени для изложения его взглядов великому князю, сколько он сочтет необходимым.

* Утром 27 февраля в Мариинском дворце состоялась встреча великого князя с Родзянко, Некрасовым, Дмитрюковым и князем Голицыным. Члены президиума Думы и председатель Совета министров потребовали от великого князя возглавить кавалерийские части Петроградского гарнизона и немедленно принять меры к восстановлению порядка. Однако великий князь постарался уйти от принятия самостоятельного решения и заявил, что ему нужно переговорить по этому вопросу с братом и просить его о назначении нового председателя Совета министров.

В 11.00 4 марта началась наша встреча с великим князем Михаилом Александровичем. Ее открыли Родзянко и Львов, кратко изложившие позицию большинства. Затем выступил Милюков, который в пространной речи использовал все свое красноречие, чтобы убедить великого князя занять трон. К большому раздражению Михаила Александровича Милюков попросту тянул время в надежде, что разделявшие его взгляды Гучков и Шульгин, вернувшись из Пскова, поспеют на встречу и поддержат его. Затея Милюкова увенчалась успехом, ибо они и впрямь подоспели к концу его выступления. Но когда немногословного Гучкова попросили высказать свою точку зрения, он сказал: «Я полностью разделяю взгляды Милюкова». Шульгин и вовсе не произнес ни слова *.

Наступило короткое молчание, и затем великий князь сказал, что он предпочел бы побеседовать в частном порядке с двумя из присутствующих. Председатель Думы, в растерянности бросив взгляд в мою сторону, ответил, что это невозможно, поскольку мы решили участвовать во встрече как единое целое. Мне подумалось, что коль скоро брат царя готов принять столь важное решение, мы не можем отказать ему в его просьбе. Что я и сказал. Вот каким образом я «повлиял» на выбор великого князя.

Снова воцарилась тишина. От того, кого выберет для разговора великий князь, зависит, каким будет его решение. Он попросил пройти с ним в соседнюю комнату Львова и Родзянко. Когда они вернулись, великий князь Михаил Александрович объявил, что примет трон только по просьбе Учредительного собрания, которое обязалось созвать Временное правительство.

Вопрос был решен: монархия и династия превратились в атрибут прошлого. С этого момента Россия, по сути дела, стала республикой, и отныне вся верховная власть — исполнительная и законодательная — впредь до созыва Учредительного собрания перешла в руки Временного правительства.

* Причина их сдержанности вскоре объяснилась. Дело заключалось в следующем: на Варшавском вокзале по их возвращении из Пскова тысячи железнодорожников собрались на митинг, чтобы приветствовать Гучкова и Шульгина, однако, как только Гучков, читая акт отречения, дошел до пункта передачи власти великому князю Михаилу Александровичу, толпа пришла в такую ярость, что обоих делегатов пришлось вывести через боковую дверь, чтобы избежать самых неприятных последствий.

(Продолжение следует)

СООБЩЕНИЯ

РАСПРАВА С РУКОВОДСТВОМ КОМСОМОЛА В 1937—1938 ГОДАХ

В. Н. Грехов

В середине 30-х годов в результате сталинского произвола были осуждены как враги народа, брошены в лагеря или расстреляны и миогие тысячи комсомольцев и комсомольских работников. 27 января 1989 г. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление «О работе комсомольских организаций по реабилитации репрессированных в годы культа личности комсомольцев и комсомольских работников». Выполнению этой задачи способствует решение Бюро ЦК ВЛКСМ от 1 марта 1989 г. о введении в научный оборот материалов Центрального архива ВЛКСМ, которые ранее были недоступны исследователям. Эти документы и легли в основу данной статьи.

Сталин и его окружение сформулировали преступную идею виновности многих тысяч комсомольцев в антисоветской и антипартийной деятельности и пособничестве врагу. «Правда» призывала «освободиться от скверны, выкорчевывать все остатки вражеской агентуры в комсомоле»[1]. Многое делалось для того, чтобы ввести в заблуждение комсомольцев. И эта цель была достигнута. «Весь комсомол,— говорилось на одном из пленумов ЦК ВЛКСМ,— политически и организационно был мобилизован на ликвидацию врагов народа»[2]. Масштабы устрашения, жестокость сталинизма сковали волю многих людей, привели к моральной деградации молодежи, выразившейся, в частности, в доносительстве. Об этом свидетельствуют письма комсомольцев в свой Центральный Комитет. Автор одного из них, посланиого из Нижнего Тагила, пишет, что он, «выдержав все натиски и иаскоки врагов из группы бухаринцев и пятаковцев, вел разоблачение всех вредителей, мешающих нам создавать культурную и радостную жизнь всему обществу СССР»[3]. В других письмах говорилось о потере бдительности, о том, что планы не выполняются из-за вреднтельства, в связи с чем главная задача комсомольцев — искоренение врагов народа. Обвинения такого рода, как правило, не имели веских оснований.

Обстановка доносительства создалась и в ЦК ВЛКСМ. Его Генеральный секретарь Александр Косарев сетовал: «Мне приходилось сдерживать аппарат, в частности отдел руководящих органов, от той критики, которую зачастую без оснований организовывали в отношении тт. Белобородова, Павлова, Мгаладзе, ленинградских товарищей, Таштитова, Артыкова, Вершкова (все эти люди впоследствии были арестованы и почти все расстреляны.— *В. Г.*). Как правило, по отношению этих товарищей составлялись всевозможные докладные записки, сигналы, фабриковались сведения о неблагополучии, проводилась ставка не на исправление отдельных ошибок и упущений, имеющихся у этих товарищей, а на их разгром»[4]. Впоследствии подобные суждения Косарева расценили как враждебную акцию, направленную против линии партии.

ГРЕХОВ Вячеслав Николвевич — доктор исторических иаук, профессор Московского государственного университета.

[1] Правда, 29.VIII.1937.
[2] Центральный архив (ЦА) ВЛКСМ, ф. 1, оп. 2, д. 167, л. 55.
[3] Там же, д. 154, л. 5.

Именно с доноса в июле 1937 г. началось дело директора издательства «Молодая гвардия» Е. Д. Лещинера. После его возвращения из командировки в Саратовскую область в ЦК комсомола пришло письменное сообщение, что Лещинер слишком дружески был настроен к секретарю горкома ВКП(б) Назарову, часто с ним встречался, а его вскоре разоблачили как врага народа. Автор письма жаловался: поведение представителя из Москвы «мешало вскрыть преступную деятельность Назарова, ибо это создавало ложное впечатление об очень близких связях и авторитетности Назарова в ЦК ВЛКСМ»[5]. Объяснительные записки Лещинера, опровергающие ложь, не были приняты во внимание. Вскоре его сняли с работы, вывели из состава Бюро ЦК ВЛКСМ, а затем арестовали[6].

Не все могли выдержать создавшуюся систему подозрений, некоторые кончали жизнь самоубийством. Так поступил один из вожаков московского комсомола, Ильинский. Это тоже было поставлено ему в вину. «Самоубийство Ильинского,— говорилось в одном из документов,— является не только результатом боязни разоблачения его подрывной деятельности, но и стремлением уйти от показаний и прикрыть завербованную им агентуру. О ловкой расстановке врагом народа Ильинским (своих агентов.— *В. Г.*) свидетельствует также факт, что в составе бюро МК и МГК оказались разоблаченные враги народа Бычков, Рыжиков, Поляков, Давидович. Вместе с ним эта банда врагов народа орудовала в Московской организации»[7].

Истребление комсомольских активистов сопровождалось пропагандистской шумихой. Обреченных на гибель людей бесчестили на страницах печатных изданий. «Оголтелые враги народа Салтанов, Лукьянов, Файнберг, Бубекин, Андреев и другие,— писала «Правда» 29 августа 1937 г.,— пользуясь идиотской болезнью политической слепоты ряда руководящих работников из бюро ЦК ВЛКСМ, и в первую очередь тов. Косарева, сделали свое подлое дело. Троцкистско-бухаринские шпионы, диверсанты и террористы, они хотели повернуть колесо истории вспять, отбросить страну и ее счастливую молодежь назад к капитализму... Грязные подонки, прохвосты с лживыми улыбками на устах, лишенные опоры в массах, они проникли обманным путем в комсомол, они вредили молодежи, пытались противопоставить комсомол партии».

ЦК ВЛКСМ, комсомольские работнники оказались беззащитными перед сталинским террором. Это продемонстрировал IV пленум ЦК ВЛКСМ, проходивший но указанию Сталина 21—28 августа 1937 года. На его заседания были приглашены 63 секретаря горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК комсомола республик, 29 секретарей райкомов и крупных комитетов ВЛКСМ Москвы. По особому списку были вызваны на пленум и 11 секретарей обкомов комсомола — заранее намеченные жертвы[8]. Заседания были превращены организаторами пленума — Л. М. Кагановичем, А. А. Андреевым, А. А. Ждановым, Г. М. Маленкоаым — в публичное судилище над комсомольским активом. Этот форум — классический пример воплощения на практике идей «расширенного соучастия», когда выступавшие стремились не только убрать своих противников, но и замарать сотни и тысячи других людей.

[4] Там же, д. 133, лл. 85—86.
[5] Там же, лл. 137—138.
[6] Там же, л. 62.
[7] Там же, л. 131.
[8] Там же, лл. 117, 120.

Такой пленум ЦК ВЛКСМ потребовался, чтобы публично заявить о виновности его руководителей в совершении преступлений. Тем самым, с одной стороны, подтверждалась «законность» репрессий против них, а с другой — в союзе молодежи создавалась обстановка всеобщей подозрительности и страха. Произвол и беззаконие в отношении комсомола на этом пленуме достигли своего апогея. В повестке дня был один вопрос — «Сообщение о работе врагов народа внутри комсомола». Некоторые материалы пленума сохранились, несмотря на то, что на папке, в которой они были собраны, стоял гриф: «Не подлежит оглашению. Уничтожается на месте».

За несколько недель до открытия пленума в центре и на местах прошли кампании шельмования и аресты комсомольских работников. Органы НКВД арестовали как «врагов народа» 35 членов и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ [9]. По обвинению в создании «серьезной объединенно-троцкистской правой организации молодежи» взяли под стражу секретарей ЦК комсомола С. Салтанова, Д. Лукьянова, Е. Файнберга [10]. Салтанову ставилось также в вину то, что «он входил в 1925 году в группу зиновьевской молодежи, члены которой Талмазов, Румянцев, Ханик, Каталынов к этому времени были уже расстреляны, пытался созвать без ведома ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ в целях борьбы с партией с ведома Зиновьева Всесоюзную конференцию комсомола».

В действительности Салтанов был репрессирован за смелость суждений, за непризнание диктаторской власти, за открытые высказывания о том, что «из детей растят оголтелых сталинцев», и за предложение сделать им «антисталинские прививки»[11]. Файнберга и Лукьянова, избранных секретарями ЦК ВЛКСМ на первом после X съезда комсомола (1936 г.) организационном пленуме его ЦК, обвинили в том, что в 1927—1928 гг. они были «леваками», а затем зиновьевцами, входили в «праволевацкий блок» [12]. Ранее под тем же предлогом были арестованы и расстреляны комсомольские руководители и журналисты Л. Шацкин, Н. Чаплин, И. Бобрышев; В. Ломинадзе покончил с собой.

В ходе подготовки пленума были «разоблачены» как «изменники,.. шпионы, диверсанты, террористы, ставленники троцкистов и бухаринцев» руководители комсомольских организаций Азово-Черноморья, Западной области, Белоруссии, Орджоникидзевского (ныне Ставропольский) края, Западной Сибири, Красноярска, Воронежа, Москвы, всех областных организаций комсомола Украины и ЦК ЛКСМУ [13]. По настоянию «сверху» Бюро ЦК ВЛКСМ отстранило от обязанностей секретаря ЦК ВЛКСМ Т. Васильеву, заведующего отделом руководящих комсомольских органов Л. Герцевича, а В. Чемоданов, бывший секретарь МК ВЛКСМ, а затем руководитель Коммунистического Интернационала молодежи (КИМ), был освобожден от занимаемой должности и выведен из состава ЦК ВЛКСМ как «не оправдавший звание члена ЦК» [14].

В резолюции, подготовленной комиссией, в состав которой вошли Каганович, Андреев, Жданов и Маленков, и одобренной пленумом, в вину комсомольским работникам ставилось и то, что они «своевременно не проявили инициативы и недопустимо опоздали с разоблачением врагов народа внутри комсомола... В бюро ЦК ВЛКСМ и среди многих комсомольских работников существовала прямая недооценка проникновения врагов народа в комсомол и отсутствие политической заостренности... Среди актива комсомола были широко распространены вредные, политически ошибочные настроения, что врагов в комсомоле нет» [15]. Эта резолюция оправдывала начавшиеся в комсомоле репрессии и последовавшую затем установку — считать «очередной политической задачей всех комсомольских организаций разгром и полное выкорчевывание врагов народа, быстрейшее очищение от них комсомола и его руководящих органов, ликвидацию последствий их вредительства и решительное устранение недостатков руководства, способствующих проникновению врагов» [16].

После IV пленума ЦК ВЛКСМ машина уничтожения комсомольских кадров прибавила обороты. Именно на это нацеливало постановление пленума, направленное в комсомольские организации, опубликованное в «Правде» и «Комсомольской правде» и выпущенное отдельной брошюрой в издательстве «Молодая гвардия». В постановлении говорилось: «Троцкистско-бухаринские шпионы, террористы, предатели социалистической Родины продолжительное время орудовали в организациях ВЛКСМ. Банда троцкистско-бухаринских фашистов, шпионов проникла в руководство ряда областных, краевых и районных организаций и даже пробралась в Центральный Комитет ВЛКСМ. Эта контрреволюционная троцкистско-бухаринская свора, сформировавшаяся из осколков давно разбитых партией и комсомолом антипартийных течений и групп, возглавлялась изменниками Родины, врагами народа Салтановым, Лукьяновым, Файнбергом, Бубекиным, Андреевым и другими... Банда приспешников японо-немецкого фашизма в комсомоле... обманным путем проникла в руководящие органы ВЛКСМ и всячески вредила среди молодежи и Ленинского комсомола» [17].

Каганович, Андреев, Жданов, Маленков подталкивали участников пленума к принятию формулировок, которые обвиняли «Центральный Комитет комсомола, бюро ЦК, секретарей ЦК и в первую очередь т. Косарева... в том, что они прошли мимо указаний партии о повышении большевистской бдительности, проявили нетерпимую политическую беспечность и проглядели особые методы подрывной работы врагов народа в комсомоле» [18].

Результатом работы IV пленума ЦК ВЛКСМ явился арест 42 членов ЦК (в том числе 8 членов Бюро ЦК), а также 13 секретарей обкомов комсомола [19]. К январю 1938 г., то есть всего лишь за полгода, прошедшие после пленума, свыше 560 сотрудников райкомов и обкомов комсомола были сняты с работы как «враги народа», а 830 уволены из комсомольских органов за связь с «врагами народа» [20]. За этим следовали лагеря и расстрелы не только для обвиненных, но и для их близких родственников.

Главный редактор «Комсомольской правды» В. Бубекин был арестован и расстрелян по обвинению в том, что он якобы «полностью поддерживал установки правых по всем вопросам их борьбы с партией,.. отдел писем превратил в место, где глушили всевозможные сигналы». 42 сотрудника газеты были сняты с работы и подвергнуты репрессиям как «бывшие и настоящие меньшевики и эсеры, анархисты и люди, которые... держали активную связь с заграницей, у которых родственники заграницей» [21]. Отдельным комсомольским журналистам инкриминировалось и то, что они оказались в роли сторонних наблюдателей и не вели борьбы с «врагами народа». «Только этим,— писала «Правда» 29 августа 1937 г. в передовой статье,— объясняется, что серьезные сигналы, которых в газете было предостаточно, глушились».

---

[9] Там же, лл. 1—3, 61—62.
[10] Там же, л. 65.
[11] Там же, лл. 61—62, 103.
[12] Там же, л. 78.
[13] Там же, л. 103.
[14] Там же, л. 62.

[15] Там же, л. 19.
[16] Там же, л. 45.
[17] Там же, лл. 43—44.
[18] Там же, лл. 44—45.
[19] Там же, л. 120.
[20] Там же, д. 163, л. 42.
[21] Там же, д. 133, лл. 70—71.

Завершил расправу над комсомольскими работниками спешно созванный (19—22 ноября 1938 г.) по прямому указанию «вождя» VII, внеочередной пленум ЦК ВЛКСМ. На пленум были вызваны секретари комсомольских организаций ряда крупных регионов страны, промышленных предприятий столицы, некоторые работники аппарата ЦК ВЛКСМ. Фактически открыл пленум Жданов, а не Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев. В кратком вступительном слове секретарь ЦК ВКП(б) объявил о причине созыва пленума, а после этого предложил Косареву: «Откройте пленум, пожалуйста» [22].

Молотов, Жданов, Андреев, Маленков превратили этот форум в настоящее судилище над вожаками комсомола, по существу устроив перекрестный допрос жертв, намеченных для репрессий. Лишь 19 ноября при выступлении секретарей ЦК ВЛКСМ А. Косарева и П. Вершкова секретарь Партколлегии ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятов, которому Сталин поручил сделать на пленуме главный доклад, прерывал их 63 раза, Жданов — 25, более 20 — Маленков, столько же — Андреев. Сталин, пришедший вместе с Молотовым на вечернее заседание пленума 20 ноября, около 20 раз прерывал выступавших репликами и вопросами, которые накаляли страсти [23]. Пытаясь сбить, запутать, унизить выступавших, не дать им подготовиться и выстроить свои аргументы, за четыре дня работы пленума «верные сталинцы» вмешивались в ход прений на пленуме более 300 раз (из них 120 приходится на долю Жданова) [24]. Впоследствии архивисты завели специальиую папку «Выписки из стенограммы VII-го пленума ЦК, реплики, вопросы, замечания тт. Андреева, Жданова, Шкирятова, Сталина, Молотова и других представителей ЦК партии».

По какому же поводу был собран VII пленум ЦК ВЛКСМ? В повестке дня его значился только один вопрос: «О результатах разбора заявления работника ЦК ВЛКСМ тов. Мишаковой и о положении дел в ЦК ВЛКСМ». Инструктор ЦК комсомола О. Мишакова в условиях безудержного насаждения вражды и подозрительности, репрессий и произвола, будучи в октябре 1937 г. в Чувашии, с чудовищным рвением искала там «врагов народа» в райкомах и обкоме ВЛКСМ, средн комсомольского актива и потребовала на областной комсомольской конференции применения к ним репрессивных мер. Первого секретаря Чувашского обкома ВЛКСМ А. Сымокина, которого Мишакова требовала удалить с конференции и исключить из партии, она обвинила в том, что «вся его работа в ОК ВЛКСМ носит исключительно подозрительный характер», что он «ннчего не сделал по очищению комсомольской организации от пробравшихся врагов, особенно в руководящие органы»; второго секретаря ОК ВЛКСМ И. Терентьева по тем же причинам она отнесла «к вражескому элементу». Однако эти обвинения не нашли поддержки на конференции. На ней, как сетовал в докладе на пленуме Шкирятов, «Мишакова боролась с врагами народа, ей приходилось преодолевать большие трудности, и враги тогда всячески пытались ее дискредитировать. Она как большевик выдержала все это, и хотя не всех выкорчевали на этой конференции, но часть врагов народа была выгнана из организации» [25].

Мишакова собрала «компромат» и на первого секретаря обкома ВКП(б) Петрова, о чем было доложено Маленкову. 6 ноября 1937 г. постановлением ЦК ВКП(б) Петров был отстранен от должности, а 16 апреля 1938 г. Комиссия партконтроля ЦК ВКП(б) исключила его из партии. Такая же участь постигла наркома внутреиних дел Чувашии Розанова: Мишакова отнесла и его к «врагам народа» и настаивала на

[22] Там же, д. 155, л. 5.
[23] Там же, д. 163, л. 28об; д. 133, лл. 120—121.
[24] Там же, д. 167, лл. 1—316 (подсчитано автором).
[25] Там же, д. 163, л. 5; д. 155, л. 6.

сообщении «о безобразном поведении наркомвнудела товарищу Ежову» [26]. «Вот как нужно работать,— призывал с трибуны VII пленума ЦК ВЛКСМ Шкирятов.— Хотелось, чтобы члены Центрального Комитета комсомола почаще собирали такой материал, который собрала Мишакова, рядовой член партии» [27].

Между тем в феврале 1938 г. состоялся пленум Чувашского обкома партии, который признал неправомерными действия Мишаковой. В постановлении пленума отмечалось, что направление, данное ею «комсомольской организации Чувашии, объясняется неправильной позицией, занятой инструктором ЦК на XIV областной конференции комсомола» [28]. Еще более резкой и по тому времени смелой была оценка деятельности Мишаковой в передовой статье газеты «Красная Чувашия» за 28 января 1938 г.: «Это один из методов вражеской работы. Враги народа стремятся таким путем побить честных людей, преданных делу партии, и криком о бдительности скрывают свое вражеское лицо». 23 марта газета опубликовала постановление бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, а в апреле — 3-го пленума обкома комсомола о полной невиновности и реабилитации Сымокина и Терентьева.

Свои доносы на комсомольских работников Чувашии Мишакова направила Косареву, но вместо одобрения ее действий он поручил ознакомить с ними лишь секретарей ЦК комсомола, не дав широко распространиться клевете. Более того, Косарев собрал 15 марта 1938 г. расширенное Бюро ЦК ВЛКСМ, которое осудило поведение Мишаковой. Она была отстранена от работы в отделе пропаганды с формулировкой: «Допустила грубейшие ошибки, в силу чего люди честные, преданные партии зачислялись в разряд политически сомнительных, а то и пособников врагов народа». Вскоре после заседания Бюро состоялось партийное собрание коммунистов аппарата ЦК ВЛКСМ, поддержавшее постановление Бюро и осудившее «разоблачительную» деятельность Мишаковой в Чувашии. «Лгунья и перестраховщица» — такую характеристику дал ей Косарев. Мишакова была уволена из аппарата ЦК комсомола [29]. Однако правильные решения Бюро и партийного собрания были отменены 8 октября 1938 г. парткомом при Секретариате ЦК ВКП(б), куда не замедлила обратиться Мишакова [30]. Она продолжала действовать. По ее жалобе был снят и исключен из партии недавно избранный первый секретарь Чувашского обкома ВКП(б) Иванов [31]. Затем Мишакова «разоблачила врагов народа» в руководстве Горьковской краевой комсомольской организации, в состав которой входил комсомол Чувашии. Был снят с работы и арестован секретарь ЦК ВЛКСМ К. Белобородов (на этом посту он пробыл всего два месяца), ранее работавший в Горьковском крайкоме комсомола. Для этого достаточно оказалось реплики, брошенной Л. З. Мехлисом на очередном пленуме ЦК ВЛКСМ: Белобородов «срывает всю работу армейского комсомола» [32].

В июле 1938 г. Мишакова направляет Косареву пространное письмо (впоследствии оцененное Шкирятовым как «мобилизующее на борьбу с врагами») [33], в котором советует «внимательно присмотреться к руководящим работникам Чувашской комсомольской организации... Сымокину, Терентьеву (бывшие секретари ОК), П. Жемчугову, Теплову, Иванову (бывшие секретари райкомов), Чекмареву (бывший секретарь Чебоксарского ГК ВЛКСМ), Орловой, Яшевскому (бывшие редакторы га-

[26] Там же, д. 155, л. 6; д. 163, л. 6.
[27] Там же, д. 163, л. 6.
[28] Там же, л. 5.
[29] Там же, л. 6.
[30] Там же, л. 6об.
[31] Там же, л. 5.
[32] Там же, д. 167, л. 111.
[33] Там же, д. 163. л. 6.

зет). По практической работе они выглядели очень подозрительно»[34]. Такой же донос был направлен Ежову. В ЦК ВЛКСМ, получив письмо Мишаковой, ограничились беседой с ней.

Тогда Мишакова обращается непосредственно к «вождю»: «Дорогой товарищ Сталин! Я пишу не потому, что меня лично обидели, фактически за разоблачение врагов народа в Чувашии, еще в марте 1938 года, меня опозорили и уволили из аппарата Центрального Комитета комсомола, а потому, что я не могу пройти мимо таких фактов, когда сигналы, поданные ЦК ВЛКСМ т. Косареву, остаются гласом вопиющего в пустыне: я не могу не сообщить Вам о неправильном поведении секретарей ЦК комсомола и лично т. Косарева». Перечислив свои «заслуги», Мишакова вопрошала: «Товарищ Сталин, за что ко мне такое отношение со стороны его (ЦК ВЛКСМ.— **В. Г.**) секретаря? Я помогала комсомольской организации Чувашии разоблачить врагов народа, боролась с ними в тяжелой обстановке на конференции, давала реплики, мне было там очень тяжело, враги все время мешали мне, дискредитируя меня. Дорогой товарищ Сталин, я прошу Вас проверить, почему не были приняты меры по моим сигналам, по чьей вине враги народа в Чувашии еще остались не разоблаченными, не вскрытыми»[35].

Вызвав Шкирятова, Сталин распорядился: «Тщательно это дело проверить. Не потому, что мы должны беречь только честных людей, но и защищать их, когда к ним неправильно относятся»[36]. Письмо Мишаковой послужило поводом для фабрикации дела против Косарева, других ответственных работников комсомола, членов его ЦК. В планы «вождя и учителя» не входило, чтобы честные и принципиальные люди занимали ответственные посты в комсомольских органах. Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ А. Мильчаков вспоминал, как следователь-лейтенант, впоследствии ставший бериевским генералом, говорил ему: «Такие, как ты, отжили свой век, хоть ты и не старый. Вы цепляетесь за жалкие побрякушки советской и партийной демократии, самокритики. Кому, к черту, они нужны? Вы не поняли изменившейся обстановки... Пришла эпоха Сталина, а с нею новые люди. Я знаю, ты не совершил никаких преступлений. Но тебя надо убрать»[37].

VII пленум ЦК ВЛКСМ проходил по хорошо отработанному сценарию. С докладами на нем выступили кроме Шкирятова Андреев и Жданов. Они потребовали усилить поиск врагов народа и репрессии в комсомольской среде. Шкирятов: «Если завелась гниль у отдельных руководителей комсомола, надо с этой гнилью расправиться по-настоящему и сделать отсюда решительные большевистские выводы». Андреев: «Члены Центрального Комитета комсомола не извлекли всех уроков их двухгодичной борьбы по выкорчевыванию врагов в комсомоле... Дело с Мишаковой могло явиться как следствие небольшевистской политики в руководстве комсомолом со стороны бюро ЦК комсомола и товарища Косарева и тех небольшевистских порядков, которые имели место в ЦК комсомола»[38].

«Дамоклов меч» навис над руководителями комсомола уже на IV пленуме его Центрального Комитета. «Вина ЦК ВЛКСМ, бюро ЦК ВЛКСМ, секретарей ЦК ВЛКСМ, в первую голову т. Косарева,— отмечалось в его решениях,— состоит в том, что они прошли мимо указаний партии о повышении большевистской бдительности и проявили политическую беспечность»[39]. К VII пленуму ЦК ВЛКСМ из семи его секретарей осталось лишь трое, а из членов Бюро — восемь; остальных арестовали. Были репрессированы комсомольские работники и в областных, краевых, республиканских организациях: в Архангельске — М. Щагин, Горьком — Б. Флаксман, Иванове — Курнин, Оренбурге — В. Калашников, Азово-Черноморском крае — К. Ерофицкий, Узбекистане — А. Рассулов[40]. Сталин и его окружение не могли простить Косареву того, что он не боялся открыто говорить, в том числе и в ЦК ВКП(б), что «в комсомоле с врагами дело обстоит несколько иначе, чем в партии, в комсомоле нет врагов». Его «предупреждали,— говорил Андреев на VII пленуме ЦК ВЛКСМ,— что не может быть такого положения, чтобы враги не подобрались к комсомольским органам, чтобы враги оставили их без всякого внимания. Смотрите, Косарев, смотрите, руководство Центрального Комитета комсомола, в оба, разоблачайте врагов в комсомоле, очищайте комсомол от правотроцкистских шпионов. Так предупреждали товарища Косарева и других»[41].

Жданов зачитал на пленуме письмо, которое он «получил от одного члена партии как раз в дни работы пленума». В вину Косареву ставились автором этого доноса политическая близорукость и бытовое разложение (его дважды видели в Подмосковье на рыбалке с членом Бюро ЦК ВЛКСМ Горшениным, впоследствии арестованным). «У нас возникает вопрос,— говорилось в письме,— только ли рыбной ловлей занимались Горшенин и Косарев, не было ли здесь мутной воды»[42]. Объяснение Косарева не было принято во внимание. Жданов заявил, что «до ареста Горшенина и он не придавал этому значения, а после ареста возник вопрос,.. только ли рыбной ловлей занимались Горшенин и Косарев»[43].

На пленуме нашлись люди, активно подыгрывавшие организаторам судилища над руководителями комсомола. Характерен в этом смысле диалог Сталина с секретарем Архангельского обкома ВЛКСМ А. Королевым. «Королев: Товарищи... мне кажется, что весь смысл ошибок, допущенных ЦК ВЛКСМ во главе с Косаревым, по-настоящему, как этого требует партия, не понят. Сталин: Все, оказывается, понимают, кроме ЦК комсомола. Вы поняли, предыдущий оратор понял, а Косарев не понял. Королев: Я так и думаю, что Косарев не понял по-настоящему решения IV пленума ЦК ВЛКСМ. Сталин: А возможно, что понял, но не хочет их выполнять. Королев: Возможно, что не хочет. Сталин: Это бывает. Королев: Бывает, товарищ Сталин. Ошибок, зазнайства за последнее время, надо прямо сказать, товарищ Сталин, в комсомоле проявляется очень много. Сталин: А может, это система, а не ошибки? Слишком уж много ошибок после всего происшедшего. Два года вредительство ликвидируется, а ошибок все еще очень много. Нет ли тут системы? Королев: Я скажу. Мне одно непонятно в поведении Косарева на этом пленуме. В первый раз я Косарева вижу, как он так выступает. Раньше он не так объяснял, когда он поучал нас. Почему он вдруг так изменился? Сталин: Тактика у него меняется. Обстановка изменилась, и тактика изменилась»[44].

Среди немногих, кто попытался защитить членов Бюро ЦК ВЛКСМ, Косарева от голословных обвинений, были секретари ЦК комсомола С. Богачев и В. Пикина, за что они вскоре жестоко поплатились. Выдержать давление Сталина и его приспешников смогли далеко не все. Особенным нападкам Жданова и Шкирятова подвергся на пленуме секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ член Бюро ЦК комсомола А. Любин. Их возмутило его заявление, что неправилен, порочен сам метод партийного руководства комсомолом, что надо его учить, а не раздалбливать. Против него был тоже использован донос. Некий Догадкин

[34] Там же, д. 155, лл. 5, 30.
[35] Там же, лл. 5, 7—8.
[36] Там же, лл. 7—8.
[37] Комсомольская правда, 21.IX.1988.
[38] ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 2, д. 166, лл. 39, 42.
[39] Там же, д. 155, л. 37.

[40] Там же, д. 166, л. 43; д. 167, л. 55.
[41] Там же, д. 166, л. 43.
[42] Там же, д. 167, л. 59.
[43] Там же, лл. 59, 88.
[44] Комсомольская правда, 16.VI.1989.

написал Жданову, тогда секретарю Ленинградского ОК и ГК ВКП(б), а также уполномоченному НКВД по области и в ЦК ВЛКСМ: «В работе обкома и горкома ВЛКСМ работа... по очищению рядов комсомола от врагов народа подменяется различными массовыми мероприятиями... Любин был в близких отношениях с ныне разоблаченными врагами народа — Вайшля, Уткиным, Савельевым, Пайкиным; как правило, на заседаниях и пленумах обкома и горкома ВЛКСМ при обсуждении вопросов он их поддерживал. 9 сентября во время обсуждения решений IV пленума ЦК ВЛКСМ Любин возражал на выступления товарищей о вражеской работе Вайшля, бил себя кулаком в грудь и кричал: «Я ручаюсь своей головой, что Вайшля не враг народа, не верю выступлению тех, которые причисляют его к врагам народа». При вторичном обсуждении о рекомендации в резерв ЦК ВЛКСМ Пайкина на бюро райкома Любин заявил: «Пайкин является одним из лучших работников нашей организации, за его честность ручаюсь партийным билетом» [45].

После VII пленума ЦК ВЛКСМ была проведена «обработка» Любина, итогом которой явилось его покаянное письмо в ЦК ВКП(б): «Я вижу, что выступал неправильно. Не об этом нужно было говорить члену Бюро ЦК ВЛКСМ, не о мелких обидах, а надо было на примерах показать и вскрыть их лицо на пленуме (Косарева, Вершкова). Я это хотел на примерах Ленинграда показать, не получилось это у меня не потому, что не хотел. Сговора с Косаревым у меня, конечно, не было. Я эти вопросы 5/VI на Бюро ЦК ставил, а на пленуме не получилось. Считая выступление свое неправильным, я в своем заявлении на имя секретаря ЦК ВКП(б) пишу это. Читая стенограмму, я вижу, что мне и править ее нечего, ибо это непродуманное, глупое, не отвечающее задачам пленума и поведения секретаря Ленобкома ВЛКСМ, выступление» [46].

Однако в ЦК ВЛКСМ о выступлении Любина на VII пленуме не забыли. Он был арестован 1 декабря 1938 г. без санкции прокурора. Постановление на арест было утверждено Берией лишь 6 декабря. Любину было предъявлено обвинение в том, что он являлся участником антисоветской террористической правотроцкистской организации, действовавшей в Ленинградском обкоме комсомола. Первоначально его содержали под стражей в Ленинграде, затем перевели в Москву, во внутреннюю тюрьму на Лубянке, где он и находился до осуждения. Приговор — расстрел — был приведен в исполнение в день его вынесения, 26 февраля 1939 года.

Косарев вел себя на пленуме честно и мужественно до конца. Он настоял на заключительном слове: «Товарищи! Я должен заявить по поводу того, что зачитал товарищ Жданов по моему адресу,— от начала и до конца здесь сплошной вымысел, сплошная клевета. Нигде, никогда обсуждений о контрреволюционных делах, даже разговоров или намеков на антисоветские разговоры я себе не позволял» [47].

VII пленум ЦК ВЛКСМ снял А. Косарева, С. Богачева, В. Пикину с постов секретарей ЦК комсомола и вывел их, а также П. Вершкова из состава ЦК ВЛКСМ; снят был и заведующий отделом руководящих комсомольских органов ЦК ВЛКСМ И. Н. Белослудцев. По предложению Маленкова, Мишакова как «стойкий большевик» была «избрана» секретарем ЦК ВЛКСМ [48]. С трибуны XVIII съезда ВКП(б) она заявила: «Центральный Комитет партии и товарищ Сталин оказали неоценимую помощь комсомолу в разоблачении врагов комсомола, обманным путем пробравшихся к руководству. Проведенный по инициативе и при

[45] ЦА ВЛКСМ. Документы и материалы Комиссии ЦК ВЛКСМ по реабилитации комсомольцев. Дело А. И. Любина.
[46] Там же, ф. 1, оп. 2, д. 155, л. 184.
[47] Там же, д. 163, л. 54.
[48] Там же, л. 56об.; д. 167, л. 95.

непосредственном участии товарища Сталина VII Пленум ЦК ВЛКСМ изгнал вражеское охвостье» [49]. Только в 1956 г. после разоблачения культа личности ее исключили из партии.

Перемещения в руководящем звене комсомола преследовали цель поставить во главе его послушных Сталину исполнителей. Для Косарева после освобождения от работы наступило тяжелейшее время. Ускорил трагическую развязку М. Багиров: в его присутствии Косарев неодобрительно отозвался о Берии, о чем тому незамедлительно было сообщено. Взбешенный сообщением Багирова, Берия сам, в сопровождении группы работников НКВД 28 ноября 1938 г. произвел арест Косарева [50]. А 23 февраля 1939 г. он был расстрелян.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ (апрель 1939 г.) вывел из состава членов пленума еще 21 «врага народа» [51].

Во второй половине 30-х годов комсомол вместе со всей страной пережил величайшую трагедию, которая вырвала из его рядов многих честных и талантливых лидеров, глубоко деформировала сознание молодежи. В результате беззакония и произвола тысячи комсомольцев и комсомольских работников были исключены из ВЛКСМ как «враги народа» и репрессированы. Среди исключенных из комсомола «враждебные элементы» составляли в 1936 г. 9,7 %, в 1937 г.— 49,8 %, в 1938 г.— 31,1 %, в 1939 г.— 6,9 % [52]. Коммунистическому союзу молодежи, как и всему советскому обществу, был нанесен тогда невосполнимый ущерб.

[49] XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10—21 марта 1939 г. Стеногр. отч. М. 1939, с. 559.
[50] Аргументы и факты, 1988, № 36.
[51] ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 2, д. 168, л. 2.
[52] Аргументы и факты, 1988, № 44.

ВОСПРИЯТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ РАЗНОЧИНЦАМИ ИДЕЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА

П. С. Ткаченко

В условиях оживления общественно-политического движения в конце 60 — начале 70-х годов ознакомление с различными системами западноевропейского утопического социализма углубляло теоретическую подготовку русских революционеров-разночинцев. Революционно настроенная молодежь, стремясь впитать в себя последнее слово науки о развитии общества, проявляла растущий интерес к передовым идеям Запада. По свидетельству С. М. Степняка-Кравчинского, несмотря на все усилия цензуры, «идейное общение между Россией и Европой никогда не прерывалось». Запрещенные книги (сочинения Прудона, Фурье, Оуэна и других социалистов) «доставлялись в Россию тайно» [1]. Об этом свидетельствуют вещественные доказательства по процессу 193-х, а также данные предварительных дознаний, результатов обысков, изъятые пись-

ТКАЧЕНКО Петр Семенович — доктор исторических наук, доцент Московского государственного университета.

[1] Степняк-Кравчинский С. Соч. Т. 1. М. 1958, с. 374. Добротных переводов произведений западноевропейского утопического социализма в России недоставало, и сведения о нем часто черпались из статей и книг авторов, представлявших творения великих утопистов в искаженном свете.

ма, газеты, журналы, книги. Жандармы охотились за этими материалами, потому что они являлись главным доказательством революционной деятельности арестованных. Эти рукописные материалы — конспекты, рефераты, тетради с пометками, редакторскими поправками и другими заметками — представляют большой научный интерес.

Литература о влиянии западноевропейского утопического социализма на «русский социализм» обширна [2]. Но материалы вещественных доказательств по дознаниям и судебным процессам для исследования этой проблемы до сих пор почти не привлекались. Нами изучены рукописные материалы 10 активных (руководителей кружков) и не менее 30 рядовых участников народнического движения 70-х годов XIX века.

Особенно привлекали учащуюся молодежь произведения Кабе, Фурье, Сен-Симона, Луи Блана, Бабефа и Прудона; утопические идеи способствовали пробуждению и развитию ее политического сознания, нашли затем отражение в программно-тактических документах и агитационно-пропагандистской литературе народников [3].

Тетрадь, изъятая у бывшего студента Харьковского технологического института Н. А. Литошенко, арестованного в 1874 г., содержала выписки из статьи «Принципы и доктрины коммунизма» и разбор первых двух глав «Путешествия в Икарию» Кабе. Реферат, изъятый у активной участницы народнического движения 70-х годов XIX в. А. С. Тушинской, содержит изложение романа Кабе «Путешествие в Икарию», а также довольно подробный анализ творчества Фурье [4]. Слушательницей Медико-хирургической академии В. Н. Монстровой (Эдемовой) были сделаны выписки из книги Соколова [5] о творчестве Фурье и Прудона.

Восемь тетрадей заполнил крестьянин Яков Сдоров, служивший в 70-х годах XIX в. в бухгалтерии Патронного завода в Петербурге. В них — конспекты и заметки по работам Мора, Кабе, Фурье, Оуэна, Бабефа, Луи Блана, Прудона, Бланки [6]. Сохранились также две записные книжки студента Харьковского ветеринарного института Ф. Н. Цебенко, арестованного по делу 193-х, с выписками из Луи Блана, Лассаля, Милля, Бокля, Минье и др.[7]. Перечень книг, изъятых у Сдорова, его выписки из них позволяют выяснить, какой круг вопросов вставал тогда перед русскими революционерами при первом соприкосновении с этой литературой. В связи с этим они делают черновые наброски программ изучения западноевропейского утопического социализма.

Выписки Литошенко перемежаются с рассуждениями о социальных преобразованиях в будущем обществе, экономических предпосылках нового общественного строя, основанного на строгом социальном равенстве. Конечно, Литошенко не смог увидеть слабые стороны учения Кабе. Переводя главы из книги Прудона «Решение социальной задачи и революция 1848 г.», Литошенко размышлял о банкротстве государства, о страданиях народа, о значении вождей. Для него теории Лассаля и Маркса равноценны. Внимание его приковано к устройству будущего государства, к идее равенства, исторически обусловленной «естественной враждой труда к капиталу». Как и другие народники, Литошенко видел причину разорения мелкого производителя, крестьянских масс в Западной Европе и России в нарождающемся капиталистическом строе.

---

[2] См. библиографию в кн.: Хрестоматия по истории утопического социализма в России. М. 1985.

[3] Подробнее см.: Перовский В. Л. Мои воспоминания.— Каторга и ссылка, 1925, № 3(16), с. 16; Воспоминания И. Е. Деникера.— Там же, 1924, № 4(11), с. 31; Революционное народничество семидесятых годов XIX века. Т. 1. М. 1964, с. 463.

[4] Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, ф. 112, оп. 2, д. 2351.

[5] Соколов Н. В. Отщепенцы. СПб. 1866.

[6] ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 2, д. 2652.

[7] Там же, 1873 г., д. 2454.

Поэтому он был последователем принципа уравнительного землепользования и коллективного землевладения.

Под влиянием социальных доктрин Кабе находилась и Тушинская; она, как и Литошенко, законспектировала и прокомментировала те места из «Путешествия в Икарию», в которых рассказывалось о социальном неравенстве, и выделила в социальной утопии Кабе мысль о необходимости ликвидации аристократии и установления равенства. Вместе с тем Тушинская критически отнеслась к тезису Кабе о мирном осуществлении коммунистических идеалов.

Еще более популярен у народников был Фурье с его критикой капитализма, идеями коллективной организации производства и потребления. Фурье был посвящен реферат Тушинской; тетради Монстровой и Сдорова заполнены многочисленными выписками из его произведений. Каждый из них комментировал биографию великого утописта. Тушинская и Монстрова проявили интерес к его критике общественного неравенства, нищеты и бедствий, бесправного положения народа. Петербургский студент С. К. Хохряков отметил, что причину кризисов современного общества Фурье ищет в организации не производства, а обмена. «Фурьеризм не хочет уничтожения ни частной собственности, ни даже наследства,— записал Хохряков,— напротив, формально принимает и капитал» [8]. Хохряков, таким образом, критически оценил экономическую основу учения Фурье.

В реферате Тушинской затрагивался один из кардинальных вопросов фурьеризма — организация «фаланг». Подвергая критике учение Фурье, она увлеклась идеей ассоциации фабричного и земледельческого труда. А пока всего этого нет, писала Тушинская, труд непривлекателен, «так как чаще всего трудятся только поневоле, чтобы не умереть с голоду». Причину этого она видела «не в самих свойствах труда, а в тех общественных условиях, при которых люди принуждены трудиться». В реферате сказано, что свобода, равенство и братство «не более, как слова» [9]. Защищая фурьеристскую систему социальных преобразований, некоторые народники считали ее более определенной и практичной по сравнению с сен-симонизмом, но, судя по записной книжке В. А. Спасского, полагали, что и фурьеризм требует освобождения от ряда фантазий [10]. Называя космогонию Фурье и некоторые его психологические идеи «действительно чепухой», Спасский вместе с тем писал: «Не в них его сила, да и сам он не придавал им особенного значения». При этом Спасский ссылается на слова Фурье, что его идеи «не касаются нисколько до моей теории промышленной или земледельческой ассоциации... Справедливо то, что я один и первый предложил средство составлять ассоциации» [11].

Народники неоднократно обращались к биографии Фурье, изучали его наследие, чтобы защитить его от клеветы и показать, как оно соотносится с современными им социалистическими идеями [12].

Монстрова уделила также особое внимание истории возникновения учения Фурье. Подвергая анализу суждения Фурье о старых и новых социальных порядках, Монстрова воспринимала его идеи. Это побуждало ее провести такой же анализ социальных условий России. И Тушинская, и Монстрова старательно штудировали те места из сочинений Фурье, где подвергалось рассмотрению современное общество с его нищетой народных масс и отсутствием социального равенства. Протестуя против существующей системы, народники надеялись осуществить на практике

---

[8] Там же, 1874 г., д. 2433, л. 24.

[9] Там же, д. 2351, л. 2.

[10] Там же, 1870 г., д. 1374.

[11] Там же.

[12] Русанов Н. Социалисты Запада и России. СПб. 1908, с. 27, 33.

его идеалы. Вероятно, в связи с этим Монстрова заинтересовалась организацией общин по системе Фурье: «Каждый может жить, как ему нравится. Кто хочет жить отдельно, тот имеет отдельное хозяйство, кто предпочитает жить в обществе, тот и пускай живет в нем»[13]. В своих выписках она полемизирует с книгой Соколова, считая справедливой критику Фурье капиталистического строя.

Народники изучали также социальные системы Оуэна и Сен-Симона, их взгляды на положение трудящихся классов и характер будущих социальных преобразований. Сдоров замечает, что Сен-Симон делит общество на людей трудящихся и праздных и признает будущее по праву за трудящимися[14]. В его тетрадях содержится примечательная сентенция Сен-Симона: «Самый счастливый человек тот, который работает, самая счастливая семья та, члены которой полезно употребляют свое время, самая счастливая нация та, у которой менее всего праздного народа». Сравнивая взгляды Оуэна и Фурье, Сдоров пытался доказать, что в общине не может быть деления на классы, что работа должна распределяться там сообразно со способностями и общими интересами людей. Сдоров отметил также мысль Оуэна об установлении полной общности имущества[15].

Руководитель вятского кружка Бородин, сославшись на сочинение Сен-Симона «Письма жителя Женевы к своим современникам», приводит его мнение, что власть не должна иметь «никакой другой цели, кроме общего интереса». Он согласен с Сен-Симоном в осуждении войн и приводит его слова: «Только мир может способствовать развитию знаний и счастья»[16]. Бородина привлекала предлагаемая этим утопистом система государственного устройства, основанного на принципах равенства европейских народов и выборности депутатов.

Идеями Оуэна увлекался нечаевец З. Ралли. Он писал: «Раз в своих разговорах с товарищами, когда я говорил о том, как, по-моему, может создаться идеал общего счастья, тогда я указывал на Оуэна и на его успехи (я увлекался этим человеком всегда)»[17]. Еще в 1866 г. в ходе дознания по делу Каракозова полиция обнаружила бумаги, в которых излагались доктрины социалистов-утопистов. У П. Ф. Галицкого были взяты выписки «Роберт Оуэн», «Секты социалистов». Знакомство с доктринами Сен-Симона и Фурье пробудило у него интерес к истории этих учений.

Народники проявляли внимание к бабувистской трактовке проблемы равенства с ее принципами уравнительного распределения и общеобязательного труда. Резкое осуждение Бабефом существующего строя, обоснование бабувистами необходимости социальной революции были особенно близки революционерам-разночинцам. Их внимание было приковано к высказываниям Бабефа и его последователей о путях установления социального равенства и неизбежности проведения с этой целью ряда последовательных переходных мероприятий. Выписки народников из сочинений Бабефа свидетельствуют о творческом восприятии ими его социальной системы. Сдоров выписывает в свою тетрадь все пункты доктрины Бабефа. Бумаги, отобранные у студента Петровской академии В. Кутырина, говорят о его стремлении осмыслить и объяснить каждый ее пункт применительно к России.

То же самое можно сказать о работе «Изложение социальных доктрин» Бородина. Изучая литературу о I Интернационале, Бородин все больше убеждался в том, что «улучшения крестьянского быта мирным путем достигнуть нельзя, что это улучшение может быть достигнуто

[13] ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 1, д. 1582, лл. 37—38.
[14] Там же, ф. 124, оп. 2, 1874 г., д. 475, л. 77.
[15] Там же, д. 2652, л. 33.
[16] Там же, л. 79.
[17] Там же, ф. 109, оп. 214, д. 324.

только путем социальной революции». В бумагах Кутырина отмечается, что поражение Бабефа было следствием непонимания массой того, «к чему он стремился»[18]. Подчеркивая важность революционной пропаганды и действий, Бородин пишет: «Мы только читаем одни книги, решаем вопросы теоретически и оставляем жизнь, т. е. практику в стороне»[19]. Сначала, по его мнению, необходимо победить реакционеров, а потом уж рассчитывать на успех коммуны, который достижим только «в тихие времена республики, а не революции, когда идет борьба»[20].

Наряду с Бабефом значительное и наиболее прочное влияние на формирование социалистических идей в России оказал Прудон[21]. Многие руководители народнических кружков в своих показаниях утверждали, что в вопросах политэкономии безусловным авторитетом для них являлся Прудон. В списках прочитанных книг, в переводах французских изданий часто встречались сочинение Прудона «Французская демократия»[22], работа Жуковского «Прудон и Луи Блан» и другие. Выписки Монстровой из книги Прудона «О революции, правосудии и церкви» показывают, что внимание ее было сосредоточено на описании «величия и силы» демократической революции, дающей права массе и обеспечивающей «преимущество труда над собственностью»[23]. Как и другие народники, она изучала биографию Прудона и его сочинение «Что такое собственность?», утверждавшее, что собственность несовместима с политическим и гражданским равенством, порождает деспотизм, социальные бедствия, нищету. Особенно по душе народникам была решительная критика Прудоном буржуазной конституции, политического устройства государства. Об этом, в частности, свидетельствует выписка Монстровой из книги Соколова, где конституция называется обманом или нелепостью[24].

Руководитель Оренбургского кружка С. Голоушев, изучавший сочинения Прудона, Милля, Лассаля и других, на допросе в 1874 г. показал: «Я не хотел и не хочу кричать «К оружию». Нет... для меня лично вопрос политический должен быть отодвинут на задний план. По моему убеждению, должно стараться довести общество до сознания уничтожить всякую частную собственность, обратив ее в общественную»[25]. Книга Прудона «Французская демократия», говоря словами Михайловского, действовала на народников «замечательно возбуждающим образом». О влиянии Прудона писали В. Фигнер, О. В. Аптекман, С. Бардина и др.

Монстрову и Дебагория-Мокриевича привлекают идеи «Французской демократии» Прудона о равноправности и политической и социальной[26]. Народники вдумчиво штудировали нашумевшее сочинение Прудона «Что такое собственность»[27]. Суждения Прудона о частной собственности были им по душе. Немалое влияние оказали на народников и высказывания Прудона (приведенные в книге Соколова), пронизанные идеями аполитизма и анархизма[28].

[18] Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) г. Москвы, ф. 16, оп. 57, 1866 г., д. 83, л. 35.
[19] ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 2, 1874 г., д. 475, л. 73.
[20] Там же, л. 74.
[21] См. Горев Б. Роль Прудона в истории русского мелкобуржуазного социализма.— Красная новь, 1935, № 1; Русанов Н. Ук. соч.
[22] См., напр., ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 2, 1873 г., д. 2325 (записная книжка учителя И. Д. Трезвинского, где в списке литературы для учителей сочинения Прудона и Маркса соседствуют).
[23] Там же, 1870 г., д. 1580, лл. 6, 7, 9.
[24] Там же, д. 1582, лл. 10—11.
[25] Там же, оп. 1, 1874 г., д. 228, т. 25, лл. 541—543; Революционное народничество семидесятых годов XIX в. Т. 1, с. 161—168.
[26] ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 2, д. 1582, лл. 5—6.
[27] См. там же, ф. 1167, оп. 3, д. 1759, л. 9, дневник Добротворского.
[28] Там же, ф. 6225, 1878 г., д. 24; см. также показания Н. Маслова о чтении рукописей и книг, предложенных ему Муравским (там же, ф. 124, Уголовный отдел, ч. II. лл. 29—35).

К Луи Блану народники проявляли значительно меньший интерес, чем к Прудону[29]. Муравский и Сдоров обратились к сочинениям Луи Блана при решении таких вопросов, как республиканский строй, организация труда рабочих, всеобщее избирательное право и др. Конспектируя материалы об ассоциациях по Луи Блану, Сдоров отмечал, что ближайшая задача — устройство мастерских с целью уничтожить конкуренцию как главный источник всех зол и страданий[30]. Участник народнического движения М. Д. Муравский заинтересовался проблемой, особенно волновавшей Луи Блана,— проблемой государства, республики и утвердился в мысли о несовместимости монархии и парламентаризма. Как и другие народники, Муравский с жадностью воспринимает лозунги свободы, равенства и братства. Те же идеи привлекали Хохрякова. В его тетради читаем: «Луи Блан предлагал равенство, распределение как переход к принципу еще высшей справедливости трудящемуся, чтобы каждый работал по своим способностям и получал по своим потребностям»[31].

Однако как только народники пытались применить республиканские идеи Луи Блана к условиям России, возникали вопросы, не согласуемые с его воззрениями. Муравский называл Луи Блана «сторонником якобинского централизма», упускающим из виду уже зреющие в провинции семена федерализма, которые могут сыграть важную роль в приближающемся кризисе[32]. На эту мысль натолкнуло Муравского сопоставление взглядов Луи Блана с опытом практической деятельности народников в деревне, с так называемым рабочим вопросом в России начала 70-х годов XIX века. В тетради Муравского говорилось: «Корни русского рабочего вопроса: обеспечивает ли крестьянина земляной надел? Может ли он этим наделом уплачивать все повинности и проживание без посторонних заработков? Насколько поземельный участок облегчает зависимость нашего крестьянина от капитала... есть ли необходимость для этого заработка? Обеспечены ли они для всех, или по крайней мере для большинства трудящихся? Как ценится и оплачивается у нас труд рабочего? Гарантирован ли правительством этот труд в его свободном, всеобщем правильном употреблении?»

Сама постановка этих вопросов как бы заключала в себе отрицательный ответ на них. Сравнивая положение французского рабочего и русского крестьянина, Муравский указывает причину разорения последнего: подати, эксплуатация, недобросовестная и невежественная чиновничья опека[33]. Выписки, таким образом, свидетельствуют о попытках критического восприятия суждений Луи Блана относительно устройства ассоциаций рабочих и помощи им со стороны государства. Будучи сторонником республиканских идей Луи Блана, Муравский критически воспринимал его воззрения по вопросам государства и социального переворота. Он отвергал не соответствовавший его взглядам централизм якобинцев. Вместе с тем под влиянием Луи Блана Муравский склонен был перерабатывать народнические доктрины. Так же поступали и другие революционеры-разночинцы. Теория Луи Блана, писал Дебагорий-Мок-

[29] Преследуемая цензурой книга Луи Бланв «История Великой Французской революции» хранилась у студента Новороссийского университета В. Д. Имшеницкого (см. ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 1, 1874 г., д. 331, л. 141). Она же значилась в записной книжке организатора харьковского народнического кружка Ф. Н. Цебенко (там же, д. 2454, л. 14). Среди интеллигенции ее распространяли и чайковцы (см. Революционное народничество семидесятых годов XIX в. Т. 1, с. 226); см. также список книг Тушинской (ЦГАОР СССР, ф. 112, оп. 2, д. 2353). Книга Луи Блана упоминается в тетрадях Хохрякова (там же, 1874 г., д. 2434, л. 47), в вещественных доказательствах по делу А. З. Дзюбина (там же, д. 788, л. 2).

[30] Там же, д. 2652, л. 36.

[31] Там же, 1873 г., д. 2433.

[32] Там же, л. 4.

[33] Там же, л. 5.

риевич, не имеет ничего общего с коммунизмом, она признает личную собственность[34].

Особый интерес представляют выписки и заметки Сдорова с анализом буржуазных критиков социализма, программой изучения социальных учений. Намечалось, в частности, написание книги по истории социалистических теорий «не с буржуазной точки зрения», включая историю социалистического движения в европейских странах, I Интернационала и Парижской Коммуны; излагаемая при этом концепция свободы и нравственности отвечала фурьеристскому ее пониманию. Большое значение в рукописи Сдорова придается теоретическому обоснованию социализма[35]. Не меньший интерес представляет проспект программы изучения социальных учений и истории французского утопического социализма. Важные данные по этим вопросам содержат, как известно, следственные материалы по делу ишутинцев.

Итак, материалы вещественных доказательств по дознаниям и судебным процессам народников говорят об огромном внимании революционных разночинцев к западноевропейскому утопическому социализму. Они изучали сочинения его виднейших представителей, писали рефераты, делали конспекты, выписки, комментировали их. Это углубляло теоретическую подготовку русских революционеров. При этом они воспринимали как сильные, так и слабые стороны различных учений. Их привлекали такие идеи, как необходимость ликвидации социального неравенства, создание республиканского строя и организация свободного общественного производства в промышленности и сельском хозяйстве. Воспринимая доктрины Кабе, Сен-Симона, Оуэна, Фурье, Бабефа, Луи Блана, Прудона, народники стремились творчески перерабатывать их идеи применительно к условиям России. Наиболее популярными в среде разночинцев были Фурье и Прудон. Идея сельскохозяйственных и промышленных ассоциаций, разработанная Фурье, критика Прудоном социальных порядков, его суждения о равенстве как основном принципе естественного права, его трактаты об уничтожении частной собственности — все это оказало большое влияние на проповедников крестьянского социализма в России. С этим связано наличие в их программных документах призывов к освобождению народа путем уничтожения государственности и создания свободной федерации земледельческих и фабрично-ремесленных ассоциаций. В то же время народников не устраивали идеи мирного развития в трактатах западноевропейского утопического социализма. Они взялись за разработку своей программы, связанной с их верой в возможность крестьянской революции в России.

[34] Там же.

[35] Там же, л. 85.

РОССИЯ И ТИБЕТСКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА XX ВЕКА

Н. С. Кулешов

Прошлое и настоящее Тибета как объекта воздействия внешних сил и как творца своей истории до настоящего времени не раскрыто достаточно полно. Речь идет, в частности, о событиях первых полутора десятилетий XX в., которые касаются России и ее причастности к тибетским проблемам, ее взаимоотношений с Китаем и Англией: о пробуждении тибетской национальной и внешнеполитической активности и связанных с этими процессами посольствах далай-ламы в различные страны.

Для проведения своей имперской политики правители цинского Китая нуждались в поддержке религии[1]. Центром ламаизма в Центральной Азии была Лхаса, и Цинскую династию Тибет интересовал прежде всего как место пребывания высших лиц религиозной иерархии, находившихся в Лхасе. Со своей стороны, тибетская теократия, все более активно вовлекавшаяся в политическую жизнь региона, нуждалась в покровительстве могущественной Китайской империи. Далай-лама поддерживал китайских правителей своим авторитетом, а в обмен получал признание его главой буддистского мира.

Между верховными правителями двух стран происходил обмен титулами, подарками, церемониями и т. п., которые в то время в большой мере заменяли собой письменные договоры и соглашения. За всю историю китайско-тибетские отношения не были отражены в каком-либо документе, который фиксировал бы двусторонние договоренности о статусе Тибета. По словам китайского исследователя, «Цинская империя с самого начала стремилась загребать жар чужими руками и использовать авторитет далай-ламы для управления Тибетом»[2].

Далай-лама в системе цинской иерархии, согласно китайским документам, был представлен как должностное лицо, покровительствуемое императором. До конца XIX в. прочно функционировала система цинского представительства в Тибете; в Лхасе постоянно находились уполномоченные китайского правительства — амбани, которые помогали местным властям в административной работе. Четыре тибетских калона (министра), избиравшиеся с согласия амбаней и далай-ламы, решали политические и религиозные дела. Такого типа местное правительство просуществовало до 1959 года. Одновременно в Лхасе и Шигацзе стояли маньчжуро-китайские гарнизоны численностью примерно по тысяче человек. Амбани должны были сменяться каждые три года, но это не было твердым правилом, как и статус амбаней, полномочия которых не были раз и навсегда регламентированы, а степень и характер их действительного воздействия на внутренние и внешние дела Тибета в различные периоды варьировались.

К концу XIX столетия становилось все более ощутимым распространение сферы влияния британской колониальной администрации в Индии

КУЛЕШОВ Николай Степанович — доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР.

[1] См. Хуан Фэньшэн. Положение Тибета. Шанхай. 1954, с. 108. (на кит. яз.).
[2] Там же.

на север к границам Тибета. В течение предшествующих полутора столетий ее попытки наладить связи с Тибетом были безуспешными: его правители не видели для себя большой пользы от установления связей с властями Британской Индии. Тибетская теократия строго оберегала свою власть над жителями края, и любое иностранное вмешательство расценивалось как посягательство на религиозные устои, поэтому всякие контакты с внешним миром пресекались. Отказываясь от налаживания связей с британской администрацией в Индии, тибетцы ссылались на цинского императора как своего сюзерена, а «око недреманное» — амбани не преминули бы вменить им в вину установление таких связей, не предусмотренных регламентом.

Однако правительство Британской Индии не прекращало своих попыток продвинуться в Тибет. В 1876 г. в связи с убийством английского консульского чиновника в Китае А. Маргари британский посланник в Китае Т. Уэйд и всесильный глава Цзунли ямэня (Управление по ведению внешних дел) Ли Хунчжан подписали конвенцию в Чифу, по которой были значительно приоткрыты двери в Китайскую империю для иностранцев. Отдельные статьи этой конвенции предусматривали, что англичанам будет разрешено послать миссию через индийскую границу в Лхасу. Но китайское согласие на эти условия было выражено так, что отправка миссии ставилась в зависимость от политической ситуации в Тибете, от того, как ее представит находящийся в Лхасе амбань. В случае отправки такой миссии Цзунли ямэнь обязалось обеспечить ее всем необходимым и паспортами «высоких провинциальных властей» и «резидента в Тибете» (амбаня), чтобы проезду миссии не чинилось препятствий.

Но тибетцы воспротивились отправке миссии в свои пределы. Цонгду (тибетский представительный совещательный орган) на своем чрезвычайном совещании принял постановление, в котором говорилось, что британские власти из Индии со всех сторон теснят Тибет и что император Китая не имел права давать англичанам разрешения вступать на территорию Тибета. Члены Цонгду поклялись не допустить их[3].

Чтобы воспрепятствовать продвижению британской миссии через Тибет по единственной доступной дороге через Сикким, Лхаса выслала вооруженный отряд, который вступил в пределы Сиккима. В случае англо-тибетских переговоров по поводу дальнейшего следования миссии Тибет должен был выступать в качестве самостоятельной договаривающейся стороны. Во избежание этого Цины провели переговоры, результатом которых было заключение англо-китайской конвенции 1890 г. относительно Сиккима и Тибета. Статья 2 конвенции предусматривала, что Китай признает британский протекторат над Сиккимом. Таким образом, вместо ожидавшейся его жителями помощи от центрального правительства Цины пошли на предложенный англичанами сговор за счет Сиккима. Конвенция открывала для тибетцев аналогичную перспективу, что, естественно, порождало в Тибете тревогу. Таким образом, предшествующий период развития взаимоотношений сторон в Центральной Азии создал предпосылки для коренной ломки международно-политической структуры в регионе.

Существующая о тибетском кризисе начала XX в. западная, китайская и отечественная литература содержит ошибочный ключевой тезис об англо-русском соперничестве, якобы объясняющем связанные с Тибетом исторические процессы. Конечно, на протяжении XIX в. англо-русское соперничество было едва ли не лейтмотивом взаимоотношений между двумя странами, особенно в период Крымской войны; в достаточно острой форме оно имело место и в континентальной Азии. Историографическая версия сводится к тому, что Россия и Англия были перма-

[3] Shakabpa W. D. Tibet. Yale University. 1967, p. 198.

нентно соперничающими державами, направляющими свои усилия в Азии на захват новых земель и установление там своего господства. К началу XX в. интересы обеих держав якобы столкнулись в Тибете. Согласно этой версии, Англия была «вынуждена» защищать свои азиатские владения от русской угрозы и в первую очередь оградить Британскую Индию, свое главное владение, от «алчных взоров русских генералов», которые в осуществление своих захватнических планов в отношении Индии для начала-де приступили к захвату Тибета.

Один из зарубежных исследователей, А. Лэмб, писал: «Отношение Англии к Тибету в конце XIX в. было в значительной степени обусловлено «большой игрой», соперничеством между Англией и Россией, во многом сходным с холодной войной в наши дни»[4]. Не выходя за рамки версии об англо-русском соперничестве, Лэмб повторял тезис о необходимости для Великобритании в начале XX в. проводить «политику упреждения», которая фактически по отношению к Тибету отнюдь не упреждала чьи-то замыслы, а просто была экспансионистской. В тот период слова «forward policy» переводились на русский язык как «политика активного наступления», что выражало ее суть. Регулярно публиковавшиеся британским правительством «Синие книги» и другие тенденциозно составленные документальные материалы, имеющие целью оправдать колониальную политику и по возможности скрыть ее подлинные цели, сделали свое дело. На их основе разработана и утвердилась версия о некоей русской угрозе Тибету. Теперь, несмотря на доступность британских архивных документов, которые содержат данные о совершенно иной политике держав в Центральной Азии, исследователи этой политики попрежнему придерживаются прежних устарелых догм.

Из работ зарубежных историков заслуживает также упоминания книга Д. Вудмен, где господствующая концепция об англо-русском соперничестве представлена во всей полноте. Среди множества книг на эту тему — и публикация английского политолога Н. Максуэлла, где тот же тезис преломился в формуле, согласно которой договоры России с Китаем служили средством для отторжения китайской территории[5].

Многие китайские историки придерживаются той же концепции соперничества Великобритании и России в Центральной Азии. Однако в наиболее объективных публикациях раскрывается и участие Цинов в борьбе за захват новых земель. Серьезного внимания заслуживает то обстоятельство, что наиболее авторитетные современные китайские публикации, например, изданная в 1984 г. коллективом авторов во главе с известным китайским историком Лю Даняем обобщающая работа, справедливо представляют тибетскую политику России малозначащей и пассивной. Коллектив авторов другой работы, вышедшей в 1981 г., смысл тибетских событий начала XX в. видит в интригах тибетской верхушки, а не в политике России. Даже в книге об экспансионистской политике царизма нет ни слова о какой-либо агрессии России в Тибете или о замыслах на этот счет[6]. Объектом исследования китайских историков стал и тот интерес, который проявляло цинское правительство к сотрудничеству с «британским империализмом» в Тибете. Одна из глав упомянутой книги 1984 г. называется «Китайское и иностранное господство в условиях «лада и согласия» («хэхао цзюймянь»). Но при всей важности

---

[4] Lamb A. Britain and Chinese Central Asia. Lnd. 1960, p. VII.

[5] Woodman D. Himalayan Frontiers. Lnd. 1969; Maxwell N. India's China War. N. Y. 1972, p. 7. Изданная в Австралии по данному вопросу аннотированная библиография содержит несколько тысяч названий книг и статей, но ни одна из них не отклоняется от принятой в зарубежной литературе трактовки тибетского вопроса (см. Marshall J. Britain and Tibet, 1765—1947. Bundoora. 1977).

[6] Новая история Китая. Бэйцзин. 1984 (на кит. яз.); История Китая в новое время. Бэйцзин. 1981 (на кит. яз.); Агрессивная политика царской России. Бэйцзин. 1978 (на кит. яз.).

данного положения китайские историки еще не рассматривали под этим углом зрения тибетскую проблематику.

В отечественной литературе, начиная с 20-х годов, эта тема излагается в рамках изучения англо-русского соперничества в целом. Положивший начало исследованию в советское время тибетской политики России А. Попов отмечал, однако, что оно достигло к 90-м годам XIX в. своего кульминационного и хронологически последнего обострения, иными словами, оно не имело никакого отношения к тибетским проблемам начала XX века. В матëриалах российского МИД Попов не нашел ни одного документа или факта, который можно было бы привести как доказательство англо-русского соперничества по тибетским делам в начале XX века[7]. В дальнейшем в советской печати взаимоотношения сторон по тибетским вопросам изображались если не сквозь призму все того же англо-русского соперничества, то с оглядкой на него.

Внешняя политика России в начале XX в. осуществлялась в двух главных направлениях — европейском и азиатском. Царизм не имел сил для ее активизации в обоих направлениях одновременно и должен был избрать метод последовательного решения своих задач сначала в одном, а затем в другом районе мира. После неудачи, постигшей Россию в начале века на Дальнем Востоке, соотношение сил держав побудило ее перенести главное внимание на Запад[8]. Значение азиатского направления для России соответственно уменьшалось, а значение Тибета для нее, не будучи и раньше заметным, практически свелось к нулю. Тибет географически отстоял далеко от России и был отделен от нее территориями Китая и Британской Индии, что также отстраняло Россию от участия в событиях, связанных с Тибетом. Сказывалось и влияние первой российской революции, создававшей для царского правительства чрезвычайные трудности внутри страны. Таким образом, в рассматриваемый период не существовало ни объективных обстоятельств, ни субъективных причин, подтверждавших наличие у царского правительства оснований для проведения или хотя бы планирования какой-либо тибетской политики.

Отстраненность России от Тибета оставалась неизменной, несмотря на многолетние настойчивые попытки местного правительства вовлечь Россию в решение тибетских проблем. Эти попытки были вызваны тем, что традиционные связи религиозных и светских правителей Тибета с маньчжурскими правителями Китая на протяжении предшествующих столетий обеспечивали Тибету безопасность от внешних посягательств, но упадок Цинской империи к началу XX в. вынуждал Тибет искать другого гаранта. Для тибетских правителей таким гарантом могла стать Россия. Однако ни специальные тибетские посольства в Россию, ни прямые обращения далай-ламы к царю не побудили царское правительство обещать помощь Тибету; оно также избегало в какой-либо форме поддерживать у ламаистского первосвященника сепаратистские замыслы по отношению к Китаю.

Правительство вице-короля Британской Индии лорда Керзона относилось крайне отрицательно к стремлению Тибета обеспечить себе какую-либо защиту. Для пресечения попыток со стороны Тибета добиться помощи России это правительство стало усиленно пропагандировать миф о «русской опасности» в Азии, в предшествующие десятилетия питавшийся англо-русским соперничеством в этом регионе. Искусственно создавались дипломатические документы, пресса, в которых варьировалась эта «опасность». Главным вдохновителем этой кампании был Керзон. В инспирированных им публикациях фальшивая версия о «русской опасности» была возведена в принцип, который был поставлен выше

---

[7] Попов А. Россия и Тибет.— Новый Восток, 1927, кн. 18, с. 101.

[8] Итоги и задачи изучения внешней политики России. М. 1981, с. 354.

факта: нет ни одного свидетельства об экспансии, агрессии или хотя бы заинтересованности России в Тибете.

Одним из наиболее распространенных аргументов, используемых для доказательства «русских интриг» в Тибете, является ссылка на якобы заключенные Россией договоры с тибетскими правителями и с цинским Китаем об установлении русского протектората над Тибетом. Видный тибетолог Й. Колмаш пишет, что «причиной беспокойства британского правительства стали сообщения о существовании секретного соглашения между Россией и Китаем, по которому Россия гарантировала целостность Китая, а Китай в свою очередь передал ей все свои интересы в Тибете» [9].

Вряд ли можно поверить в правдивость того, что предметом секретной договоренности могло стать согласие цинского Китая на установление протектората России над Тибетом, поскольку решения такого масштаба, если бы они действительно имели место, должны были вызвать активную реакцию других государств. Кроме того, сообщения о такой договоренности не соответствовали характеру сложившихся в ту пору отношений между Россией и Китаем, которые находились под пристальным наблюдением держав, оказывавших противодействие русско-китайским договоренностям. «Провозглашение державами доктрины «открытых дверей» и принципа сохранения территориальной целостности Китая, соглашение дипломатических представителей при подписании договора 1901 года (заключенного державами с Китаем после подавления восстания ихэтуаней.— *Н. К.)* не допускать сепаратных действий в Китае» [10] свидетельствовали о росте взаимной подозрительности, ставшей питательной средой для различных слухов, подобных сообщениям о китайско-русской договоренности по Тибету. Чиновники правительства Керзона в Британской Индии инспирировали и поддерживали такие слухи, планируя активизировать свою тибетскую политику, видели в Тибете объект легко осуществимой колонизации и склоняли метрополию к осуществлению этого мероприятия, «предотвратив тем самым закрепление России в Тибете» [11].

Лондонское правительство имело серьезные основания не верить подобным сообщениям. В начале 1903 г. посол России в беседе с английским министром иностранных дел, ссылаясь на инструкции своего правительства, заверил, что «не существует никакой конвенции о Тибете, что русское правительство не имеет никаких агентов в Тибете и не намерено посылать туда ни консула, ни посольства. Он даже выразил удивление по поводу этого английского запроса. Посол заявил, что русское правительство не имеет никаких планов в отношении Тибета» [12]. Несмотря на заверения такого рода, в Лондоне вновь и вновь возвращались к теме русско-тибетских отношений. В марте 1903 г. министр иностранных дел России писал российскому послу в Лондоне: «Признаюсь, все сказанное вам великобританским статс-секретарем по иностранным делам производит впечатление даже неостроумной уловки, к которой обычно прибегают как только представляется необходимость прикрыть свои собственные замыслы. В самом деле, трудно допустить, чтобы маркиз Лансдаун, знакомый с условиями политической жизни Тибета, мог серьезно быть озабочен «циркулирующими слухами», несомненно пущенными самими же англичанами, о мнимой конвенции между Россией и Тибетом. Более чем странным представляются запросы великобританского статс-секретаря относительно каких-то планов России в Тибете» [13].

---

[9] Kolmaš J. Tibet and Imperial China. Canberra. 1967, p. 57.
[10] Новейшая история Индии. М. 1967, с. 366.
[11] АВПР, Дипломатический архив, Government of India, Foreign Department, ser. B. № 5, инд. № 25, pp. 36—38.
[12] Там же, № 78, инд. № 130—172, p. 26.
[13] АВПР, Китайский стол, 80 к., д. 1450, л. 37.

При отсутствии у России каких-либо политических, военных или экономических интересов в Тибете правительство далай-ламы, обвинив Цинов в неспособности защитить край от иностранного вторжения, решило использовать Россию для выполнения той роли и тех функций, которые ранее выполнялись Цинами [14]. В сложившейся ситуации такой выбор не был случайным, он был сделан после того, как тибетские посольства побывали в других европейских странах. Китайские историки отмечают целенаправленность этих тибетских поисков, исходя из политики держав в Азии в предшествующие десятилетия, с точки зрения выбора «наиболее подходящего союзника», следствием чего был вывод, что «единственно Россия может помочь Тибету в его борьбе против Англии» [15].

С самого начала попыток Лхасы установить отношения с Петербургом царское правительство проявляло чрезвычайную сдержанность. Во «всеподданнейшей записке» МИД предлагалось не придавать большого значения тибетскому посольству, прибывшему в Петербург, и указывалось: «Так как передача письменного ответа на ходатайство далай-ламы (об оказании помощи Тибету.— *Н. К.)* представляло бы во многих отношениях неудобство, то, по-видимому, не имеется оснований к дальнейшей задержке здесь его посланцев» [16]. Царь ответил далай-ламе уклончиво. Дипломатично сообщалось, что «приятно было осведомиться о желании Вашем установить постоянные отношения между державою Российскою и Тибетом и мною повелено дать возможные по сему предмету объяснения Вашим послам» [17].

Помимо письма далай-ламы, царю было доставлено также письмо тибетских министров, в котором, в частности, говорилось, что приближенные служители далай-ламы специально командированы, чтобы русские и тибетцы соединились в мире и установили между собой как бы родственные отношения [18]. Как и в царском письме, в ответе МИД не выражалось каких-либо пожеланий в этом направлении; МИД был уклончив, то есть в целом Россия не проявила интереса к тибетцам и не согласилась с их предложением установить двусторонние официальные отношения.

В печати того времени было много информации о тибетском посольстве. Петербургская газета «Новое время», излагая различные точки зрения по Тибету, часто отражала мнения и взгляды не правительственных кругов, хотя и была официозной, а намерения и прожекты авантюрных группировок, стремившихся извлечь материальные выгоды из политических коллизий. В этой связи российский МИД сделал серьезное «внушение» редактору газеты, поскольку публикации «Нового времени» не соответствовали политике правительства, которое к тибетскому посольству относилось как к преследовавшему только религиозные цели. И действительно, им были установлены обширные связи с Русской православной церковью, с ее деятелями, в том числе с монастырской общиной Соловецкого монастыря, в ботаническом заповеднике которого (Теплый хутор) и поныне растет шиповник, семена которого были присланы далай-ламой. Целью этих связей была проповедь буддизма. Впоследствии было осуществлено строительство буддийского храма в Петербурге на пожертвования российских буддистов — калмыков и бурятов, но главным образом на деньги, присланные далай-ламой.

Тибетские посольства в Россию для выполнения поставленной далай-ламой задачи были безрезультатны, официальные тибетско-русские

---

[14] История Китая с древнейших времен до наших дней. М. 1974, с. 217.
[15] Хуан Фэньшэн. Ук. соч., с. 110; Лю Гуаньи. Краткая история империалистической агрессии в Тибете. Бэйцзин. 1951, с. 7 (на кит. яз.).
[16] АВПР, Китайский стол, 80 к., д. 1455, л. 7.
[17] Там же, д. 1448, л. 103.
[18] Там же, л. 98.

отношения не удалось установить. Отсутствие таких взаимоотношений давало Керзону возможность решать тибетские проблемы по своему усмотрению. Причем индифферентность царского правительства совершенно несовместима с апокрифом об англо-русском соперничестве и борьбе за Тибет. Эта несовместимость породила в историографии паллиатив, согласно которому Россия хотя и не стремилась закрепиться в Тибете, а тем более захватывать его, тем не менее использовала его проблемы для ведения дипломатической игры. Так, индийский историк П. Мехра считает, что интерес царского правительства к Тибету был «авантюрным» и что оно преследовало цель создать затруднительную ситуацию для Великобритании в Европе; современная мировая тибетология не обнаружила следов какой-либо борьбы России за Тибет и отступила от прежней ложной версии борьбы и соперничества [19].

При всей ограниченности предложенного Мехрой отступления от господствующего на данный предмет взгляда оно не нашло до настоящего времени общего признания. Вместе с тем нельзя согласиться с трактовкой Мехрой причастности России к решению тибетских проблем в связи с тем, что она предполагает политическую игру между Англией и Россией, которая, имея известные активы в Тибете, должна была делать уступки в тибетских делах для получения от Англии компенсаций в других, более важных для царской политики регионах. В действительности русская дипломатия не играла в тибетские игры. И иллюстрацией этому может служить приведенный Поповым эпизод, который свидетельствует о попытках Англии затеять такую игру.

Во время военной интервенции из Индии в Тибет в марте 1904 г. в Лондоне были заняты одновременно и тибетскими, и египетскими делами. Российский посол в Лондоне А. Бенкендорф в телеграмме от 27 марта сообщал, что французский посол П. Камбон после беседы с британским министром иностранных дел Лэнсдауном сообщил ему (Бенкендорфу) «как бы по собственной инициативе, что при обращении английского правительства к нам в связи с египетским вопросом мы могли бы, прежде чем дать свой ответ, поставить ему условия в вопросе тибетском». При несомненной выгодности таких сделок российская дипломатия явно пренебрегала ими, несмотря на намеки Англии. На телеграмме Бенкендорфа царь сделал пометку: «Не совсем ясно, какая связь между Египтом и Тибетом» [20]. Сетуя в этой связи на «неповоротливость царской мысли», Попов должен был бы отметить, что «неповоротливость» в тибетских делах была характерна тогда и для всей русской дипломатии.

Отстранение России от участия в тибетских делах давало возможность цинскому двору и лондонскому правительству решать их по-своему. Предпосылки для такого совместного решения были созданы в предшествующие десятилетия, когда, согласно современной китайской историографии, взаимодействие между маньчжуро-китайскими феодальными правителями и иностранными силами, установившееся в результате совместного подавления восстания тайпинов, получило после этого дальнейшее развитие. Это нашло отражение в единообразном внешнеполитическом курсе. Взаимодействие между маньчжуро-китайскими феодальными правителями и британским колониализмом проводилось в русле «мира и согласия» — того политического курса, который определенно сформировался к началу XX века.

Дело здесь было не только в том, что эта политика приносила Ци-

[19] Профессор Пенджабского университета в Чандигаре П. Мехра опубликовал ряд исследований по истории отношений держав в Центральной Азии в начале века (напр., The McMagon Line. Delhi. 1974; The Younghunsband Expedition. Delhi. 1969; Tibetan Polity, 1904—1937. Wiesbaden. 1976; см. также: India Quarterly, 1971, vol. XXVII, № 2). Однако ни одна из них не содержит фактов о дипломатической игре России с использованием «тибетской карты».

[20] Попов А. Ук. соч., с. 113.

нам крупные материальные выгоды; китайские авторы пишут: «Цинское правительство, видя, что находившиеся в руках иностранцев шанхайские таможни, занимавшие главнейшее место во внешней торговле, непрерывно увеличивают доходы, наделило иностранцев всеми правами» в этой сфере. Гораздо серьезнее было проявление политики «мира и согласия» в вопросах, охватывавших коренные государственные интересы; здесь цинское правительство «отдавало предпочтение англичанам перед всеми другими иностранцами». В конце XIX в., пишут те же авторы, «наибольшую активность проявляла Англия, поэтому ее роль была наибольшей»; получая от Китая огромные выгоды, Англия была заинтересована в решении и действительно решала даже такие вопросы, как вопросы войны и мира [21].

Известно, что «британская имперская политика была всегда обязана расчетливо строить свои отношения с китайским правительством и учитывать их влияние на британские вложения, сконцентрированные в долине Янцзы», избегая англо-китайских политических столкновений [22]. Концентрация политических и экономических интересов Великобритании в Китае имела своим следствием взаимодействие обеих держав на периферии цинской империи. Кроме того, на протяжении предшествующих столетий она не подвергала Тибет экономической эксплуатации из-за его крайней бедности. Однако цинские правители претендовали на политическую гегемонию в этом крае. Так возникло совпадение интересов цинского феодально-бюрократического режима с британскими интересами в Центральной Азии, сформировалась политика «мира и согласия».

На этой базе строились отношения обеих держав с Тибетом. В Азии на стыке Памира с Гималаями, а затем и в более обширных районах, сопредельных с Британской Индией, имели место не вражда и противоборство Великобритании с цинским Китаем, а взаимная поддержка в достижении обеими сторонами общих целей. Свидетельством такого взаимодействия служит серия международно-правовых документов — англо-китайских соглашений 1890, 1904, 1906, 1907 и 1914 гг., а также вооруженные акции — экспедиция Янгхазбенда и война карательных войск во главе с Чжао Эрфэном против Тибета, длившиеся почти беспрерывно с 1903 по 1913 год. Вся система мероприятий дипломатического и военного характера, осуществленных Англией и Китаем, была направлена на подавление Тибета. Естественно, что она вызвала вооруженное сопротивление тибетцев внешним силам, сконцентрировавшееся в конечном счете против цинского Китая, что привело к антагонизму между китайцами и тибетцами.

В литературе уделяется большое внимание роли далай-лам в социальных потрясениях Тибета в прошлом и в настоящем. Обычно они изображаются ставленниками внешних сил, особенно это относится к далай-ламе XIII. «Английским властям,— писал В. П. Леонтьев,— удалось привлечь далай-ламу и его окружение к выполнению своих планов в Тибете. Тибетские сепаратисты искали опору в английском империализме» [23]. В действительности ни далай-лама, ни его окружение не были ни британскими, ни цинскими марионетками, и тем более они не являлись ставленниками России. Нет и оснований противопоставлять далай-ламу Цинам. За амбанем, представителем Цинов в Тибете, стояла не просто огромная империя, но древняя богатейшая китайская цивилизация, являвшаяся достоянием и тибетцев. Далай-лама и его окружение оставались в стороне от активной, тем более вооруженной борьбы отчасти в силу клерикально-пацифистского мировоззрения, отчасти по политическим соображениям, поскольку открытая вражда к центральному китайскому

[21] Новая история Китая. Т. 2, с. 29, 250 (на кит. яз.).

[22] Woodman D. Op. cit., p. 143.

[23] Леонтьев В. П. Иностранная интервенция в Тибете. М. 1956, с. 132.

правительству была несовместима с традиционной системой отношений правителей Китая и Тибета, складывавшейся на протяжеиии многих веков.

В случае успеха интервенции из Индии высший тибетский авторитет — далай-лама — мог превратиться в марионетку в руках завоевателей, в связи с чем он был вынужден бежать из страны. Во время своей многолетней вынужденной эмиграции в Моиголию в 1904 г. и в Британскую Индию в 1910 г. он не терял надежды, что Россия окажет решающее воздействие на урегулирование тибетских проблем. Даже находясь в Индии, где британские колониальные власти строго ограничили его связи, он писал в МИД России: «Надеюсь, что правительство его величества уже знает, в силу каких условий и событий я вынужден был направиться в Индию, а не на север к России. Высокое правительство пусть верит мне, что моя глубокая преданность России была с самого начала чистой и неизменной и впредь будет таковой. Только временные условия, в каких я сейчас нахожусь, не дают мне возможности более чувствительно выразить мою преданность. Ныне, находя нравственное удовлетворение в пребывании своем в священиой Индии, я надеюсь, что по милости всевышнего Будды мне все же в конце коицов удастся вывести мою страну из затруднительного положения при помощи только великой России» [24].

Стремление России избежать вовлечения в тибетский кризис сказалось и в том факте, что единственное международное соглашеиие о Тибете, заключенное Россией,— англо-русская конвенция 1907 г., оформляло ее невмешательство в тибетские дела; конвенция подтверждала также права Китая в Тибете; и в то же время другой участник конвенции, Великобритания, добилась для себя особых условий в Тибете, против которых русская сторона не возражала. Д. Вудмен с помощью материалов британского архива резюмировала мнение высших чиновников английского правительства, ведших несколько позже переговоры по Тибету с царским министром иностранных дел С. Д. Сазоновым, весьма красноречиво: «Сазонов фактически намекает — неважно, что вы там хотите от Тибета, лишь бы вам в удовольствие» [25].

Современная китайская печать при обращении к этой теме обычно не упоминает Россию, а империалистическую агрессию в Тибете рассматривает только как британскую. Примечательна в этом отношении серия статей в журнале «Бэйцзин Чжоубао», в которых вина за поражение Тибета во время экспедиции Янгхазбенда в 1904 г. возлагается не только на интервентов, но и на цинское правительство. Когда правительство Британской Индии предприняло вооруженное вторжение в Тибет, говорится в этом журнале, «тибетская армия и народ выступили на борьбу. Но позднее местное тибетское правительство издало указ о прекращении сопротивления, поскольку цинское правительство отказалось поддержать тибетцев. Унизительная политика цинского двора, капитуляция вооруженных сил тибетцев и военное превосходство сил противника привели к еще одному поражению» [26].

Объективный и непредубежденый подход к анализу позиции России в отношении Тибета в период тибетского кризиса начала XX в. дает основания в соответствии с подлинной историей определить действительную роль каждой из сторон — Тибета, Китая, Англии и России — в развитии тогдашних событий. Россия не имела ни политических, ни военных, ни экономических интересов в Тибете; она продемонстрировала свою полную непричастность к решению его проблем.

---

[24] АВПР, Китайский стол, 80к, д. 1458, л. 147.
[25] Woodman D. Op. cit., p. 151.
[26] Жэньминь жибао, 2.VI.1984; 6.VIII.1985; Хуици, 1984. № 14; Бэйцзии чжоубао, 1982, №№ 47—61; 1983, №№ 24, 26.

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЭМИЛИЯ ПИМЕНОВА

Н. П. Ефремова

«Маленький островок Ашур-адэ, в юго-восточном углу Каспийского моря, в Астрабадском заливе, почти совершенно утойул в зелени, из-за которой выглядывали беленькие домики с высокими камышовыми крышами. Вдали синеют горы, окаймляющие полукругом персидский берег [1]»,— так начинаются воспоминания Эмилии Кирилловны Пименовой, детство которой прошло в этом живописном уголке Прикаспия. Ей не раз довелось пережить в ту пору морские бури. Семья жила на шхуне, которой командовал ее отец К. Н. Петроченко. Эмилия не боялась моря, и отец был рад видеть в ней истинную дочь моряка и внучку казака (ее дед был атаманом Астраханского казачьего войска, потомком гетмана Наливайко). С 13 лет она помогала вести домашнее хозяйство. Но тогда в ней, конечно, иикто не мог угадать будущего автора работ по социально-политической тематике, составительницу географических и этнографических публикаций и переводчика книг зарубежных авторов [2].

Жизиенный путь Пименовой начался в 1855 году. Десятилетием позже и на берегах Каспия тоже установились традиции разночинно-революционной среды. Летом раз в неделю, а зимой раз в три недели к острову причаливали пароходы, доставляя газеты и журналы. Эмилия посещала библиотеку при морском клубе, в кружке молодежи участвовала в обсуждении новостей. «Я помню такие споры по поводу разиых событий франко-прусской войны, осады Парижа, Коммуны»,— писала она [3]. В зрелые годы, когда Пименова оценивала уроки борьбы парижских коммунаров, она сумела подойти к этой теме уже более обстоятельно [4]. С юности привыкиув к чтению периодики, Эмилия считала ее основным источником познавия жизни общества, в особенности зарубежного. А образный и эмоциональный стиль изложения привлекал к ее трудам самые широкие круги читателей.

Что касается впечатлений юности, то она даже спустя десятилетия помнила о бесправии матросов, зуботычинах, которые им доставались, то, как куражились над ними старшие по званию. Перед ее глазами всегда стоял пример отца, который никогда не унижал младших по чину, не злоупотреблял служебным положением и с сочувствием относился к представителям малочисленных и угнетеиных народов. Он пользовался особенно большим уважением среди туркмен. А в усадьбе ее деда, на границе Киевской и Волынской губерний, было много поляков, остро сталкивавшихся с проблемой «инородцев» и «иноверцев». Эмилия видела каждодневную молчаливую трагедию своей матери-польки. Пройдут годы, и писательиица, обратившись к теме национального неравенства в России, напишет: «Поляки, живущие в Петербурге, лишены права обучать своих детей на родном языке, и польские школы были все закрыты» [5].

ЕФРЕМОВА Ната Павловна — кандидат исторических иаук, доцент.

[1] Пименова Э. К. Воспоминания. Дни минувшие. М.— Л. 1929, с. 11.
[2] Лишь по каталогу Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина насчитывается свыше 60 ее работ.
[3] Пименова Э. К. Ук. соч., с. 57.
[4] Пименова Э. К. История Европы за последнее столетие. Б. м. 1918.
[5] Пименова Э. Единство государства и автоиомия. СПб. 1906, с. 5.

Многие публикации Пименовой касались жизни различных народов. Интерес к ним шел не только от детских впечатлений. На нее оказала влияние встреча с известным путешественником, исследователем Черной Африки Г. Стэнли. Возвращаясь из Египта и направляясь в Индию, он, заметив интерес своей собеседницы к рассказам о народах далеких стран, пригласил ее совершить поездку в США. Впоследствии Пименова не раз писала о жизни народов Америки. Серьезным шагом в популяризации этнографических знаний явилась ее книга о Н. Н. Миклухо-Маклае. Повествуя о содержании его дневников, она показала знаменитого путешественника и как ученого, я как защитника «прав угнетаемых австралийских племен» [6].

Работая над составлением и переводами этнографических изданий, Пименова опиралась и на собственные живые наблюдения в ряде путешествий. В ее описаниях непременно присутствовал социальный анализ. Она ни в чем и никогда не оправдывала завоевателей, а в угнетенных народах видела равных, ничем не уступающих развитым народам, по душевным же качествам нередко их превосходящих. Таким было ее отношение к аборигенам Австралии и автохтонам Латинской Америки [7]. Та же тенденция присуща ее исследованию быта угнетенных наций в Австро-Венгрии; негров в США и в Южной Африке; ирландцев в Британии; коренных жителей в Маньчжурии [8].

В российской публицистике Пименова стала пропагандисткой новых методов и приемов работы. Пожалуй, первой она обратила внимание на то, что в американской прессе появились очерки, написанные по принципу «журналист меняет професссию»: писательница и поэтесса для изучения фабричного быта «сняли свои нарядные платья и превратились в простых работниц» [9]. А через несколько лет в ее пересказе вышла книга о судьбе Е. Бэнкс — англичанки, которой пришлось побыть в США и служанкой, и сборщицей клубники [10].

В числе других немногочисленных тогда публицисток Пименова не раз обращалась к вопросу о положении женщины в буржуазном обществе, рано включившись в борьбу за эмансипацию. Даже ее отец, человек не домостроевского склада, не понимал устремлений дочери и хотел, чтобы она поскорее вышла замуж, забыв «завиральные идеи» [11]. Самый ее побег с острова, из «водяной тюрьмы», стал возможен благодаря инженеру-механику И. Г. Пименову, который согласился на брак с Эмилией и последующее предоставление ей полной свободы в столице, где он собирался слушать лекции в Горном институте.

В 1873 г. Пименова поступила на курсы акушерок при Военно-Медицинской академии. За курсами внимательно следили власти. На экзамены собиралась высокопоставленная публика: «дамы в великолепных шелковых и бархатных платьях»; «мужчины в расшитых золотом мундирах, звездах и лентах», которые смотрели на курсисток, «как на каких-то заморских зверей; однажды пожаловал царь: он остался доволен внешним видом барышень, причем для представления ему подобрали тех, кто менее других походил на «нигилисток» [12]. Окончание курсов не давало права поступать на государственную службу. Но тогда это была «единственная дверь», которая открылась перед свободомыслящими девушками в «темном царстве». Они с обостренным интересом следили за известиями о женском движении в западных странах.

В ту пору многие доказывали, будто «женский вопрос» не может «выдаваться за нечто серьезное» [13]. Позднее Пименова рассказала соотечественницам об одной русской женщине — Болоковской, которая в 1899 г. первой из эмигранток приступила во Франции к выполнению адвокатских обязанностей [14]. Пименова писала также о том,

---

[6] Один среди дикарей. Л.— М. 1925, с. 14.

[7] Пименова Э. Австралия и ее обитатели. СПб. 1903; ее же. За океаном. Южная Америка. СПб. 1908.

[8] Пименова Э. Борьба за свободу в Австрии и Венгрии (1848 год). М. 1920; Мир божий, 1905, № 1, с. 52сл.; № 2, с. 313сл.; 1900, № 6, с. 244сл.; 1904, № 12, с. 148сл.

[9] Мир божий, 1905, № 7, с. 206.

[10] Из истории жизни одной американской журналистки. М. 1911.

[11] Пименова Э. К. Воспоминания, с. 80.

[12] Там же, с. 101.

[13] Бакунин П. Запоздалый голос сороковых годов: по поводу женского вопроса. СПб. 1881, с. 138.

[14] Мир божий, 1901, № 5, с. 53сл.

как действуют женские клубы в Англии, Лига защиты прав женщин в Париже [15]. По ее мнению, наибольших завоеваний удалось достичь женщинам в Германии [16]. Она констатировала, что в начале XX в. участие женщин в общественной жизни расширилось, однако даже в Англии обстановка для эмансипации оказалась неблагоприятной [17]. Систематически писала она о положении женщин в США.

Особое внимание уделяла Пименова участию женщин в революционном движении. С большой симпатией рассказала она о китайской учительнице Чу Цзынь, организаторе молодежи, издательнице журнала и агитаторе, которая после подавления вооруженного восстания в Шанхае и Нанкине продолжала борьбу в подполье, была схвачена и казнена [18].

По окончании медицинских курсов Эмилия Кирилловна начала работать в Колпине под Петербургом. «Со стороны рабочих,— писала она,— я сразу встретила доверие, и число моих пациентов возрастало» [19]. Быт пролетариев поразил ее нищетой и вопиющими антисанитарными условиями. Ее материальное положение тоже было плачевным, но брать плату с рабочих и крестьян окрестных деревень она не хотела, богатые же пациенты ее не приглашали. Муж начал выпивать. В 30-летнем возрасте, имея на руках четверых детей, Пименова, договорившись с мужем, что он будет платить ей небольшое пособие на детей, оставила его и переехала в Петербург.

Она решила использовать знание иностранных языков для работы в каком-либо периодическом издании. Встретившись с женой народника Н. К. Михайловского, была приглашена в его дом, подружилась с писателями Г. И. Успенским, Д. Н. Маминым-Сибиряком. Нашлась и работа в газете «Гражданин» — выборка политических новостей из иностранных газет. Но Пименова не находила душевного покоя, ибо газета, в которой она работала, придерживалась реакционного направления. В редакции она встречала людей, о которых думала: вот те, кто высасывает «соки из бедной России» [20]. Воспользовавшись конфликтом с редактором «Гражданина», Пименова оставила работу в этой газете.

Ей помогла встреча с А. А. Давыдовой, богатой вдовой, которая отдала все свои средства основанному ею журналу «Мир божий». В нем Пименова проработала «из книжки в книжку» 17 лет. Ей поручили вести отделы иностранной жизни и политики, иностранной библиографии. Сотрудничала она и в газете «Новости», которая принадлежала О. Нотовичу. Он отличался неуемной страстью к писанию, был очень тщеславен в «мелко либеральничал в своих передовицах» [21]. Но направление газеты было в целом либеральным. К тому же она охватывала своим влиянием широкие слои населения, особенно в провинции. В ней сотрудничал и знакомый Пименовой писатель В. Г. Короленко.

Эмилии Кирилловне приходилось работать с утра до позднего вечера, причем первые годы она обходилась без выходных и без отпусков. Однажды в редакцию явился офицер, служивший при военном министре генерале А. Н. Куропаткине. Он попросил Пименову заняться составлением бюллетеней по иностранной политике, однако анонимно. За эту работу ей прилично платили, и так продолжалось несколько лет. Каково же было изумление Куропаткина, когда он узнал, что серьезные, хорошо аргументированные обзоры составляла женщина. По просьбе Куропаткина Пименова взялась помогать в составлении обзоров и другому офицеру и делала это вплоть до русско-японской войны.

Благодаря Пименовой читатели познакомились со многими историческими личностями. В ее переводе вышла биография Дж. Рескина — аристократа, порвавшего со своей средой утописта [22]. Много раз писала она о пролетариях, неизменно становясь на их сторону [23]. В статье о Дж. Лондоне она подчеркивала, что рабочие «уже поду-

---

[15] Там же, 1905, № 2, с. 11сл.; 1901, № 5, с. 53сл.

[16] Пименова Э. Вильгельм II. М. 1914, с. 9.

[17] Англия накануне войны. М. 1914, с. 33.

[18] Пименова Э. Китайская революция: как подготовлялся китайский 1905 год. Л.— М. 1925, с. 44—45.

[19] Пименова Э. К. Воспоминания, с. 110—112.

[20] Там же, с. 134.

[21] Русанов Н. С. На родине, 1859—1882. М. 1931, с. 176—177.

[22] Джон Рескин как социальный реформатор.— Мир божий, 1901, № 5.

[23] Мир божий, 1900, № 2, с. 13, 17; 1904, № 12, с. 113; 1905, № 2, с. 310; и др.

мывают об изменении социальной организации в свою пользу» и «не отворачиваются больше от учения, которое раньше считали утопией»[24].

В разгар первой российской революции Пименова опубликовала брошюру «Митинги». Обратившись в ней к истории Англии, она отмечала энергию, упорство и самоотверженость британских трудящихся, которые использовали митинги как мощное средство влияния на общественную жизнь и добились того, что правительство уже «не осмеливается оспаривать у народа права собираться, когда и где ему вздумается и в каком угодно количестве»; да и в ряде других стран митинги были признаны «не только полезными, но прямо необходимыми»[25].

Позднее Пименова предостерегала от слишком больших надежд на демократические институты в рамках буржуазных государств: она писала, что английский парламент никогда не являлся представительством всего народа; буржуазная демократия не способна удовлетворить коренные интересы трудящихся; при каждом удобном случае эксплуататоры пытаются отнять у рабочих их завоевания и преследуют рабочие объединения[26]. Демократию власть имущие всегда приносят в жертву своим интересам[27]. Но грядущее торжество рабочих становилось для нее все очевиднее. Еще в годы первой российской революции она подчеркивала важность сплочения пролетариата; социал-демократия «пробуждает в народе интерес к политической жизни», и это является залогом успешной борьбы[28].

Наиболее обстоятельными историческими трудами Пименовой были книги «Первое рабочее движение в Англии» (о чартизме) и «Очерки Великой Французской революции», вышедшие в 1919 году. Ей довелось писать и о положении трудящихся в СССР: она подготовила в соавторстве монографию о шахтерах[29].

Нами найдены не известные ранее архивные материалы о том, как ей приходилось преодолевать рогатки царской цензуры, бороться за публикацию в России сочинений К. Маркса и переводов работ исследователя истории революционного движения в России А. Туна[30]. В своем доме она не раз давала приют революционным кружкам; там встречалась молодежь, кипели «споры марксистов с народниками»[31]. Тяжелые месяцы ее жизни пришлись на 1912 г., когда она едва сводила концы с концами: муж умер, ей пришлось выплачивать долги, а работу она потеряла[32].

В ее биографии остается немало «белых пятен». Неясны подробности ее жизни в первые годы после Октября. Известно, что она быстро установила контакт с советскими издательствами. Помог ей видный историк, член редколлегии журнала «Книга и революция» и председатель правления треста «Петропечать» М. К. Лемке. Вскоре увидел свет ряд книг Пименовой, в том числе «Китайские революции». Отмечая заслуги Сунь Ятсена, она писала, что «путь, который прошел русский пролетариат от 1905 года до Октября 1917, неизбежно будет пройден и китайским пролетариатом»[33].

Когда в 1929 г. увидели свет ее воспоминания, автор предисловия к ним ничего не сообщил о Пименовой. В архивах Москвы и Ленинграда никаких документов о последних годах ее жизни обнаружить не удалось. По-видимому, она скончалась в возрасте примерно 80 лет. Еще 2 ноября 1928 г. она заполняла анкету для «Словаря современника», а в 1929 г. подарила Публичной библиотеке в Ленинграде рукопись своих мемуаров[34].

---

[24] Там же, 1905, № 7, с. 91.
[25] Пименова Э. Митинги. СПб., 1906, с. 21.
[26] Пименова Э. История Европы за последнее столетие. Б. м. 1918; ее же. Первое рабочее движение в Англии. Пг. 1919, с. 7.
[27] Железный канцлер Бисмарк. М. 1917, с. 41—42.
[28] Пименова Э. Как немцы боролись за свою свободу. СПб. 1906, с. 96.
[29] Пименова Э., Острогорская А. Донбасс и его богатства. Л. 1925.
[30] Институт русской литературы и искусства (ИРЛИ), ф. 661, № 858, лл. 6, 30об.
[31] Елпатьевский С. Я. Воспоминания за 50 лет. Л. 1929, с. 262, 266.
[32] Государственная публичная библиотека (ГПБ) им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 300, д. 67, лл. 4, 5; ф. 211, д. 1, л. 1.
[33] Пименова Э. Китайские революции. М.— Л. 1925, с. 105, 115, 117.
[34] ИРЛИ, ф. 103, № 115, лл. 1—2; ГПБ, ф. 1000, д. 1054, л. 1.

АРБУЗНЫЙ БУНТ

Э. Е. Писаренко

Среди документов Екатерины II, относящихся к концу ее царствования, имеется именной указ от 28 августа 1796 г. князю П. А. Зубову, управлявшему тогда Новороссией, в котором, в частности, говорилось, что «в Херсоне произошли от матросов буйства и продерзости, клонящиеся не токмо к нарушению спокойствия сего города, но и ко оскорблению Величества»[1]. Императрица повелевала «немедленно поручить исследование дела сего вице-адмиралу Мордвинову в генерал-поручику Хорвату, которым предпишите тотчас ехать на место и означенное следствие произвести над преступниками строжайшим образом, употребляя всевозможные старания открыть прямых виновников и соучастников сих безпорядков и их намерение, также причины к тому их побудившия, к чему показания взятых в Херсоне найденных в помянутых продерзостях нижних военнослужителей послужить могут руководством, дабы зло сие в наружу точно выведено и пресечено было в самом начале. О преподании по сему делу по требованию вашему или генерал-порутчика Хорвата всех пособий без малейшаго продолжения времени от стороны тамошняго воинскаго начальства дано Наше повеление генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому. По начатии же следствия что из онаго оказываться будет, имеете к нам представлять подробные записки»[2].

Екатерина II в конце царствования сама уже редко писала. Резолюции на докладах обычно накладывались рукою статс-секретарей, а она только подписывала. Нередки случаи, когда, например, доклады Сената лежали без движения месяцами, по году и более. Что же заставило царицу срочно, детально и в столь решительном тоне обратиться к своему фавориту, бывшему тогда в зените могущества, с именным секретным указом о бунте херсонских матросов? Французская революция встревожила ее и заставила внимательно следить и за развитием событий во Франции, и за проявлениями «вольнодумства» в России. Революционные идеи становились опасной заразой. С особенной подозрительностью относилась царица к событиям в приграничных районах страны, в ряду которых одной из важнейших была Новороссия (Южная Украина и Приазовье). Россия энергично готовилась тогда к войне с Францией. Во главе предназначенной для того армии мыслился Суворов. И то, что Екатерина привлекала именно его к возможному подавлению бунта херсонских матросов, свидетельствует о том, сколь серьезно относилась она к факту бунта.

Еще до указа Зубову, того же 28 августа, Екатерина направила секретный рескрипт Суворову: «Граф Александр Васильевич! По дошедшему до нас сведению якобы в Херсоне от матрозов произошли буйствы и продерзости, клонившиеся не токмо к возмущению общественного в том городе порядка, но даже и ко оскорблению Величества, за благо мы признали произшествие сие немедленно исследовать и прямых виновников и соучастников оного открыть. Вам же повелеваем [...] чинить буде бы паче чаяния нужда потребовала требуемыя пособия, следуя свойственной Вам деятельности и любви ко благу Отечества»[3].

Получив указ царицы, Зубов в тот же день направил председателю Черноморского адмиралтейского правления вице-адмиралу Н. С. Мордвинову секретное предписание: совместно с правителем Екатеринославского наместничества генерал-поручиком И. И. Хорватом «тотчас отправиться в Херсон, [...] и вместе с ним, по точным словам высочайшего указа, приступить к изследованию означенного происшествия без малейшего замедления и так как важность дела требует, стараться непременно дойти до источника, откуда зло сие родилось, с каким намерением и по какому побуждению, для чего и всех тех, кои окажутся по сему делу сомнительными, призы-

---

ПИСАРЕНКО Эрнест Ефимович — кандидат исторических наук, Советская социологическая ассоциация.

[1] Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 6, оп. 1, д. 545, лл. 9, 10.
[2] Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, л. 31.
[3] ЦГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 545, л. 12.

вать перед суд, не взирая ни на какое лицо, и в случае изобличения поступать с таковыми по всей строгости законов» [4].

У Мордвинова в то время было очень непростое положение: фактически всякое лыко ставилось ему в строку именно Зубовым. Как писал адмирал Шишков, занимавшийся тогда этим по роду службы, любые неполадки на Юге, прежде всего в Херсоне, Николаеве и на Черноморском флоте, Зубов и его подручные ставили в вину Мордвинову как руководителю Черноморского адмиралтейства [5], расположенного в Херсоне и Николаеве. Поэтому весть о буите матросов в портах, где находилось правление Черноморского адмиралтейства, сразу же была использована в интригах Зубова против Мордвинова.

Мордвинов и те, кто под его руководством участвовали вначале в ликвидации бунта, названного впоследствии арбузным, а затем в расследовании, делали все возможное, чтобы доказать, что его как такового вовсе не было. Имевшиеся в их руках некоторые наиболее красноречивые документы были просто уничтожены. Отсюда такая клочковатость, скороговорка, разбросанность соответствующих материалов по разным архивам. Вероятно, сохранились лишь те документы, которые, минуя Мордвинова и его людей, попали в Петербург через подполковника Изюмского легкоконного полка П. А. Яковлева, имевшего от фаворита особые полномочия по Экспедиции устроения южных крепостей. Были и другие источники информации у правительства. Важнейший — статс-секретарь Екатерины II А. М. Грибовский, получавший конфиденциальные письма непосредственно из Херсона, Николаева и Одессы. Одной из центральных тем его переписки того времени и стал, в частности, арбузный бунт [6].

Незадолго до того Зубов в качестве начальника Черноморского флота был поставлен 19 июля 1796 г. в положение, независимое от Адмиралтейств-коллегии, в связи с чем Суворов писал, что Зубову пожаловали «шпагу в скоро при президентстве получит кайзер-флаг Черноморских флотов, кои в своем правлении изгноил и людей выморил» [7]. О справедливости суворовских слов свидетельствует положение матросов, солдат и работных людей в Херсоне. Вот что сообщал в июле 1796 г. сардинский посланник в России граф Л. М. Б. де Ла Тюрби: «В Херсоне — земляная крепость, которую, правда, увеличили после моего первого путешествия (в 1790 г.— *Э. П.*), но которую все же можно причислить только к числу окопов. Дурной воздух, трудность доставления грузов, что заставляет купцов держать магазины в Глубокой (Пристани, на Днепровском лимане.— *Э. П.*), и новые города, которые были построены позднее (Николаев, Одесса.— *Э. П.*), низводят число жителей Херсона до 6000 [...]. В Херсоне постоянная верфь, где строят линейные корабли, которые затем идут в Севастополь; до Лимана их тащут с помощью верблюдов» [8]. Дополним это известие: «Жизнь в зарождавшемся в тогдашнее время (90-е годы XVIII в.— *Э. П.*) Херсоне была нелегка: жителям тяжел был не только климат Херсона, а неустройство общественной жизни во многих отношениях» [9].

Управление военными и морскими делами, осуществлявшееся Зубовым (в отличие от Г. А. Потемкина) из Петербурга, способствовало произволу властей на местах и усиливало недовольство солдат и матросов. Известен отзыв Александра I, писавшего своей венценосной бабушке за полгода до ее смерти: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду» [10].

Середина 90-х годов XVIII в. вообще была отмечена ростом крестьянского движения в Новороссии, включая низовье Днепра, где вплоть до лета 1796 г. для задержания укрывавшихся в плавнях участников крестьянских выступлений привлекались армейские подразделения. Массовые, хотя и эпизодические, волнения имели место

[4] Архив гр. Мордвиновых. Т. 1. СПб. 1901, с. 631.
[5] Шишков А. С. Записки, мнения, переписка. Т. 1. Берлин, 1870, с. 5.
[6] ЦГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 545, лл. 1—6, 33—41об., 2—2об., 16—16об., 17.
[7] Русский биографический словарь. Т. 7, с. 532.
[8] Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1900, кн. 4(195), с. 16 отд. паг.
[9] Серафимов С. А. Историческое описание Херсонского Успенского собора. Одесса. 1881, с. 46.
[10] Ключевский В. О. Соч. Т. 5. М. 1958, с. 313.

в Новороссии летом 1796 г., когда разнесся слух о скором восшествии на престол цесаревича Павла Петровича. Эта весть ассоциировалась в народном представлении с надеждой на освобождение от крепостничества. В Петров день, 29 июня 1796 г. в Елисаветграде, Гуляй-Поле, других городах и местечках, где были ярмарки, имело место волнение — «весьма соблазнительное и не меньше вредное между чернью буйство, сопровожденное криком ура», как указывалось в официальной переписке того времени [11]. Но главные события разыгрались через полтора месяца.

Воскресным утром 10 августа в Николаеве матросы стоявших там военных кораблей, солдаты местного гарнизона и работные люди Черноморского адмиралтейства, «собравшись во множестве на рынок» [12], как докладывал Мордвинову командир Николаевского порта контр-адмирал П. В. Пустошкин, «вооружившись арбузами», с криками «ура!» захватили шесть возов. Николаев в то время еще только строился. В 1795 г. состоялось открытие портовых и других учреждений, из Херсона переведены были контора главного командира, морской кадетский корпус, артиллерийское училище; учреждено комендантское управление, первым комендантом назначен полковник князь М. С. Вяземский; учреждено градоначальство, а первым градоначальником назначен коллежский асессор Вороновский [13]. Последний «был предварен от вознесенского господина губернатора Оболенскаго о предосторожности противу таковых происшествий, случившихся уже в Елизавете, Златополе и других местах, которыя могли быть побуждением каких-нибудь чужестранцев [...], единомышленников французских».

И местная полиция была наготове, арестовала пять матросов-зачинщиков: Корочкина из команды 90-пушечного корабля «Созон», С. Ефимова с бригантины «Никодим», О. Баскакова с фрегата «Святой Никон», корабельного плотника Ф. Кузьмина и гарнизонного солдата Я. Яковлева. Однако в тот же день «после полудни, при таковом же скопище и крике» [14] смута возобновилась. Были схвачены еще шестеро закоперщиков: корабельные плотники Г. Платонов и П. Стахов, матросы Д. Акимов из флотской береговой команды, Н. Григорьев с бригантины «Лев», А. Клементов из ластовой команды и К. Леонтьев с крейсерского судна «Принцесса Елена». Арестованных допросили с пристрастием, но допрос ничего не дал. Во избежание повторения эксцессов в Николаевском порту, гарнизоне, адмиралтействе и на кораблях были приняты меры чрезвычайной предосторожности, усилена охрана рынков, запрещены отлучки солдат и матросов.

Слухи о волнениях в Николаеве быстро распространились. Они носили утопический, процаристский характер и сводились к тому, что на престол вступил император Павел Петрович, издавший указ с разрешением три дня грабить лавки в связи с рождением великого князя Николая Павловича. В этой связи напомним о любопытном документе, датируемом примерно 1795 г.,— «Благовесть Израилю Российскому, то есть приверженным Богу староверам благочестивым»,— свидетельствующем, что идеи равенства, политических и социальных изменений существовавшего строя пытались сформулировать даже выходцы из широких масс. Учитывая прекрасное знание положения армии и детальную разработку плана ее перестройки на демократических началах, содержащихся в нем, вероятным кажется предположение С. Б. Окуня, что этот документ вышел из солдатской среды, где были грамотные люди — писари, например. Копии данного документа ходили по рукам в различных районах страны [15]. Специалистами уже ставился вопрос, не связано ли совпадение даты арбузного бунта с тем сроком, который назначил автор «Благовести» для народного избрания Павла на царство: 1 сентября 1796 года? [16].

Выступление в Херсоне было назначено на 15 августа. Об этом знали многие

[11] ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 699, ч. 11, л. 261; Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Сб. 5. М. 1962, с. 234—235.
[12] ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, л. 28.
[13] Еланский П. Местные исторические монографии. Николаев. 1896, с. 39.
[14] ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, лл. 30, 30об., 28.
[15] Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Конец 18 — первая четверть 19 в. Л. 1956, с. 42—44.
[16] Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. М. 1977, с. 315—318.

жившие там матросы, солдаты и работные люди. Как докладывал херсонский городничий пристав гражданских дел О. Волков командиру Херсонского порта контр-адмиралу Г. К. Голенкину, в 10 ч. утра 15 августа «находящийся на Военном форштадте в должности квартального прапорщик Костычев словесно мне донес, что на предместии онаго военного форштадта караульный 4-го адмиралтейского батальона сержант Иоган Шультинг дал ему, Костычеву, знать, яко он, услыша от стоящих на рынке адмиралтейского ведомства корабельных плотников Севастьяна Гладышева, Гаврила Васильева, Федора Пивоварова, Осипа Кузьмина и Якима Максимова разговоры, в силе таковой, что для новорожденного Его Величества Великого Князя Николая Павловича через три дня грабить, которое-де и начнется сего течения 15-го числа пополудни, в 1-м часу, в сем городе между жителями. При расспрашивании же моем оных плотников оказалось, яко они сие слышали от пришедших из Николаева двух неизвестных матросов, о чем уже и слух по городу между простолюдинами носится»[17].

Рапорты аналогичного содержания Волков направил одновременно инженер-генерал-поручику М. А. Фемерсу, правителю Вознесенского наместничества генерал-майору князю П. Н. Оболенскому и в Вознесенское наместническое правление. Позднее, в ходе следствия, Волков показал, что 16 августа «находившийся на Привозном рынке в карауле Черноморского 1-го батальона сержант Греченков с 12-ю человеками команды его солдат кричал ура и жак и производил грабеж у прилавков с провизиею, о чем он представил обер-коменданту графу Девиту и обиженных к нему препроводил»; эти «преступники, по уведомлению его премьер-майором первого Черноморского батальона Бримером, пред батальоном жестоко наказаны». Часть арестованных утверждала, «что слово ура будет для великого князя Павла Петровича, принявшего престол, а иные расслышали, что оно для новорожденного князя Николая Павловича и что взятые первоначально под стражу [...] производили тут спор: первые говорили, что оное ура для великого князя Павла Петровича, а вторые утверждали, что для новорожденного великого князя Николая Павловича»[18].

В архивах отложилась переписка, позволяющая судить о масштабах и географии арбузного бунта. 20 августа 1796 г. Хорват писал Мордвинову из Симферополя: «Сейчас до сведения моего дошло, что в Херсоне примечен в народе некоторый дух возмущения, а паче в матросах; что 15-го числа сего месяца захвачены и взяты уже под стражу пять человек матросов, дерзнувших провозглашать морской гоубвахте общия сих дерзких людей намерения [...]; что по утру 16 числа отыскано и захвачено на берегу Днепра шесть человек из алешковских жителей, приехавшие по уведомлению матросов [...]. Вследствие чего поспешаю просить сим Ваше Превосходительство дабы благоволили кому следует приказать тот час испытать у матросов, в предначинании сего зла схваченных, откуда произошло волнение в них сие, кто оному первою причиною? И не скрывается ли тут важнейших со стороны французской нации действий, приводимых чернь к буйственному поколебанию? А между тем с оными пойманными в сем дерзком провозглашении матросами поступить по всей строгости законов, в пример другим»[19].

Мордвинов совместно с Хорватом провел расследование. Как докладывали они Зубову 17 сентября 1796 г., «прибыв в Херсон сего месяца 14-го на другой потом день открыли присутствие наше в здешней крепости и, определя за обер-аудитора [...] пограничного департамента коллежского ассесора и кавалера Хабарова, к производству следствия приступили; и продолжали оное с того времени доныне денно и нощно, заимствуя и от побочных обстоятельств, лишь бы только дойти до истины». Допрашивали арестованных матросов, «оглашенных в злодейской продерзости, каждого порознь троекратно и разновременно», затем использовали для того и церковное покаяние.

Материалы допроса содержат сведения о целях бунтовщиков и сочувствовавших им жителей Херсона, Николаева и окрестных деревень. Надворный советник Цитлин показал, что если кто из крестьян хочет быть помещичьим, а иной желает быть черноморским, т. е. «адмиралтейским», «то можно приписывать их там». Херсонский предприниматель Зискель подтвердил царистский характер настроений матросов, готовившихся бунтовать в пользу императора Павла[20]. Положение работавших на верфях жителей адмиралтейских поселений в окрестностях Херсона и Николаева было значительно лучше, чем у крестьян, переведенных в Новороссию и поселенных на помещичьих землях. Понятно поэтому желание поселенцев, чтобы их зачислили в адмиралтейские поселения—Черноморские батальоны, а не закрепляли за помещиком. Обращает на себя внимание беглое упоминание о читанном в окрестностях Херсона офицером Черноморского батальона указе. Содержание указа не излагается, но из контекста понятно, что факт его прочтения сыграл определенную роль в возникновении брожения. Кем же был тот офицер? Можно предположить, что это был премьер-майор Бутми-де-Кацман, о котором Суворов писал как о храбром участнике штурма Измаила[21], а подполковник П. А. Яковлев считал его доверенным лицом и единомышленником Мордвинова.

К рапорту Мордвинова и Хорвата приложен «Экстракт, учиненный из дела, произведенного секретно в Херсонской крепости о поступках матросов», в котором описываются подготовка бунта в Херсоне 15 и 17 августа и меры безопасности, предпринятые для его предупреждения. Особое внимание уделено разбору поведения Бутми-де-Кацмана и исправляющего плац-майорскую должность секунд-майора Деропа: подчеркивается, «что должны здесь быть со стороны французской шпионы»[22]. В Херсоне эпизодические волнения матросов, солдат и работных людей были более людными, чем в Николаеве. Поэтому число херсонских свидетелей намного значительнее николаевских.

Наказание воспоследовало быстро. Три матроса, участвовавшие в организации арбузного бунта, были сосланы на работы в Екатеринославский литейный завод. Переведены в полки, «в Тавриде расположенные», первого Черноморского батальона сержант Греченков с 11 солдатами, а сержант Шультинг — в Фанагорию, о чем было доложено Суворову. Двух солдат, распространявших слухи о бунте в Николаеве, предали суду[23]. Среди привлеченных к наказанию был и Бутми-де-Кацман, которого подполковник Яковлев в письме от 14 августа 1796 г. из Херсона статс-секретарю Грибовскому называл «сущим Пугачевым»[24]. Его, Деропа и прапорщика Костычева наказали так: «Первых двух отправить в полки в Таврической области расположенные, о чем также дано [...] знать [...] графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому, а последнего приказано Г-ну генерал-поручику Хорвату причислить в штатные команды в области Таврической по его рассмотрению»[25].

В коллекции документов секретного суда «К херсонскому делу» встречается упоминание о том, что один из офицеров Херсонского гарнизона в дни арбузного бунта, то есть за два с половиной месяца до смерти Екатерины II, читал указ о восшествии на престол нового императора и о вольностях, дарованных крестьянам-переселенцам, в частности, о переводе помещичьих крестьян в государственные в черноморских военных поселениях[26]. Может быть, это был один из перечисленных выше офицеров? Арбузный бунт свидетельствует о наличии в середине 90-х годов XVIII в. недовольства существующими порядками как среди солдат, так и части офицеров.

---

[17] ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, л. 10об.
[18] Там же, лл. 23, 23об., 19об.
[19] Там же, лл. 15, 15об.

[20] Там же, лл. 25об.—26об.
[21] А. В. Суворов. Документы. Т. 2. М. 1951, с. 665, 602.
[22] ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, лл. 1—5об.
[23] ЦГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 545, лл. 44, 42, 44об.
[24] Там же, лл. 2, 2об.
[25] Там же, л. 45.
[26] ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 52, л. 26об.

ИСТОРИОГРАФИЯ

В. И. СМОЛЯРЧУК. *Кони и его окружение.* М. Юридическая литература. 1990. 400 с.

Личность А. Ф. Кони, его творчество, окружение уже сравнительно давно привлекают автора рецензируемой монографии[1]. Новая работа — своеобразный итог его научных изысканий. В ней нарисован живой образ Кони — либерала, много сделавшего для улучшения российского судопроизводства, всю жизнь защищавшего честь и достоинство личности.

В советской литературе Кони никогда не был persona non grata, что объясняется скорее всего тем, что этот сенатор, член Государственного совета, человек, имевший многие царские награды, признал Советскую власть и даже сотрудничал с нею. Однако либеральные убеждения самого Кони, как правило, стыдливо замалчивались или же упоминались с чувством снисходительности к слабости этого выдающегося деятеля. Смолярчук в полный голос говорит о либеральных взглядах Кони, сопоставляя их с воззрениями как его единомышленников, так и тех людей из окружения Кони, которые занимали более правые позиции. В первую очередь здесь следует назвать Ф. М. Достоевского. Автор показывает, что Кони с равным уважением относился и к этому писателю, обличавшему «бесов» в литературе, и к князю А. И. Урусову, который защищал и даже сочувствовал «бесам» (нечаевцам и самому Нечаеву) в жизни. Сам же Кони, как и близкие ему люди, стремился увидеть Россию свободной и процветающей, но не через революцию и бунты, «бессмысленные и беспощадные», а посредством реформ.

Из окружения Кони Смолярчук особо выделяет К. П. Победоносцева. В нашей литературе этот политический деятель считался весьма одиозной фигурой и упоминался только с отрицательными эпитетами. Смолярчук же представляет Победоносцева достаточно объективно, видит в нем и крупного ученого, и умного политика. Конечно, в одной главе нельзя дать полный портрет этого незаурядного человека.

Автор показывает, как повлияли события 1 марта 1881 г. на развитие либерализма в России. Многие либералы после убийства царя-«освободителя» перешли на консервативные позиции, а другие продолжали сохранять верность либеральным взглядам. К последним относился и Кони. Однако у читателя может сложиться впечатление, что сам он если не был революционером, то активно им помогал, что наиболее ярко проявилось в деле Веры Засулич. Автор полагает, что Кони в этом процессе придерживался линии на «открытую оппозицию» Александру II и министру юстиции К. И. Палену (с. 95), что «Кони в своем напутствии, по существу, подсказал им (присяжным.— *Т. Н.*) оправдательный приговор, и в этом проявилась его боевая натура» (с. 75). Здесь необходимо уточнить ряд обстоятельств.

Во-первых, Кони как опытный юрист видел в деле Засулич преступление политическое, то есть неподсудное суду присяжных, и с самого начала расследования предупреждал об этом Палена. Лишь политическая близорукость министра юстиции и прокурора палаты Лопухина сделала из террористического акта покушение на убийство, и тем самым дело было передано на рассмотрение суда присяжных.

Во-вторых, Кони не сомневался в виновности Засулич, но не мог гарантировать Палену обвинительного вердикта присяжных, так как закон запрещал какое-либо давление на них со стороны председательствующего. Кроме того, «вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Засулич последует обвинительный приговор. Такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание развито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества и где, наверное, все, что было понятного в возмущении Засулич поступком Трепова и трогательного в ее самопожертвовании, повлияло бы только на мягкость приговора, но не на существо его, не заслонив собою преступности кровавого самосуда»[2].

В-третьих, Кони не стремился к провалу обвинения, как это может показаться из изложенного Смолярчуком (с. 99). Напротив, он убеждал Палена дать возможность прокурору использовать факт незаконного избиения Боголюбова, чтобы выбить почву из-под ног защиты: «Обвинитель должен уметь подняться над этим фактом в высоту общих государственных соображений; он должен уметь нарисовать картину общества, где царствует кровавый самосуд и где от ума, а следовательно, и от глупости каждого честного человека зависит признать другое лицо виновным и привести над ним в исполнение свой произвольный, узкий, подсказанный озлоблением приговор»[3].

И, наконец, сам Кони желал, чтобы в результате его выступления в решении присяжных «признание вины Засулич соединялось бы со всеми смягчениями и относительно этой вины, и относительно состава преступления»[4]. При этом оправдательный вердикт был для него так же неожидан, как и для крупных правоведов (М. Е. Ковалевского и Б. Н. Чичерина, причем последний также видел в деле политический оттенок)[5], присутствовавших на процессе. Кроме того, этот честнейший человек не мог «подсказать» присяжным верный, с его точки зрения, вердикт уже по той причине, что это решительно противоречило его принципам.

В работе обращено внимание на чрезвычайно актуальную и в наши дни проблему — независимости судей (с. 368). Кони на себе испытал возможность давления на судью, но показал, насколько тщетно такое давление, если несменяемость судей закреплена законодательно. При таком условии возможность расправы властей над «строптивым» судьей ограничивалась переводом в другое, аналогичное, судейское кресло. Кони совершенно справедливо считал, что судья должен быть независим не только от властей, но и от «улицы», «толпы». Избрание судей я возможность их отзыва (допускаемое и современным советским правом) делают судью зависимым от политических интересов правящих группировок, а не от закона.

Кони предстает со страниц книги и как человек, много сил отдавший просвещению народа. Он охотно делился своими знаниями, причем не только в области юриспруденции. В книге приводятся воспоминания А. В. Луначарского о беседе с Кони, состоявшейся в ноябре 1917 г. (с. 10—11). Старый и больной юрист предложил наркому свое сотрудничество в деле просвещения масс. Примечательно, что он обратился с этим предложением именно к наркому просвещения. Этот в высшей степени опытный юрист видел, конечно, что безобразия, творившиеся в стране, в значительной мере были следствием крайне низкого уровня сознания масс (да и их вождей). Поэтому и решил посвятить этой работе остаток своих дней. Им двигала любовь к стране, к ее народу, и не мог этот человек оставить в беде свою Родину, чтобы спокойно доживать за границей.

Уровень правосознания функционеров новой власти Кони испытал на себе, когда петроградская ЧК реквизировала у него ценности, в том числе награды. Часть ценностей была все же возвращена. Этот случай не поколебал патриотических убеждений Кони, но в еще большей степени укрепил уверенность в правильности избранного им просветительского пути. Что иное мог противопоставить старый и верный жрец Фемиды тогдашнему наркому юстиции Д. И. Курскому (кстати говоря, выпускнику того же юридического факультета Московского университета, что и Кони), если тот без тени сожаления, а скорее с гордостью говорил, что до 1920 г. у нас в стране вообще не было права собственности у граждан? Интересны и приводимые Смолярчуком малоизвестные сведения о том, что Кони был одним из инициаторов издания газеты «Порядок» (в проекте «Правовой порядок»), а задача юридического просвещения общества ставилась им и до революции.

Личность Кони так многогранна, что все охватит в одной книге, пожалуй, и невоз-

---

[1] Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М. 1981; его же. Гиганты и чародеи слова. М. 1984; и др.

[2] Кони А. Ф. Избранные произведения. М. 1980, с. 58—59.

[3] Там же, с. 71.

[4] Там же, с. 136.

[5] Там же, с. 137.

можно. Осталась практически в тени проблема: Кони и религия. Он был глубоко верующий человек, религиозность его не была показной. Будучи православным христианином, он проявлял веротерпимость к иным конфессиям и сектам. Значительна роль Кони в процессах против сектантов в Сенате, где он выступил в их защиту, противопоставив свой взгляд Священному Синоду. К сожалению, об этой стороне деятельности Кони в книге говорится лишь вскользь.

Т. Е. Новицкая

А. П. ПРОНШТЕЙН. *Источниковедение в России. Эпоха феодализма.* Ростов-на-Дону. Изд-во Ростовского университета. 1989. 412 с.

В советской исторической науке долгое время существовало нигилистическое отношение к буржуазному источниковедению, что было вполне естественным для догматически идеологизированного исторического мышления. Труды выдающихся отечественных ученых-источниковедов предавались забвению. Необходимость обобщающих трудов по истории отечественного источниковедения была осознана лишь в конце 60-х годов в связи с активизацией историографических исследований. В решение этой задачи значительный вклад внес и автор рецензируемой книги — доктор исторических наук, профессор Ростовского университета А. П. Пронштейн. В своей работе он прослеживает развитие отечественного источниковедения до середины XIX в., анализирует его истоки, показывает, как изменялись приемы работы с источниками в ходе развития исторической науки в России.

Основное внимание в монографии уделяется вкладу в развитие источниковедения ученых XVIII — первой половины XIX века. Автор исходит из того, что «смена всех форм жизни всегда оказывала решающее влияние на состояние науки, в том числе истории, составной частью которой является источниковедение» (с. 9). Однако общие условия возникновения и развития научного источниковедения подаются им лишь как внешний социокультурный фон развития этой дисциплины. К сожалению, вне его поля зрения оказался механизм превращения социокультурных факторов из внешних условий развития источниковедения в детерминирующие его предпосылки.

Думается, что анализ этого ханизма возможен лишь при сочетании культурологического и методологического подходов, учитывающих как менталитет эпохи, так и «позиции сознания субъектов научно-познавательной деятельности»[1]. В отечественной историографии практически отсутствуют исследования, посвященные изучению методологических основ исторического познания и смены стилей исторического мышления в дореволюционной России. И в исследовании Пронштейна внимание сосредоточено в основном на эмпирическом описании различных познавательных структур в источниковедении на отдельных этапах его истории. При этом каждый тип познавательной деятельности предстает в виде исторически необходимой и, следовательно, исторически обусловленной ступени.

В развитии источниковедения в России периода феодализма автор выделяет несколько этапов. Пронштейн считает, что возникновение научного источниковедения в России связано было с деятельностью прежде всего В. Н. Татищева (с. 81), который значительно расширил источниковую базу изучения русской истории, предпринял первый опыт классификации источников (по содержанию), попытался критически оценить значение летописей и законодательных актов как источников, использовал хронологию и метрологию в качестве вспомогательных знаний для историка.

Пронштейн начинает научное источниковедение с Татищева, исходя из того, что он первым всерьез задумался об источниках по русской истории и стремился обобщить накопленный опыт работы с ними (с. 353). В трудах этого ученого мы действительно впервые сталкиваемся с элементами такого обобщения. Но необходимо при этом иметь

[1] См.: Барг М. А. Эпохи и идеи: становление историзма. М. 1987, с. 3—4; Швырев В. С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. М. 1988, с. 111.

в виду, что это рефлексия историка-исследователя, заинтересованного прежде всего в установлении «примет», позволяющих выявить степень доверия к сведениям данного источника. Но можем ли мы эти эмпирически обоснованные знания считать научными? Если же рассматривать источниковедческие знания Татищева с позиций современного науковедения, то они носят сугубо рецептурно-технологический, описательный характер. Научными в собственном смысле слова, то есть когда процесс получения знаний становится содержанием самостоятельной теоретической деятельности, источниковедческие знания в России становятся только в конце XVIII — начале XIX в. в связи с теоретико-методологической деятельностью таких исследователей, как И. Н. Болтин, А. Л. Шлецер, М. Т. Каченовский, Н. И. Надеждин. В это время и появляется источниковедение как научная дисциплина.

Татищев, пишет Пронштейн, «требовал проверки надежности источника в целом еще до выяснения достоверности содержащихся в нем фактов» (с. 353—354). Данное утверждение представляется спорным, поскольку такого требования Татищев не выдвигал. Оно было осознано в отечественном источниковедении лишь в конце XVIII в. Болтиным, а специально поставлено как исследовательская задача Шлецером. Кстати говоря, данный вывод Пронштейна противоречит его же утверждению, что «критерием надежности источников, по В. Н. Татищеву, являлась достоверность сообщаемых в них фактов. На этом основании базировалась и предложенная им первая в отечественной исторической науке классификация источников, сохранявшая свое значение в течение всего XVIII в.» (с. 80).

В современной историографии положение о том, что «источниковедение, неразрывно связанное с исторической наукой, развивалось вместе с ней», стало настолько расхожим, что его априорно придерживаются даже многие специалисты по истории вспомогательных дисциплин[2]. Однако есть и другая точка зрения. Так, авторы введения к учебнику по источниковедению истории СССР считают, что хотя «формирование научных знаний об источниках обусловлено общим процессом эволюции исторической науки», оно только «до известных пределов совпадает с основными этапами ее истории». При этом они подчеркивают, что «только к концу XIX — началу XX в. относится появление в зарубежной и русской историографии специальных работ, содержащих теоретическое осмысление накопленного опыта изучения источников»[3]. Вопрос о взаимодействии источниковедения и исторической науки на методологическом уровне нуждается в серьезном дальнейшем обсуждении. От его решения будет зависеть во многом и определение времени «начала» научного источниковедения в России.

Пронштейн во введении к монографии отмечает, что хотя источниковедение «развивается прежде всего по законам идеологической преемственности», но на источниковедческий процесс «оказывают влияние и законы собственной преемственности научных знаний». Последнее дополнение имеет существенное значение для понимания взаимосвязи господствующего стиля исторического мышления и методологических оснований источниковедения. Однако сам Пронштейн трактует это дополнение только в том смысле, что «каждый новый этап в развитии науки зависит также от накопления знаний, добытых на предшествующем этапе» (с. 9). Поэтому и методологические основания источниковедения автор выводит непосредственно из теоретических принципов исторического познания. Этот подход традиционен для нашей историографии. Однако ограничиться таким указанием — значит абсолютизировать лишь один из моментов взаимосвязи исторической науки и источниковедения. Если источниковедение развивается по «законам собственной преемственности», то оно должно обладать и определенной методологической автономией в системе исторического познания и поэтому, в свою очередь, оказывать определенное влияние на его развитие. При этом важно то, что стиль исторического мышления и источниковедение изменяются не одновременно и отнюдь не параллельно, то отставая, то опережая друг друга в процессе диалектического взаимодействия.

[2] См.: Стрельский В. И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. М. 1962, с. 8; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М. 1974, с. 20, 21. Документальные памятники: выявление, учет, использование. М. 1988, с. 47.

[3] Источниковедение истории СССР. М. 1981, с. 4.

можно. Осталась практически в тени проблема: Кони и религия. Он был глубоко верующий человек, религиозность его не была показной. Будучи православным христианином, он проявлял веротерпимость к иным конфессиям и сектам. Значительна роль Кони в процессах против сектантов в Сенате, где он выступил в их защиту, противопоставив свой взгляд Священному Синоду. К сожалению, об этой стороне деятельности Кони в книге говорится лишь вскользь.

Т. Е. Новицкая

А. П. ПРОНШТЕЙН. *Источниковедение в России. Эпоха феодализма.* Ростов-на-Дону. Изд-во Ростовского университета. 1989. 412 с.

В советской исторической науке долгое время существовало нигилистическое отношение к буржуазному источниковедению, что было вполне естественным для догматически идеологизированного исторического мышления. Труды выдающихся отечественных ученых-источниковедов предавались забвению. Необходимость обобщающих трудов по истории отечественного источниковедения была осознана лишь в конце 60-х годов в связи с активизацией историографических исследований. В решение этой задачи значительный вклад внес и автор рецензируемой книги — доктор исторических наук, профессор Ростовского университета А. П. Пронштейн. В своей работе он прослеживает развитие отечественного источниковедения до середины XIX в., анализирует его истоки, показывает, как изменялись приемы работы с источниками в ходе развития исторической науки в России.

Основное внимание в монографии уделяется вкладу в развитие источниковедения ученых XVIII — первой половины XIX века. Автор исходит из того, что «смена всех форм жизни всегда оказывала решающее влияние на состояние науки, в том числе истории, составной частью которой является источниковедение» (с. 9). Однако общие условия возникновения и развития научного источниковедения подаются им лишь как внешний социокультурный фон развития этой дисциплины. К сожалению, вне его поля зрения оказался механизм превращения социокультурных факторов из внешних условий развития источниковедения в детерминирующие его предпосылки.

Думается, что анализ этого ханизма возможен лишь при сочетании культурологического и методологического подходов, учитывающих как менталитет эпохи, так и «позиции сознания субъектов научно-познавательной деятельности»[1]. В отечественной историографии практически отсутствуют исследования, посвященные изучению методологических основ исторического познания и смены стилей исторического мышления в дореволюционной России. И в исследовании Пронштейна внимание сосредоточено в основном на эмпирическом описании различных познавательных структур в источниковедении на отдельных этапах его истории. При этом каждый тип познавательной деятельности предстает в виде исторически необходимой и, следовательно, исторически обусловленной ступени.

В развитии источниковедения в России периода феодализма автор выделяет несколько этапов. Пронштейн считает, что возникновение научного источниковедения в России связано было с деятельностью прежде всего В. Н. Татищева (с. 81), который значительно расширил источниковую базу изучения русской истории, предпринял первый опыт классификации источников (по содержанию), попытался критически оценить значение летописей и законодательных актов как источников, использовал хронологию и метрологию в качестве вспомогательных знаний для историка.

Пронштейн начинает научное источниковедение с Татищева, исходя из того, что он первым всерьез задумался об источниках по русской истории и стремился обобщить накопленный опыт работы с ними (с. 353). В трудах этого ученого мы действительно впервые сталкиваемся с элементами такого обобщения. Но необходимо при этом иметь в виду, что это рефлексия историка-исследователя, заинтересованного прежде всего в установлении «примет», позволяющих выявить степень доверия к сведениям данного источника. Но можем ли мы эти эмпирически обоснованные знания считать научными? Если же рассматривать источниковедческие знания Татищева с позиций современного науковедения, то они носят сугубо рецептурно-технологический, описательный характер. Научными в собственном смысле слова, то есть когда процесс получения знаний становится содержанием самостоятельной теоретической деятельности, источниковедческие знания в России становятся только в конце XVIII — начале XIX в. в связи с теоретико-методологической деятельностью таких исследователей, как И. Н. Болтин, А. Л. Шлецер, М. Т. Каченовский, Н. И. Надеждин. В это время и появляется источниковедение как научная дисциплина.

Татищев, пишет Пронштейн, «требовал проверки надежности источника в целом еще до выяснения достоверности содержащихся в нем фактов» (с. 353—354). Двоное утверждение представляется спорным, поскольку такого требования Татищев не выдвигал. Оно было осознано в отечественном источниковедении лишь в конце XVIII в. Болтиным, а специально поставлено как исследовательская задача Шлецером. Кстати говоря, данный вывод Пронштейна противоречит его же утверждению, что «критерием надежности источников, по В. Н. Татищеву, являлась достоверность сообщаемых в них фактов. На этом основании базировалась и предложенная им первая в отечественной исторической науке классификация источников, сохранявшая свое значение в течение всего XVIII в.» (с. 80).

В современной историографии положение о том, что «источниковедение, неразрывно связанное с исторической наукой, развивалось вместе с ней», стало настолько расхожим, что его априорно придерживаются даже многие специалисты по истории вспомогательных дисциплин[2]. Однако есть и другая точка зрения. Так, авторы введения к учебнику по источниковедению истории СССР считают, что хотя «формирование научных знаний об источниках обусловлено общим процессом эволюции исторической науки», оно только «до известных пределов совпадает с основными этапами ее истории». При этом они подчеркивают, что «только к концу XIX — началу XX в. относится появление в зарубежной и русской историографии специальных работ, содержащих теоретическое осмысление накопленного опыта изучения источников»[3]. Вопрос о взаимодействии источниковедения и исторической науки на методологическом уровне нуждается в серьезном дальнейшем обсуждении. От его решения будет зависеть во многом и определение времени «начала» научного источниковедения в России.

Пронштейн во введении к монографии отмечает, что хотя источниковедение «развивается прежде всего по законам идеологической преемственности», но на источниковедческий процесс «оказывают влияние и законы собственной преемственности научных знаний». Последнее дополнение имеет существенное значение для понимания взаимосвязи господствующего стиля исторического мышления и методологических оснований источниковедения. Однако сам Пронштейн трактует это дополнение только в том смысле, что «каждый новый этап в развитии науки зависит также от накопления знаний, добытых на предшествующем этапе» (с. 9). Поэтому и методологические основания источниковедения автор выводит непосредственно из теоретических принципов исторического познания. Этот подход традиционен для нашей историографии. Однако ограничиться таким указанием — значит абсолютизировать лишь один из моментов взаимосвязи исторической науки и источниковедения. Если источниковедение развивается по «законам собственной преемственности», то оно должно обладать и определенной методологической автономией в системе исторического познания и поэтому, в свою очередь, оказывать определенное влияние на его развитие. При этом важно то, что стиль исторического мышления и источниковедение изменяются не одновременно и отнюдь не параллельно, то отставая, то опережая друг друга в процессе диалектического взаимодействия.

---

[1] См.: Барг М. А. Эпохи и идеи: становление историзма. М. 1987, с. 3—4; Шарев В. С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. М. 1988, с. 111.

[2] См.: Стрельский В. И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. М. 1962, с. 8; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М. 1974, с. 20, 21. Документальные памятники: выявление, учет, использование. М. 1988, с. 47.

[3] Источниковедение истории СССР. М. 1981, с. 4.

Положенный автором в основу исследования принцип монографического изучения творчества отдельных представителей исторической науки, «которые в тот или иной период ее развития уделяли внимание разработке проблем источниковедения» (с. 10), в настоящее время признается актуальным и перспективным. Вместе с тем уместно напомнить афоризм А. Эйнштейна о том, что «история науки — это не драма людей, а драма идей». Драма же источниковедческих идей в России заключается в том, что диалектический процесс взаимодействия традиций и новаций сопровождался не только движением вперед, но и интеллектуальным воспроизводством устаревших познавательных принципов. Развитие источниковедения сопровождалось не плавным накоплением знаний, а диалектическими прорывами в когнитивных структурах, которые приводили к возникновению новых источниковедческих парадигм. В монографии основное внимание уделяется показу преемственности в развитии источниковедческой мысли в России, в силу чего это развитие носит во многом «кумулятивистский» характер как процесс постепенного накопления знаний, а не их диалектического преобразования.

Рецензируемая работа позволяет наметить перспективы изучения истории отечественного источниковедения. В современной историографии большее внимание уделяется преемственности в развитии источниковедения. Проблемы же прерывности, смены парадигм, взаимодействия источниковедения и исторического познания на методологическом уровне в принципе еще не ставились. Между тем именно решение этих проблем даст возможность полнее раскрыть диалектику источниковедческого процессов в России.

Реализованный в исследовании Пронштейна историографический подход дал возможность выявить основные закономерности развития источниковедения в России, освоить накопленный опыт, увидеть исторические корни многих из современных его проблем, заложить солидный эмпирический и теоретический фундамент в изучении развития источниковедческой мысли в России.

А. В. Лубский

А. С. УЙБО. *Теория и историческое познание.* Таллинн. Ээсти раамат. 1988. 247 с.

Переосмысление прошлого требует пересмотра устаревших представлений о самой структуре исторического знания, его статусе и междисциплинарных связях. Возрастает и значение достоверности и объективности результатов исторического исследования.

Проблема соотношения конкретно-исторического и теоретического знания, которой посвящена рецензируемая монография, принадлежит к труднейшим в сфере гносеологии истории. Ее решение предполагает рассмотрение ряда вопросов, относящихся к общей теории науки, общей социологии, историографии и собственно истории. Автор принадлежит к эстонской школе философии социального познания (Я. К. Ребане, Э. Н. Лооне, А. А. Порк и др.). Он хорошо знаком с работами историков, использует их в своих штудиях.

Уйбо исходит из того, что изучать гносеологические проблемы исторической науки следует при помощи той же системы категорий, которая применяется в общей методологии науки, и что основной такой категорией должна быть «научная теория» (с. 8). Особое внимание уделяется в книге «историческому направлению» в западной философии науки. Автор показывает, что существующие модели научной теории базируются на материале естественных наук и потому оказываются неадекватными применительно к историографии. Он считает, что общая модель научной теории должна быть междисциплинарной, то есть включать элементы в структуры, общие для всех типов научных теорий, в том числе и исторических (с. 58). На основе этой общей модели можно переходить к построению специализированной модели исторической теории (с. 59).

Автор выделяет в научной теории два уровня: базисный и производный. Первый состоит из ряда базисов: фактологического, включающего в себя информацию о тех фактах, которые объясняет теория; конструкционного — исчислений, при помощи которых элементы научной теории соединяются между собой; и нормативного, состоящего из заимствованных из других теорий положений, в соответствии с которыми строится данная теория (с. 60—68). На производном уровне находятся онтологическая схема — система высказываний, фиксирующих основные элементы отображаемой данной теорией области реальности и их взаимодействие, и правила оперирования, которые указывают, какие действия следует производить с носителями информации, чтобы получать факты, входящие в состав научной теории, то есть согласующиеся с онтологической системой. Противоречия, возникающие между компонентами теории в результате междисциплинарного или внутритеоретического взаимодействия, служат основным источником развития и смены научных теорий (с. 68—74).

Уйбо прежде всего задается вопросом, а существуют ли исторические теории вообще. Перечисляя имеющиеся мнения по поводу того, что такое история (полноценная наука, развивающаяся научная дисциплина, прикладная дисциплина, заимствующая теоретические положения из других наук, чисто эмпирическая дисциплина, обходящаяся без всякой теории, полунаука-полуискусство, духовное предприятие особого рода), автор доказывает, что историческое познание по ряду принципиальных критериев не отличается от других форм научного познания, а, следовательно, научная реконструкция прошлого может осуществляться только в форме теорий (с. 84—103).

По мнению автора, онтологическая схема исторической теории должна выделить основные элементы исторического процесса и установить между ними иерархию, определить основной источник развития изучаемого исторического комплекса, установить интервалы в процессе его развития, социально-экономические формации, формационные этапы цивилизации, периоды, стадии в развитии отдельных элементов исторического процесса, внутри которых данный комплекс может описываться как феномен, обладающий стабильными характеристиками (с. 108). Онтологическая схема обычно не описывается в исследованиях историков, но Уйбо демонстрирует возможности ее выявления.

В качестве правил оперирования в составе исторической теории автор предлагает рассматривать источниковедение (с. 119). Конструкционным базисом этой теории, связывающим ее компоненты друг с другом, являются «логические исчисления» (с. 125), в том числе и математические методы. К выбору и использованию математического аппарата Уйбо предлагает относиться с большей осторожностью. Думается, что подобные соображения можно было бы высказывать и применительно к использованию логики в качестве конструкционного базиса исторической теории. Речь, по-видимому, должна идти о логике именно как науке. Дело в том, что во многих исторических исследованиях применяется логика всего лишь на уровне обыденного сознания («здравого смысла»), в силу чего содержание большинства понятий исторической науки представляется якобы очевидным, что ведет к ошибочным либо тривиальным выводам. Уместно было бы подчеркнуть, что и к логическому построению исследования нужно подходить «с осторожностью», соблюдая правила ввода данных, построения аксиоматики и гипотетики, системы аргументации и прочих норм.

Автор выделяет и нормативный базис исторической теории, который образуют преимущественно общесоциологические положения и данные других наук (с. 131—132). Он детально рассматривает вопрос о соотношении истории и общей социологии (исторического материализма) и приходит к выводу, что общесоциологические законы недостаточны для объяснения событий на уровне исторической реальности, поскольку теоретические объекты (формации, классы и пр.) рассматриваются в исторической науке как локализованные в пространстве и времени (с. 132—139). Думается, однако, что автор здесь невольно сужает область исторического исследования, исключая возможность существования специфических исторических закономерностей, невыводимых напрямую из законов исторического материализма. Другое дело, что в реальной практике исторического исследования такие закономерности, как правило, не выявляются и подменяются, как уже указывалось, соображениями на уровне «здравого смысла». Но это говорит лишь о том, что соответствующая часть исторической теории еще не получила должного развития, а не о невозможности существования специфических исторических закономерностей вообще.

Большое внимание уделяется в книге

фактологическому базису исторической теории (с. 139—150). Это и неудивительно, поскольку дискуссия по поводу самого понятия «исторический факт» пока еще не завершена. Автор определяет фактологический базис как информацию, относящуюся к предметной области исторической теории, полученную из источников при помощи правил оперирования (то есть источниковедения).

Говоря о взаимозависимости фактов и теории, Уйбо указывает, что хотя от теории зависит отбор фактов и их организация, существуют и такие факты, которые инвариантны данной теории и опираются на универсальные предпосылки. Не совсем, впрочем, понятно, как разграничить исходные, «инвариантные» факты и факты «вторичные», теоретически «нагруженные», поскольку исторический факт, извлеченный из источника с помощью правил оперирования данной теории и включенный в ее онтологическую схему, не может быть инвариантен уже потому, что он не изолирован, а детерминирован «соседними» элементами, как и источниковедческой теорией. Существенно затрудняет анализ исторических фактов отсутствие критериев их выявления. У историков эти критерии присутствуют обычно сугубо имплицитно. Они упоминают лишь пространственно-временную отграниченность и социальную значимость исторических фактов, однако, как их определить, не указывают. Подобный же подход характерен и для Уйбо.

При исследовании методологических проблем исторического познания в книге главным образом анализируются проблемы исторического объяснения и объективности исторического знания. Здесь большое внимание уделено анализу «немарксистских» концепций.

Рассматриваемая в книге тематика недостаточно разработана в историографии и требует дальнейших исследований. К проблеме теоретического знания в исторической науке автор подходит с позиций философа и при этом не учитывает того, что историческая наука многоаспектна, что существуют социально-экономическая, политическая, культурная история и т. д., для которых роль теоретического знания различна.

О. Р. Квирквелия

Patricia KENNEDY GRIMSTED. *Archives and Manuscript Respositories in the USSR. Ukraina and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory.* Princeton. Princeton University Press. 1988. 1107 p.

П. К. ГРИМСТЕД. *Архивы и хранилища рукописей в СССР. Украина и Молдавия.* Том 1. Общая библиография и справочники по учреждениям

Банки информации о различных архивных собраниях становятся сейчас необходимым условием развития конкретно-исторических и источниковедческих исследований. Весьма трудоемкую архивную эвристику могут в значительной степени облегчить библиографические указатели и каталоги. В этом отношении заслуживают внимания труды профессора Гарвардского университета Патриции Гримстед Кеннеди. Известны ее работы об архивах Москвы и Ленинграда, республик Прибалтики и Белоруссии [1]. В новой книге речь идет об архивах и хранилищах рукописей на Украине и в Молдавии. Этот указатель содержит обильную и разностороннюю информацию и представляет большой интерес для историков, архивистов, археографов, краеведов, филологов, литературоведов.

Данный труд — плод 16-летних разысканий, выполненных автором на базе Украинского исследовательского института при Гарвардском университете. В вводной статье автор рассказывает о главных направлениях библиографической и архивной эвристики в исследовательских центрах, университетах и библиотеках США и Европы (в том числе в Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах, Румынии, Венгрии, в особенности в Польше). Наиболее обширная библиографическая информация была получена Гримстед во время ее научных командировок в СССР, где она пользовалась консультациями московских, ленинградских, киевских, львовских, одесских специалистов.

Весьма полезным оказалось предварительное ознакомление специалистов с своеобразным ротапринтным макетом будущей книги, подготовленным Гримстед, его обсуждение. С учетом дополнений и коррективов создается окончательный вариант. Рецензируемая книга в 1984 г. была представлена на рассмотрение научной общественности Украины.

Заключенная в указателе информация благодаря транслитерации украинских и русских заглавий латинским алфавитом, сведениям о советских (в особенности местных, малотиражных) изданиях, становится доступной широким кругам зарубежной научной общественности. Нельзя не обратить внимания на то, что в книге в концентрированном виде представлена библиографическая информация о различных авторах, что способствует популяризации творчества ученых, развитию историографии, научному обмену в области архивного дела, архивоведения, источниковедения и других специальных (вспомогательных) дисциплин.

Удобству работы с книгой способствует как сама ее структура, так и указатели — не только именной, тематический (предметный), но, что очень важно, заглавий книг, сборников, статей и документов, путеводителей, сокращений (аббревиатур и акронимов), позволяющих установить круг учреждений и основных периодических и непериодических (продолжающихся) изданий, наиболее широко использованных автором в качестве библиографических источников, в том числе русских дореволюционных и советских, польских, румынских, французских и др. публикаций.

Пробелы в указателе сравнительно небольшие, однако их устранение позволило бы существенно пополнить библиографическую информацию. В их числе выходивший в 30-х годах в Ровно «Rocznïk Wolyński», в котором были опубликованы документы по истории Острога, епархиальные ведомости украинских губерний. Стоило бы просмотреть русско- и польскоязычные издания межвоенной Польши, а также издававшиеся в Галичине в XIX — начале XX в. некоторые так называемые москвофильские публикации и др. Список персоналий, круг историков и археографов, знатоков архивных источников по истории Украины и Молдавии и использовавших их в своих трудах, следовало бы расширить. Не упомянуты в указателе П. А. Кулиш, Н. И. Костомаров, М. С. Грушевский, А. С. Грушевский, И. В. Новицкий, А. Ролле (д-р Антоний И.), С. Кардашевич, Я. Птасьник, Ф. Бостель, Э. Гурмузаки, Л. Панаитеску, Б. Хашдау.

Структура указателя в целом удобна для исследователей. Взаимосвязаны три основные его части и их разделы. Первая включает общую (универсальную) архивную библиографию и вспомогательные справочники — специальные исследования о больших группах источников или отдельных памятниках, их генезисе и публикациях, позволяющих осуществить библиографическую эвристику по определенной тематике. В «Общей библиографии» Гримстед выделила четыре тематические группы: архивная литература, публикации документов, издания украинской Академии наук и других научно-исследовательских учреждений. В этой и последующих главах указателя учитывается хронологический принцип, автором выделяется русская и украинская литература дооктябрьского и советского (послереволюционного) периодов, а также вышедшая после второй мировой войны. Что касается литературы о западных землях Украины и Молдавии, то в указателе отдельно рассмотрена библиография работ, вышедших до 1939 г. включительно.

19 глав этой части указателя содержат аннотированные библиографические сведения, сгруппированные по общности тематики, включая средневековые славяно-кирилловские рукописные книги, источники по украинской истории, по истории основных регионов Украины («местной истории») и отдельно по истории Молдовы (Бессарабии). Кроме того, Гримстед выделила ряд других групп, в частности археологические источники, источники по литературе и языку, о театре и музыке, по истории церкви, различных народов, проживающих на Украине (евреев, армян), ряда стран (Польши, балканских государств). Отдельно в указателе рассмотрены личные и фамильные документы, рукописи (манускрипты) — греческие, латинские и восточные, картографические источники, листовки, серийные издания, публикации материалов научных конференций, касающихся архивов, рукописных книг и источников.

Обширная информация о составе рукописных собраний содержится в разделе «Источники по украинской истории». В его составе ряд рубрик: библиография исторической библиографии, исторические библио-

[1] Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Respositories in the USSR. Moscow and Leningrad. Princeton. 1972; ejusd. Archives and Manuscript Respositories in the USSR. Estonia, Latvia, Luthuania, and Bellorusia. Princeton. 1981.

графии и историографические обзоры, генеральные обзоры и источниковедческие исследования, источники по отдельным периодам и областям Украины.

Среди продолжающихся серийных изданий зафиксированы все союзные издания. Названы и тематические сборники по источниковедению, выходившие в Киеве и Днепропетровске. Список этих продолжающихся изданий можно было бы продолжить, включив в него, в частности, отдельные выпуски сборников по германской истории и источниковедению, национально-освободительному движению, издаваемые в Днепропетровском университете, поскольку в них помещены статьи по проблемам источниковедения и использования архивных источников по истории Украины в контексте украинско-германских связей, а также статьи в «Вестниках» университетов по историческим наукам.

Значительно облегчает архивную эвристику наиболее объемная часть указателя (с. 163—899), состоящая из росписи 147 архивохранилищ, рукописных отделов библиотек (в том числе научно-исследовательских институтов и вузов) и музеев Украины и 5 — Молдовы. В каждом случае даны краткие, но зачастую довольно содержательные справки об этих учреждениях, их истории, состава. Такие сведения в комплексе с информацией о хранилищах рукописных богатств этого региона публикуются впервые. По каждому учреждению приведена довольно обширная справочная литература, включая и обзоры архивных собраний и отдельных памятников из многих малоизвестных изданий. В ряде случаев (это касается в основном областных партийных архивов) автор не смог найти ни одной библиографической позиции, и справки о таких архивах носят общий характер (с. 499, 664, 833, 857 и др.).

Свой личный многолетний опыт изысканий в советских архивах (с 1964 г.), в том числе и в УССР, Гримстед обобщила в приложении, где, помимо указателей (именного, географического, предметного и названий публикаций), помещены сведения о системе архивов СССР, их особенностях, функциях и условиях работы в них иностранных исследователей. Отмечены трудности, с которыми им приходится сталкиваться из-за определенных ограничений для этой категории исследователей, а также несовершенство научно-справочного аппарата во многих советских архивах. Справедливо констатируется, что в СССР пока еще мало издано подробных инвентарей и каталогов архивных документов.

Н. П. Ковальский

S. T. ROSS. *American War Plans 1945—1950.* N. Y.— Lnd. Garland Publishing Inc. 1988. 167 p.

Стивен РОСС. *Американские военные планы 1945—1950*

Проблемам военной политики США в первое пятилетие после второй мировой войны посвящено значительное количество монографий американских историков и политологов. В конце 70-х и в 80-е годы эта тематика приобрела «второе дыхание» в связи с тем, что историки США получили возможность пользоваться ранее засекреченными документами госдепартамента, министерства обороны и других ведомств. В рецензируемой монографии использованы в основном документы Комитета начальников штабов (КНШ) США. Основная цель автора — «проанализировать планы войны против СССР,.. показать, какой виделась советская военная угроза с точки зрения КНШ и как американские военные собирались противостоять русским вооруженным силам и нанести им поражение» (с. X).

Проблемой послевоенных отношений с СССР, пишет Росс, КНШ стал заниматься еще до поражения Германии. 16 мая 1944 г. КНШ информировал государственного секретаря, что Советский Союз станет после войны ведущей мировой державой. После окончания войны, по мере укрепления стратегических позиций Великобритании и России, может произойти столкновение между ними, но Соединенные Штаты могли бы предотвратить такое столкновение путем содействия сохранению гармонии в рядах «Большой тройки». 5 февраля 1945 г. КНШ представил более детальную оценку «русских послевоенных намерений». По его мнению, Советский Союз должен

был сократить численность регулярных вооруженных сил до 3 млн. для того, чтобы высвободить рабочую силу, необходимую для восстановления и реконструкции экономики, что займет время до 1952 г. (с. 4).

Приведенные оценки были сделаны КНШ после Тегеранской и перед самым началом Крымской конференции, когда исход второй мировой войны в принципе уже был предрешен, но для окончательной победы над фашистской Германией и империалистической Японией надо было приложить еще много усилий. Уже в тот период между Сталиным и Рузвельтом и особенно между Сталиным и Черчиллем возникли проблемы в основном по поводу послевоенного политического устройства в странах Восточной Европы.

Первый послевоенный стратегический план КНШ на случай войны с СССР под кодовым названием «Пинчер» был подготовлен 2 марта 1946 года. В нем отмечалось, что Советский Союз не стремится к новой всеобщей войне и конфликт между СССР и США маловероятен. Но при этом не исключалась возможность эскалации локального инцидента в войну глобального масштаба. Наиболее вероятным регионом, где подобный конфликт мог вспыхнуть, считался Ближний Восток. «Нынешняя цель СССР,— говорилось в первом варианте плана «Пинчер»,— состоит в том, чтобы создать защитный барьер из стран-сателлитов у той части советских границ, вторжение через которые могло бы угрожать безопасности его жизненно важных промышленных зон. Цели Москвы достигнуты в Восточной Европе и Маньчжурии, и Советы в настоящее время сосредоточивают внимание на Ближнем Востоке, так как доминирование в этом регионе обеспечило бы защиту важных зон Харькова и Кавказа».

Авторы плана исходили из того, что господство над Турцией является главной целью политики СССР на Ближнем Востоке, захват же Советским Союзом зоны Суэцкого канала и ближневосточной нефти подорвет позицию Англии как мировой державы. В течение 1946 г. план «Пинчер» получил дальнейшее развитие и конкретизацию. Корректировка плана предусматривала вступление США в войну не через полгода, а сразу с началом боевых действий между советскими и английскими войсками. Придавалось большое значение американским стратегическим бомбардировкам территории Советского Союза с применением атомных бомб.

В соответствии с планом «Пинчер» США, как и во вторую мировую войну, должны были использовать начальную оборонительную фазу войны для мобилизации своих громадных людских и материальных ресурсов и подготовки последующего перехода совместно со своими союзниками в решительное контрнаступление для полного разгрома Вооруженных Сил СССР (с. 26—49). Ознакомление с планом «Пинчер» делает более понятными фултонскую речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. относительно «братской англо-американской ассоциации» и «доктрину Трумэна» (12 марта 1947 г.), где говорилось о «срочной военной помощи» Греции и Турции, непосредственно примыкающим к району Ближнего Востока.

План «Бройлер» (август 1947 г.) явился развитием плана «Пинчер». В нем бóльший упор делался на стратегическом использовании атомного оружия (с. 61). Автор замечает, что и в плане «Бройлер» предусматривались стратегическая оборона в европейском и азиатском регионах и достижение победы главным образом посредством стратегических бомбардировок и последующего контрнаступления через Турцию на Украину. Основная стратегическая концепция КНШ на начало 1948 г. состояла в том, что война с СССР будет тотальной и глобальной, США используют атомные бомбы, чтобы компенсировать советское превосходство в обычных вооруженных силах. Военные стратеги США не допускали, что СССР может начать ограниченную войну, используя силы своих союзников с. 70, 74—75).

В марте 1948 г. КНШ разработал новый план под названием «Бушвэкер» (с. 80). Новым элементом в нем было требование еще большего увеличения числа стратегических бомбардировщиков и атомных бомб к ним (с. 36). В мае 1948 г. возник новый план— «Кранкшафт», в этом же месяце совместно с офицерами Великобритании и Канады был разработан план «Хафмун» (с. 86, 89), в октябре 1948 г.— «Когвилл» (с. 95), а в январе 1949 г.—«Троян» (с. 96). Последний предусматривал нанесение удара по 70 советским городам с помощью 133 атомных бомб (с. 97).

В ноябре 1949 г. (то есть после испытания в СССР первой атомной бомбы и победы народной революции в Китае) КНШ разработал план «Оффтэкл». Это была пер-

вая разработка, основанная на политических установках, содержавшихся в директиве Совета национальной безопасности (СНБ) 20/4. Суть их сводилась к тому, чтобы «уменьшить мощь и влияние СССР до пределов, не позволяющих угрожать миру, независимости и стабильности государств» (с. 112). В этом плане уже были обозначены 104 советских города, на которые предполагалось сбросить 220 атомных бомб (и 72 бомбы были выделены для дополнительных ударов). При этом отмечалось, что к концу 1950 г. Советский Союз может иметь около 30 своих атомных бомб (с. 113, 117). В связи с созданием НАТО большое внимание уделялось обороне в Европе.

В конце 1949 — начале 1950 г. военно-политическим руководством США были разработаны два важных документа: директива СНБ-68 и план КНШ «Дропшот»,— которые стали надолго основными документами подготовки США к третьей мировой войне с использованием атомного оружия. Об этих документах много раз писали советские историки и политологи.

Конечно, полную историко-стратегическую оценку этим планам можно дать только путем сравнения с советскими штабными разработками. Но планы планами, а жизнь жизнью. Во всяком случае, до начала войны в Корее — 25 июня 1950 г.— численность вооруженных сил США и СССР и их военные расходы были относительно невелики: соответственно 1,5 и порядка 3 млн. военнослужащих и 14 млрд. долл. и 100 млрд. тогдашних рублей. Когда же конфликт разразился, а это был один из самых опасных моментов в послевоенной истории, обе стороны предпочли вести ограниченную войну, без использования атомного оружия. Время корейской войны отмечено первым пиком в послевоенной гонке вооружений США и СССР, когда военное бремя в экономике возросло в США в 3, а в СССР — в 2 раза.

Г. И. Святов

J. W. BAUTISTA VIDAL. *De estado servil a nacao soberana. Editora Universidade de Brasilia.* Petrópolis. 1988. 319 p.

Ж. Баутиста ВИДАЛ. *Бразилия: от зависимого государства до суверенной нации.*

В мировой историографии повышенное внимание уделяется бразильскому феномену. Страна, долгие годы находившаяся на экономических задворках капиталистического мира, за короткий срок сделала резкий скачок, выйдя на одно из первых мест по уровню экономического развития. Ж. Баутиста Видал — профессор университета г. Бразилиа, получивший образование в США, стремится в своей книге проследить путь, который пришлось пройти Бразилии для превращения в суверенную нацию.

Рассматривая вопрос, была ли Бразилия на протяжении всей своей истории когда-нибудь независимой, автор напоминает о последствиях Метуэнского договора 1703 г. для этой страны, об открытии в 1808 г. для «дружеских государств» ее атлантических портов и т. д. Все это усиливало зависимость страны, являвшейся тогда португальской колонией. И даже после политического разрыва с метрополией (1822 г.) и установления республики (1889 г.) Бразилия не обрела ни экономической, ни политической независимости. Только после второй мировой войны, подчеркивает автор, в результате развития «промышленного национализма» страна стала постепенно самоутверждаться на мировой арене. Используя богатейшие природные ресурсы, широко распахнув двери для зарубежного капитала и новых технологий, она очень быстро превратилась из аграрной в высокоразвитую индустриальную державу.

Автор, однако, считает, что десятилетия «промышленного скачка» были периодом «фальшивого развития», которое вызвало структурный и финансовый кризис, переживаемый Бразилией и по сей день. Но так ли это? В результате «независимого развития» в бразильской экономике утвердились передовые технологии, бурно развивалась энергетика, появилась мощная технократическая прослойка, во многом определяющая (даже во времена военного правления в стране) политику правительства. Нельзя, конечно, забывать и о том, что экономический рост сопровождался денационализацией государственных предприятий, слабо использовались региональные факторы развития промышленности, бездумно расходовались природные ресурсы, стремительно рос внешний долг (с 1973 по 1982 г. он увеличился на 60 млрд. долл., причем 10% всего экспорта было затрачено на выплату процентов по нему; к 1987 г. внешний долг страны увеличился до 114 млрд. долл.) (с. 241).

Баутиста Видал считает, что именно в поисках выхода из хронического долгового кризиса Бразилия активно включилась в гонку вооружений, производя в больших количествах новые виды оружия, предназначенного не только для внутренних нужд, но и на экспорт. Этой же причиной было вызвано и форсирование национальной ядерной программы (с. 170). Автор отмечает, что, вложив огромные средства в новые технологии и наукоемкие отрасли промышленности, Бразилия тем не менее производит сегодня всего 0,25% мировой научной и 1% промышленной продукции. Она стремится ослабить зависимость от транснациональных корпораций, создавая совместные предприятия с участием иностранного капитала. Однако, по мнению автора, использование иностранного капитала для нужд национального развития ведет к сохранению «скрытой зависимости», углублению финансового кризиса (с. 116).

Недовольная тем, что независимость Бразилии носит во многом «мнимый» характер, группа видных политиков, ученых, социологов еще в 1980 г., то есть во время военного режима, подписала «Манифест в защиту нации», в котором говорилось: «В нашу страну произошло вторжение. В лице Международного валютного фонда на территории Бразилии действует опытный и изощренный враг, который ставит своей целью полностью подчинить себе нашу экономику. Необходимо немедленно начать борьбу за восстановление утраченного национального суверенитета — вековой мечты бразильского народа» (с. 30). Автор, к сожалению, не упоминает, что в эпоху гражданского правления критика политики уступок иностранному капиталу и свертывания социальных программ исходила не только из лагеря оппозиции, но и от членов правительства.

Как известно, многие, в частности американские, историки и политологи однобоко подходят сейчас к понятию «зависимая страна». Думается, что, несмотря на рост внешнего долга, именно в 70-е годы во время «промышленного скачка» были заложены основы экономического и политического «равноправия» Бразилии в ее отношениях с развитыми капиталистическими государствами, и прежде всего с США. Сегодня Бразилия ведет диалог со своими кредиторами практически «на равных», опираясь на высокоразвитую промышленность и богатую сырьевую базу, а также на значительные доходы от экспорта (3-е место в мире по положительному внешнеторговому сальдо). Так что вряд ли справедливо говорить, как это делает Баутиста Видал, что Бразилия — это страна, которая находится в «вечной зависимости».

Ю. И. Сигов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Возвращаясь к напечатанному

БЫЛ ЛИ НЕЧАЕВ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ?

Деталь, упомянутая в начале статьи Ю. А. Бера («Вопросы истории», 1989, № 4), что в г. Иванове после Октябрьской революции была установлена памятная доска в честь «революционера Нечаева»,— может служить символом 20-х годов. Как, впрочем, и сама статья, содержащая выводы, характерные для советской историографии той поры. Ощущение такое, что написано это 60 лет назад. Не хватает лишь строк о том, что надо восстановить «доброе имя» создателя «Народной расправы», поскольку он был «единственным для своего времени примером классового борца» и «силою своего несомненно гениального политического чутья как бы предвосхищал характер будущей классовой борьбы, ее методы и тактику, а также роль партии в этой борьбе», как писал тогда автор нашумевшей книги о Нечаеве[1]. Она воплощала не просто пылкое увлечение автора своим героем.

Приведем еще несколько суждений о Нечаеве из работ авторитетных ученых 20-х годов. «В настоящее время никакой грамотный человек не рассматривает Нечаева как какого-то полоумного бандита, который устраивает какие-то совершенно сумасшедшие подпольные кружки для проведения какой-то полуразбойничьей революции. Нечаев — это можно считать доказанным — был в России агентом Бакунина, и нечаевская попытка была первой попыткой бакунинской революции в России»[2]. «Он действовал не из личных соображений, а во имя высокой цели... Вечно мятущийся работник и человек, друг угнетенных, враг жандармов и помещиков и друг народа»[3]. «Грандиозная личность... Реабилитация Нечаева возможна, если нам удастся установить, что условия места и времени делали неизбежным пользование приемами, к которым он прибегал»[4].

Назвать эти выводы проявлением вульгарно-социологического схематизма, в немалой степени свойственного молодой советской исторической науке, будет, наверное, недостаточным. По существу, все эти авторы создавали миф о Нечаеве. Основной изъян подобного подхода — в полном игнорировании общечеловеческих моральных критериев и подмене их голым политическим прагматизмом: за высокую революционную цель, которой следовал Нечаев, ему отпускались все грехи. Во всяком случае, средства, к которым он прибегал, либо замалчивались, либо снисходительно оправдывались «условиями времени». А исходным импульсом такого подхода, думается, служило мнение, что человек, заточенный царем в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, уже заслуживает звания героя... Все черты этого подхода свойственны в полной мере статье Бера.

Между тем современники нечаевской истории оценивали ее совершенно иначе. Вот ряд выразительных и вполне однозначных отзывов о Нечаеве, оставленных людьми самых разных политических взглядов: «иезуит», «проходимец», «прохвост» (К. Маркс и Ф. Энгельс), «бес», «тарантул», «мошенник, а не социалист» (Ф. М. Достоевский), «монстр» (Н. К. Михайловский), «страшный, роковой человек, всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение» (В. Д. Спасович), «революционный обманщик» (В. Г. Короленко), «абрек» (М. А. Бакунин), «большой негодяй и лгун» (Л. Каравелов), «хуже самого последнего шпиона» (И. Г. Прыжов)[5].

Это единодушие понять нетрудно, зная подробности нечаевского дела и его главный эпизод — убийство студента И. И. Иванова, обманом завербованного в «Народную расправу». Именно в этом акте сказалась вся сущность нечаевщины. Бер называет этот акт «бессмысленным». Этот эпизод обходили или затушевывали в своих книгах М. Н. Покровский, А. А. Кункль, Б. П. Козьмин (последний — до определенного времени) и другие...

[1] Гамбаров А. В спорах о Нечаеве. М.— Л. 1926, с. 7, 146.

[2] Покровский М. Н. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. М. 1924, с. 64.

[3] Кункль А. А. Нечаев. М. 1929, с. 20, 57.

[4] Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг. В сб.: Революционное движение 1860-х годов. М. 1932. с. 169, 170.

[5] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 329; т. 32, с. 424, 434; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. Л. 1974, с. 279; Михайловский Н. К. Литературные и журнальные заметки.— Отечественные записки, 1873, № 2, с. 323; Спасович В. Д. За много лет. СПб. 1872, с. 427; Короленко В. Г. История моего современника. М. 1965, с. 813; Воробьев Л. Любен Каравелов. М. 1980, с. 232; Правительственный вестник, 1871, № 158.

Мрачная история, происшедшая 21 ноября 1869 г. в Москве в гроте Петровской земледельческой академии, хорошо известна. Приведем лишь один факт, упоминаемый в том же источнике, которым пользуется Бер. На совещании, решавшем участь Иванова, Нечаев «прочитал сообщение ЦК «Народной расправы», что стало известно не только недовольство Иванова деятельностью организации, но и его намерение донести. При этом Нечаев заявил сам, что в Комитете имеются веские доказательства, но ввиду строгой конспирации он не имеет права их огласить». Так свидетельствовал А. К. Кузнецов, один из участников убийства, проживший долгую и трудную жизнь[6]. Но ведь ЦК «Народной расправы» не существовал (его роль выполнял сам Нечаев), а сфабрикованные им «сообщение ЦК» и «веские доказательства», о которых рядовым исполнителям знать необязательно,— это лишь уловки диктатора, рядящегося в тогу блюстителя революционной конспирации!

Но на совести Нечаева не только убийство Иванова. В результате его «пропагандистской» деятельности десятки людей оказались на каторге и в ссылке, сотни (те 400 человек, которых Бер почему-то считает вошедшими в «Народную расправу») попали под надзор полиции, претерпели массу лишений и страданий. Демократическому движению в России был нанесен огромный урон. «Никакой платный агент не смог бы причинить больше вреда»,— писала тогда одна из швейцарских газет. Этот отзыв — солидаризируясь с ним — приводили в своей брошюре о нечаевском деле Маркс и Энгельс[7].

Соотнесем этот вывод с признанием самого Нечаева: «Если вы хотите, чтобы из нашего студенчества вырабатывались действительные революционеры, старайтесь вести дело так, чтобы правительство возможно больше сажало их в тюрьмы, вышибало бы навсегда из школ, отправляло бы в ссылку, выбивало бы их из обычной колеи. Только тогда они закалятся в своей ненависти к подлому правительству»[8]. Эта идея дает, наверное, наилучшее представление о мотивах деятельности Нечаева. Ложь, мистификации, вероломство, шантаж, демагогия сопровождали каждый его шаг. И встал он на этот путь сознательно и даже декларировал его в своем «Катехизисе» («Члены комитета действуют, как иезуиты»)[9].

Как же проникли в голову 22-летнего сына маляра из Иванова постулаты средневекового испанского ордена? В воспоминаниях Г. П. Енишерлова, участника студенческого движения конца 1860-х годов, содержится эпизод, который показывает, что «систему Лойолы» в качестве средства политической борьбы Нечаев заимствовал у него. Восклицание: «Именно иезуитчины-то нам до сих пор недоставало!»[10] — красноречиво раскрывает главную черту характера Нечаева — полное отсутствие моральных запретов.

Бер делает упор на то, что в период пребывания в столице Нечаев «усиленно работал над расширением своих знаний в философии, естествознании, литературе, физике, истории». О том, каким авторам отдавалось при этом предпочтение, в статье не говорится. Между тем одной из любимых Нечаевым была только что вышедшая тогда книга Т. Гризингера об иезуитах[11]. На этот счет есть прямое свидетельство в следственных материалах нечаевского процесса. Вот что говорится в показаниях библиотекаря П. Г. Успенского, соприкасавшегося с Нечаевым осенью 1869 г. и тоже ставшего участником убийства Иванова: «Еще прежде я рассуждал с ним об этом — можно ли достигнуть хороших целей дурными средствами? Как пробуждать любовь в людях, возбуждая их ненависть? Рядом обманов — достигать правды? Путем войны — добиться мира? Человек свыкнется с обманом и станет обманывать даже тогда, когда в этом не будет никакой надобности... Нечаев на это отвечал: — А теперь разве не все обманывают друг друга, и это делается ради корыстных, личных и мелких целей? И теперь разве не гибнут сотни и тысячи людей в угоду отдельных личностей с их целями, и целями своекорыстными? Этот разговор был по поводу, кажется, того, что он взял у меня «Историю иезуитов» Гризингера и пустил ее для чтения в Академию — причем, конечно, он имел в виду отношение к иезуитам не гризингеровское, а самих иезуитов,— одним словом, он хотел обман и т. п. бедствия возвести в систему»[12].

Нечаев весьма поднаторел в демагогии — основном инструменте «Общества иисусова», иезуитизм стал его «idee fix» со всеми вытекающими отсюда крайне опасными последствиями. Именно в этом убеждает расправа над Ивановым — акция, хладнокровно подготовленная и выполненная с особой жестокостью. Царское правительство, судившее Нечаева как уголовного преступника, было гораздо ближе к истине, нежели те деятели русской эмиграции, которые поверили в слова о политическом характере убийства («убил шпиона»,— говорил Нечаев в Женеве)[13].

Бер опирается на вывод Н. А. Троицкого: «Поведение Нечаева на суде не только де-

[6] Энциклопедический словарь Гранат. Т. 40, прил., с. 227.

[7] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 380.

[8] Цит. по: Козьмин Б. П. Ук. соч., с. 187.

[9] Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 421.

[10] Пирумова Н. Бакунин или Нечаев? — Прометей, 1968, № 5, с. 178.

[11] Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени. СПб. 1868.

[12] Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР, ф. 112, оп. 1, д. 490 (1), л. 52.

[13] Ср.: Дневник Н. А. Герцен.— Литературное наследство. Т. 96, с. 416; ср. также статью Нечаева «Кто не за нас, тот против нас» (Народная расправа, № 2); Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 413.

лает честь ему самому, но и может служить примером для любого революционера». В другой своей работе Троицкий применил при оценке поведения Нечаева даже слова В. И. Ленина о разоблачении революционером «комедии уголовщины», сказанные совсем по другому поводу[14]. И Бер, и Троицкий в своих заключениях ссылаются на книгу П. Е. Щеголева, написанную в 20-е годы (до отдельного издания этой работы части ее, посвященные Нечаеву, увидели свет в журнальном варианте)[15]. Книга эта проникнута общим для тех лет духом романтизации Нечаева, который в предисловии к ней именуется «пламенным революционером»[16].

Но можно ли считать примером поведения на суде для революционеров выкрики Нечаева: «Я не признаю этого суда, я эмигрант, не признаю русского императора и здешних законов»; «да здравствует земский собор!»; «у меня могут отнять жизнь, но честь никогда»? Разве все это не демагогия? Что еще оставалось делать Нечаеву в той ситуации? Характерна для него и такая деталь: согласно рапорту генерала Слезкина, после приведенных выше слов, выкрикнутых Нечаевым в зале суда, «вся публика закричала ему несколько раз «вон»[17] (и это вполне понятно, так как судебное заседание было закрытым и на нем присутствовало только избранное общество). Сам же Нечаев в письме шефу жандармов Левашову утверждает, что публика ему «рукоплескала»[18].

Столь же мифическими являются и разделяемые Бером представления о «железной воле» и «несгибаемости» Нечаева. Прежде всего следует внести ясность в вопрос о режиме, созданном ему в Алексеевском равелине. Строго говоря, «самой страшной тюрьмой» равелин стал только на рубеже 1870—1880-х годов, когда на волне реакции был смещен комендант Петропавловской крепости барон Майзель. При нем в равелине поддерживались достаточно гуманные даже по европейским меркам порядки. Пищевой рацион «был удовлетворителен и как небо от земли отстоял от позднейшего народовольческого режима» (кроме обеда, Нечаеву два раза в день выдавался чай «с булкой и четырьмя кусками в каждый раз сахара»)[19]. Как и все узники крепости, он мог пользоваться письменными принадлежностями, книгами из тюремной библиотеки, а также по требованию — другой литературой, исключая запрещенную. В последний период своего пребывания в равелине Нечаев благодаря своему влиянию на охрану добился ряда льгот.

Историю с неудавшимся побегом Нечаева многие историки и литераторы с легкой руки Щеголева считают выдающейся, заслуживающей восхищения. Действительно Нечаеву удалось склонить на свою сторону почти всю охрану равелина. Но каким образом он этого добился? Чтобы завоевать доверие солдат (простодушных, неграмотных, специально набранных из самых глухих губерний — Вологодской и Архангельской), «секретный узник» прибег опять же к иезуитским уловкам. Он «расспрашивал всех и обо всем, и, между прочим, узнавал иногда самые интимные случаи жизни о сторожах, его самого почти не знавших. Пользуясь этим, он иногда поражал их своею якобы прозорливостью, казавшейся им сверхъестественной»[20]. Перед охраной Нечаев выступал как некий «представитель партии наследника престола», которая «сгонит царя». За содействие побегу он обещал «от имени двора» щедро вознаградить солдат[21]. Раскрывшаяся история с подготовкой побега привела, как известно, к аресту, отправке в дисциплинарные батальоны и ссылку нескольких десятков обманутых Нечаевым солдат. Он вводил в заблуждение не только их, сообщая о настроениях охранников в записке, переданной на волю: «В бога они не верят, царя считают извергом и причиной всего зла, ожидают бунта, который истребит все начальство и богачей»[22]. И все это преподносилось Щеголевым как пример, достойный подражания!

Нельзя обойти и литературное «творчество» Нечаева в крепости. О произведениях, вышедших там из-под его пера, можно получить неплохое представление по отзывам читавшего их чиновника III Отделения (Щеголев, публикуя эти отзывы, признавал, что их автору трудно отказать в объективности и квалифицированности)[23]. В романе «Жоржетта» и отрывке «На водах» в основном описывались эротические сцены, «доходящие до самого грязного цинизма». Главный мотив политических статей Нечаева, по словам того же чиновника, состоял в следующем: «Презрение ко всему, что он не знает, самая беспощадная ненависть к тем, кому легко далось то, что взято им с бою, ненависть ко всему, что выше. Один автор и люди его кружка, одним их происхождением и образом мыслей, признаются за слуг народа и пользуются народным доверием и сочувствием. Все остальное выставляется как враги народа, и эра плодотворного развития, мирного и многостороннего, начинается лишь с их уничтожением»[24].

Эту часть «наследия» Нечаева можно было бы объяснить его тюремным отчаянием и озлобленностью. Но зная «Катехизис революционера» и прокламации «Народной расправы», за всем этим нельзя не увидеть цельную и последовательную идеологию, которой он остался верен до конца дней. Как ее назвать, если она делила людей на «чистых» и «нечистых» с уничтожением последних? Революционной? Задавался ли этим вопросом Щеголев? И может ли не ставить их перед собой современный исследователь, знающий о величайших трагедиях XX в., которые творились маньяками, выдававшими себя за «слуг народа», а всех инакомыслящих — за его «врагов»?

В. В. Есипов,
журналист, Вологда

---

[14] Троицкий Н. А. Царизм под судом прогрессивной общественности. М. 1979, с. 287. Автор ссылается на слова Ленина из статьи «Каторжные правила и каторжный приговор» (см. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5, с. 294).

[15] Щеголев П. Е. Нечаев в равелине.— Каторга и ссылка, 1924, № 5—6.

[16] Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М. 1929, с. 6 (совершенно справедлив критический комментарий Е. В. Федоровой к переизданию этой книги Щеголева (М. 1989).

[17] Там же, с. 191.

[18] Там же, с. 197.

[19] Там же, с. 329.

[20] Там же, с. 259.

[21] Там же, с. 260—261.

[22] Цит. по: там же, с. 262.

[23] Там же, с. 240.

[24] Там же, с. 242.

Меня крайне удивило, что в № 4 журнала за 1989 г. опубликована статья Ю. А. Бера о Нечаеве. При всем плюрализме мнений странно видеть такую апологию этого человека. На дворе не 30-е годы. Мы осуждаем преступления Сталина перед страной и партией, а Нечаеву его безнравственность должна сойти с рук? Разве у революционера могут быть иезуитские принципы? Убийство Иванова, подбрасывание писем незнакомым людям (чтобы их потом арестовали), обман Бакунина и Огарева — это ли «заслуги» Нечаева? Это позор русскому революционному движению. Недаром уважающие себя революционеры от нечаевщины отрекались.

Конечно, личное обаяние и мужество Нечаева в равелине нельзя не признать. Но ведь и у Сталина было и то, и другое. А уж заслуг в революции у него побольше. И что? Перевешивают ли они на весах истории преступления этого человека? Конечно, нет.

Разве убийство, ложь и клевета — норма поведения русского революционера? Конечно, история — не тротуар Невского проспекта, но и не зловонное болото. И по счастью, в революции были не одни Нечаевы. Нечаевщина, к несчастью, оказалась живучей, ибо Сталин — это тот же Нечаев у власти, только похитрее. Так что романтизировать Нечаева нужды нет, надо, наоборот, его развенчивать.

И. С. Катченкова,
учитель истории, Ленинград

В № 4 журнала за 1989 г. опубликована статья Ю. А. Бера «Страницы биографии революционера (С. Г. Нечаев)», в которой, в частности, говорится, что «оценивать деятельность Нечаева следует, учитывая всю его жизнь». Но разве знание подробностей нелегкой биографии Нечаева (в том числе и заключения в Алексеевском равелине) само по себе делает более привлекательной его деятельность до ареста в 1872 году? Мне кажется, что деятельность Нечаева следует оценивать не только по «всей его жизни», но и по тем последствиям, которые имела эта деятельность. А они не в пользу Нечаева.

Это, во-первых, сломанные судьбы многих участников организации «Народная расправа» (которые не разделяли взглядов Нечаева и которых он попросту обманывал), а также почти 70 человек из охраны равелина, «распропагандированных» Нечаевым и преданных суду. Поистине, все, что бы ни затевал этот человек, оборачивалось во зло другим. Это, далее, компрометация своими действиями идеи революции в глазах русской общественности. Вспомним хотя бы роман Достоевского «Бесы». В-третьих, Нечаев скомпрометировал русское революционное движение и некоторых его деятелей в глазах западноевропейского рабочего движения (см. материалы Гаагского конгресса I Интернационала и работу Маркса и Энгельса «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих»). К тому же своей мифической связью с Интернационалом он дал повод к шельмованию Международного товарищества рабочих как в России, так и в Европе.

Наконец, имеются и более отдаленные по времени последствия. Я имею в виду обстановку в нашей стране в 20—30-х годах, когда принципы, изложенные Нечаевым в «Катехизисе революционера», получили свое воплощение — с поправкой на время, разумеется. Видимо, не случайно именно в эти годы были предприняты попытки оправдать Нечаева: дескать, время было такое, иными методами он действовать и не мог. Примечательно: те, кто сейчас оправдывает Сталина, говорят то же самое.

Конечно, было бы наивно возлагать персональную ответственность на Нечаева за те, мягко говоря, «перегибы», которые имели место в российском революционном движении вообще и в годы сталинщины — в частности. Но одно несомненно: именно он положил начало практике использования клеветы, провокаций и доносов против своих товарищей-революционеров, а то и физического их уничтожения. Все им содеянное не оправдать никакими фактами.

А. З. Пухальский,
Караганда

ФЕНОМЕН НЕЧАЕВЩИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕОСМЫСЛЕН

Феномен нечаевщины должен быть переосмыслен

Появление статьи Ю. А. Бера «Страницы биографии революционера (С. Г. Нечаев)» в № 4 «Вопросов истории» за 1989 г.— факт сам по себе отрадный, ибо впервые за многие годы делается попытка не просто осветить какой-либо эпизод нечаевского дела, а дать картину этого чрезвычайно противоречивого явления в русском революционном движении. Но, к сожалению, далеко не во всем можно согласиться с автором. Явно прослеживается его стремление оспорить тех историков, у которых личность Нечаева «до сих пор не вызывает симпатий», поскольку они «делают упор на негативных фактах его жизни и прежде всего на следовании принципу «цель оправдывает средства» (с. 138). Судя по всему, автор явно не считает это достаточным для того, чтобы признать справедливость устоявшейся в историографии оценки Нечаева и нечаевщины.

Если исходить из содержания статьи Бера, то отдельные цитаты из произведений В. Фигнер, В. Бонч-Бруевича или М. Гернета призваны «подкрепить» авторскую версию нечаевского дела. Но ведь можно взять и взаимоисключающие друг друга высказывания Ф. М. Достоевского и А. И. Успенской, П. Н. Ткачева и Александра II, Л. Тихомирова и Н. К. Михайловского. Едва ли можно дать объективную оценку нечаевского дела, даже если суммировать все высказывания современников о Нечаеве, в тем более если ограничиться рассмотрением лишь двух-трех свидетельств определенного рода.

Кроме того, не в оценке личности Нечаева заключается основная проблема. Необходим принципиально иной подход к исследуемой теме. Нечаевщина должна быть понята как достаточно устойчивая и непрерывная авторитарно-деспотическая традиция русского революционного движения, носителями которой могли выступать как отдельные личности, так и целые организации (например, П. Заичневский, ишутинский «Ад», «Общество народного освобождения» и «Набат» Ткачева и ряд других). Нечаевское дело, таким образом, не может быть сведено к деятельности одного Нечаева и его окружения, напротив, сама эта деятельность может быть объективно исследована лишь как яркое проявление вышеупомянутой политической традиции.

Только на основе такого подхода можно объяснить то обстоятельство, что многие программные установки Нечаева, сформулированные в «Катехизисе революционера» и в статье «Главные основы будущего общественного строя», в той или иной степени реализовались в качестве сущностных черт таких масштабных явлений, как «военный коммунизм» и сталинщина. Кроме того, исходя из такого понимания нечаевщины можно решить вопрос о социальных и гносеологических корнях тех оценок деятельности Нечаева, которые утвердились в советской науке в 20—30-е годы, согласно которым Нечаев являлся «предтечей большевизма», «гениальным сверхреволюционером» и т. д.

Новая трактовка нечаевщины наметилась в недавних публикациях Г. Водолазова, Е. Плимака и ряда других исследователей истории русского революционного движения[1]. Согласно этой трактовке нечаевское дело выступает лишь как одна из начальных стадий становления авторитарно-деспотической революционной традиции, реализация и расцвет которой пришлись на гораздо более позднее время. К примеру, Плимак видит в сталинском режиме «чудовищную смесь якобинизма с бонапартизмом и нечаевщиной»[2]. Теоретический анализ «военного коммунизма» и сталинщины выступает в данном случае как своего рода методологический ключ при анализе нечаевского дела. При таком подходе проблема оценки личности Нечаева не имеет особого значения.

Русское революционное движение второй половины XIX в. предпочло не заметить тех проблем, которые поставил перед ним своей деятельностью создатель «Народной расправы». От кровавого опыта нечаевщины дружно отмахнулись представители и революционного и либерального лагеря, представившие нечаевское дело как некий случайный, изолированный и малозначащий эпизод русского революционного движения. Почему произошла такая аберрация зрения у революционеров и либералов — проблема особая.

Бер вроде бы собирался «оценивать деятельность Нечаева... учитывая всю его жизнь» (с. 138). Но мы не найдем в его статье ни одного упоминания о таких программных для Нечаева документах, как «Катехизис революционера», содержащий развернутое обоснование принципа «цель оправдывает средства», который определял всю его политическую деятельность. Ни разу не упомянул Бер и о другом, не менее важном документе, вышедшем из-под пера Нечаева — статье «Главные основы будущего общественного строя», появившейся в № 2 «Народной расправы» за 1870 г., которая была в свое время охарактеризована основоположниками марксизма как «прекрасный образчик военного коммунизма»[3]. Статья эта выделяется в истории русской революционной мысли тем, что представляет собой, пожалуй, первое и притом весьма яркое изложение исходных принципов авторитарно-деспотического строя, долженствующего установиться в России в результате кровавой и «повсюдной» революции. Многие современные исследователи, занимающиеся изучением «реального социализма», характеризуют его именно как разновидность «казарменного коммунизма», причем связывают возникновение последнего в основном с попыткой реализации марксовой модели нетоварной экономики. Анализ же писаний Нечаева позволил бы между тем взглянуть на проблему несколько глубже.

Большая часть статьи Бера представляет собой описание бесспорно мужественного поведения Нечаева на суде и в заключении. Эта страница биографии Нечаева была исследована еще в 20-е годы П. Щеголевым в его книге «Алексеевский равелин». Поведение Нечаева не имело аналогов в истории русского революционного движения: будучи заключенным в одиночную камеру, он распропагандировал почти всех солдат караульного гарнизона и связался с их помощью с народовольцами. Но в отличие от Щеголева Бер не пишет о тех специфических приемах, какими Нечаев пользовался для того, чтобы привлечь на свою сторону караульных солдат равелина. Щеголев, например, отмечал: «Пользуясь исключительностью своего положения, наводившего солдат на мысль, что перед ними находился какой-то очень важный человек, Нечаев намекал на своих товарищей, на свои связи, говорил о царе, о дворе, намекал на то, что наследник за него»[4]. Успех пропаганды Нечаева, таким образом, зиждился прежде всего на мистификации. Не упоминает также Бер и об авантюристических планах, вынашиваемых в заключении Нечаевым, который собирался при помощи лично преданных ему солдат караульного гарнизона овладеть Петропавловским собором, «заключить в тюрьму царя и провозгласить царем наследника»[5]. Не говорит Бер и о предложении Нечаева, которое он сделал народовольцам: пустить в ход подложные царские манифесты с тем, чтобы вызвать всенародное восстание. В основе всех этих действий и намерений Нечаева лежал как раз принцип «цель оправдывает средства».

Бер стремится во что бы то ни стало доказать, что «характеристика Нечаева частью русских революционеров была неправильной» (с. 146). Этими словами В. Бонч-Бруевича заканчивается статья. Апелляция к авторитету одного из соратников В. И. Ленина достаточно ясно показывает, что Бер разделяет в самом общем виде ту оценку деятельности Нечаева, которая сложилась в 20-е годы в исторической науке. Именно в те годы, одновременно с преодолением точки зрения дореволюционной историографии, согласно которой нечаевское дело рассматривалось как некий изолированный эпизод революционного движения, во многом была неправомерно пересмотрена оценка нечаевского дела как «монстра» (выражение Михайловского), был утрачен пафос морального неприятия нечаевщины.

Не случайно вопрос о реабилитации Нечаева был поставлен сразу же после Октябрьского переворота, ознаменовавшего значительный сдвиг в системе традиционных нравственных ценностей. Для историографии 20—30-х годов характерна «размытость» нравственных оценок нечаевщины, а то и оправдание ее ссылками на объективные условия, в которых приемы Нечаева становились якобы необходимыми и неизбежными. Это, конечно, можно объяснить лишь тем, что историки 20—30-х годов были детьми своего времени, «эпохи двадцатых», в лоне которой стремительно вызревал тот период в жизни страны, когда принцип «цель оправдывает средства» реализовался на уровне государственной политики с невиданным еще в истории размахом.

Хотя оценка деятельности Нечаева, которая характерна для первых послереволюционных лет, была затем преодолена в советской исторической науке, обращение журнала к этой теме можно лишь приветствовать. Другое дело, что феномен нечаевщины должен быть переосмыслен с учетом прежде всего того нового концептуального подхода к истории русского революционного движения, который за последние годы в основных чертах достаточно четко выявился (пока в основном на уровне публицистики).

А. Ю. Минаков,
Воронеж

---

[1] См. Социализм: между прошлым и будущим. М. 1989, с. 125—126; Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России. М. 1986, с. 204—224.

[2] К двухсотлетию Великой Французской революции.— Знание — сила, 1989, с. 35.

[3] Гаагский конгресс первого Интернационала. Протоколы и документы. М. 1970, с. 530.

[4] Щеголев П. Алексеевский равелин. М. 1989, с. 233.

[5] Там же, с. 247.

ВНОВЬ О ЯКОБИНСКОМ ТЕРРОРЕ

Опубликованная в журнале статья доктора философских наук Ю. А. Краснна «Опыт Великой Французской революции в ленинском наследии» (1989, № 11) раскрывает влияние позитивного революционного опыта конца XVIII в. на формирование ленинской теории социалистической революции. Но среди реалий революционной борьбы того времени во Франции были и такие, которые современная советская историография рассматривает как негативные, например, якобинский террор. Из содержания статьи Ю. А. Красина остается неясным, какое место этот вопрос занял в ленинском наследии, что создает одностороннее представление о важной методологической проблеме.

Между тем в ленинском наследии оценки якобинского террора встречаются неоднократно. Из них можно сделать вывод, что В. И. Ленин вполне одобрительно относился к способам действия якобинцев. В 1905 г., когда началась первая российская революция, он писал: «Удастся решительная победа революции,— тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински или, если хотите, по-плебейски» (Т. 11, с. 47). В той же ра-

боте «Две тактики социал-демократии в демократической революции» Ленин называл большевиков якобинцами современной социал-демократии, которые «хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление». Эту тактику он противопоставлял тактике меньшевиков — жирондистов современной русской социал-демократии, которые вслед за либеральной буржуазией «хотят разделаться с самодержавием мягко, пореформаторски,— уступчиво, не обижая аристократии, дворянства, двора» (там же).

После Февральской революции 1917 г., полемизируя с Милюковым и Плехановым, Ленин называл «якобинцами без народа» тех, кто *«боится* ясно, прямо, во всеуслышание объявить врагами народа эксплуататоров, угнетателей народа, слуг монархии во всех странах, сторонников помещиков во всех странах» (Т. 32, с. 217). Возвращаясь еще раз к этому вопросу летом 1917 г. в статье «О врагах народа» Ленин заявлял, что пример якобинцев, принявших декрет о врагах народа, поучителен. «Он и посейчас не устарел, только применять его надо к революционному классу XX века, к рабочим и полупролетариям. Враги народа для этого класса в XX веке — не монархи, а помещики и капиталисты, как класс» (там же, с. 306—307). Здесь же Ленин отмечал, что якобинцы XX века «не стали бы гильотинировать капиталистов — подражание хорошему образцу не есть копирование». Достаточно было бы арестовать их на несколько недель, так полагал тогда Ленин. Практика революции оказалась более жестокой к «врагам народа». Впрочем, незадолго до Октябрьской революции 1917 г. Ленин снова призывал с «якобинской» беспощадностью сместить все старое и обновить, переродить Россию *хозяйственно»* (Т. 34, с. 195).

Известно, что во Франции якобинский террор очень быстро превратился из способа борьбы со старым и защиты республики от контрреволюции в средство борьбы за власть среди самих якобинцев. Ю. А. Красин в своей статье тоже отмечает, что объектом террора якобинцев становились и патриоты, трудящиеся, что террор становился самоцелью. Но, к сожалению, в его статье нет ответа на естественно возникающий у читателей вопрос: почему же этот опыт не послужил предостережением для тех, кого Ленин называл «якобинцами XX века».

Л. Е. Нойборт,
доцент кафедры всеобщей истории Могилевского педагогического института

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

В нашем журнале (1990, № 2) было опубликовано письмо преподавателя истории из Мончегорска Ю. Л. Иванова, который, в частности, считает перемены, происходящие за последнее время у нас в области идеологии, «сознательной, целенаправленной диверсией» (с. 184). Редакция получила в ответ на эту публикацию письмо преподавателя истории А. В. Беляцкого из Московской области с просьбой переслать его Ю. Л. Иванову. Поскольку оно представляет интерес и для читателей, приводим его ниже. Но вначале считаем целесообразным поместить письмо Беляцкого в адрес редакции.

* * *

Я учитель истории средней школы. Конечно, читал журнал «Вопросы истории», но это было в институте. Читал, как и все студенты, отдельные статьи, готовясь к очередным семинарам и учебным занятиям. Теперь выписываю «Вопросы истории» два года. Стремлюсь использовать публикации для пополнения своих знаний и пропаганды исторических знаний среди людей, окружающих меня. Предлагаю статьи журнала учащимся, интересующимся проблемами истории.

«Вопросы истории» из сухого научного журнала становятся популярным журналом в лучшем смысле этого слова. Редакции могу посоветовать держать эту линию и нести советским людям суровую, пусть и горькую, правду, бороться со стереотипами, учить читателя мыслить исторически и диалектически, распознавать тенденциозность публикаций, помещать материалы с различными точками зрения. Необходимо разоблачать сталинизм во всей его сути и во всех аспектах, которые существуют. Нельзя, чтобы трагедия миллионов повторилась. Советские люди должны знать свою историю без прикрас и лакировки, судить о всех происходящих событиях грамотно и не бояться, что они могут быть обмануты искаженными или популистскими сенсационными заявлениями, которые рассчитаны лишь на эмоции. Публикуйте больше реальных фактов и не бойтесь, что не хватит места на страницах журнала. Это все окупится сторицей.

И в следующем году обязательно подпишусь на Ваш журнал и, конечно же, рассчитываю на новые публикации. Очень хорошо, что журнал стал печатать воспоминания Н. С. Хрущева. Ведь это будет как бы портрет времени, написанный одним из самых энергичных людей той поры и участников событий. Интересно, что многие самостоятельные молодые люди (имею в виду 17-летних выпускников школы) стремятся разобраться в роли руководства нашей страны и в наше время. А в это «Вопросы истории» тоже могут и должны внести свой вклад.

Ваш (теперь уже постоянный) читатель
А. В. Беляцкий

* * *

Здравствуйте, уважаемый Ю. Л. Иванов! Для начала представлюсь: потомственный учитель, преподаю в школе историю и обществоведение в течение 10 лет. По роду деятельности общаюсь с самыми разными детьми — и по происхождению, и по умственным способностям, и пр. Должен сказать, что мне, как и Вам, не все нравится в молодом поколении. Но я считаю, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения на все, происходящее в обществе и мире. Мне не хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь была похожа на наше обманутое поколение. Хотя, конечно, каждый из нас в годы молодости обязательно был слегка нигилистом. Вспомните «стиляг», «битломанов», «хиппи», «волосатых», «бородатых» и т. д. Разве Вы этого не помните? Вы же, вероятно, человек моего поколения. Неужели Вы никогда не испытывали определенных нигилистических настроений? Сомневаюсь. Мой старший брат носил брюки-дудочки, я же — длинные волосы и клеш. Да и вообще все мы в определенном смысле нигилисты, когда отвергаем что-нибудь.

Не согласен с Вами, что у нашей молодежи не осталось идеалов. Сегодняшние ребята вполне могут то, чего наше поколение не умело. Да и судят они практически обо всем: и рассуждают, и спорят, и переживают, только порой делают это в непривычной для нас форме. Не знаю, как Вы, а я, глядя на них, порой ловлю себя на мысли, что мне в свое время следовало бы быть решительнее, даже хочется поругать самого себя. А Вам?

Как и Вы, я выступаю за здравый смысл. Конечно, в какой-то мере росту нигилистических настроений способствует происходящий в нашем обществе процесс переоценки ценностей. Но я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, мне бы очень хотелось, чтобы все, наконец, стало на свои места: и подлинные идеалы, и миражи. Что касается «субъективизма» в подаче исторического материала, то Вы как историк должны понимать, что он в определенной степени неизбежен.

Страшно не это, а те полуправда и ложь, которыми пичкали наше поколение. Любые мемуары субъективны, любая статья — в определенном смысле тоже. Но они, подобно зеркалу, отражают свое время. А уж в качестве изображения специалисты разберутся. Средства массовой информации должны прежде всего, на мой взгляд, будить в читателях потребность и постижении истины. Отраден сам факт, что стали писать о том, что находилось ранее под запретом. Причина же некоторой однобокости изложения фактов заключается отчасти в том, что сейчас открыто для широкого доступа лишь 3% (!) отечественных архивов.

О Бухарине и Троцком, действительно, в последнее время много говорят и пишут. Но сравнивать их между собой, по-моему, нельзя. Фигура последнего, на мой взгляд, иная. Я бы сравнил Троцкого в данном случае со Сталиным. Но то, что сделал Сталин со своим народом, даже страшно представить себе. Тут его не с кем сравнивать, даже с Гитлером. Ведь Гитлер ради власти над миром уничтожал другие народы, а Сталин — свой, причем лучшую его часть. Неужели Вам не страшно от очевидности такой исторической оценки? Неужели Вы действительно считаете, что уничтожение собственного народа, его генофонда можно оправдать какими-либо «высокими» идеями? Ведь в то время сложили головы и такие люди, которые, не колеблясь, готовы были отдать жизнь за социализм и коммунизм.

Наконец, Вы пишете, что журнал «Вопросы истории» тенденциозен и поэтому Вы не намерены возобновлять подписку на следующий год. Считаю, что каждая редакция имеет право придерживаться собственного направления. На мой взгляд, заслуживает лишь уважения решимость редакции отстаивать это право. Если Вы хотите познакомиться с другим мнением, возьмите «Военно-исторический журнал».

С уважением к Вам,
А. В. Беляцкий,
г. Протвино

ПЕРЕСТРОЙКА ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИИ

Обычно приобщение к истории начинается в Англии уже в начальной школе, в которой обучаются дети в возрасте от 5 до 11—12 лет. Учителя начальных классов дают своим ученикам первоначальные сведения по истории, формируют самые общие исторические представления на основе изучения широких тем. Более подробное знакомство с историей начинается в средней школе, когда ученик достигает 12 лет.

На первой ступени средней школы преобладают эпизодические курсы по истории, выбор которых зависит от учителя. Особо распространены курсы «Промышленная революция», «История XX века» и др. В 14 лет ученик имеет право на сознательный выбор. Обязательными для изучения остаются английский язык и математика, остальными предметами ученики занимаются добровольно в соответствии со своими наклонностями. Историю выбирает примерно половина всех учащихся причем преподавание этой дисциплины очень часто связано с преподаванием географии. С 14 лет изучение истории приобретает более систематический характер. В большинстве школ учащиеся изучают курсы социальной и экономической истории Британия, главным образом XIX—

боте «Две тактики социал-демократии в демократической революции» Ленин называл большевиков якобинцами современной социал-демократии, которые «хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление». Эту тактику он противопоставлял тактике меньшевиков — жирондистов современной русской социал-демократии, которые вслед за либеральной буржуазией «хотят разделаться с самодержавием мягко, пореформаторски,— уступчиво, не обижая аристократии, дворянства, двора» (там же).

После Февральской революции 1917 г., полемизируя с Милюковым и Плехановым, Ленин называл «якобинцами без народа» тех, кто «*боится* ясно, прямо, во всеуслышание объявить врагами народа эксплуататоров, угнетателей народа, слуг монархии во всех странах, сторонников помещиков во всех странах» (Т. 32, с. 217). Возвращаясь еще раз к этому вопросу летом 1917 г. в статье «О врагах народа» Ленин заявлял, что пример якобинцев, принявших декрет о врагах народа, поучителен. «Он и посейчас не устарел, только применять его надо к революционному классу XX века, к рабочим и полупролетариям. Враги народа для этого класса в XX веке — не монархи, а помещики и капиталисты, как класс» (там же, с. 306—307). Здесь же Ленин отмечал, что якобинцы XX века «не стали бы гильотинировать капиталистов — подражание хорошему образцу не есть копирование». Достаточно было бы арестовать их на несколько недель, так полагал тогда Ленин. Практика революции оказалась более жестокой к «врагам народа». Впрочем, незадолго до Октябрьской революции 1917 г. Ленин снова призывал с «якобинской» беспощадностью смести все старое и обновить, переродить Россию *хозяйственно*» (Т. 34, с 195).

Известно, что во Франции якобинский террор очень быстро превратился из способа борьбы со старым и защиты республики от контрреволюции в средство борьбы за власть среди самих якобинцев. Ю. А. Красин в своей статье тоже отмечает, что объектом террора якобинцев становились и патриоты, трудящиеся, что террор становился самоцелью. Но, к сожалению, в его статье нет ответа на естественно возникающий у читателей вопрос: почему же этот опыт не послужил предостережением для тех, кого Ленин называл «якобинцами XX века».

Л. Е. Нойборт,
доцент кафедры всеобщей истории Могилевского педагогического института

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

В нашем журнале (1990, № 2) было опубликовано письмо преподавателя истории из Мончегорска Ю. Л. Иванова, который, в частности, считает перемены, происходящие за последнее время у нас в области идеологии, «сознательной, целенаправленной диверсией» (с. 184). Редакция получила в ответ на эту публикацию письмо преподавателя истории А. В. Беляцкого из Московской области с просьбой переслать его Ю. Л. Иванову. Поскольку оно представляет интерес и для читателей, приводим его ниже. Но вначале считаем целесообразным поместить письмо Беляцкого в адрес редакции.

* * *

Я учитель истории средней школы. Конечно, читал журнал «Вопросы истории», но это было в институте. Читал, как и все студенты, отдельные статьи, готовясь к очередным семинарам и учебным занятиям. Теперь выписываю «Вопросы истории» два года. Стремлюсь использовать публикации для пополнения своих знаний и пропаганды исторических знаний среди людей, окружающих меня. Предлагаю статьи журнала учащимся, интересующимся проблемами истории.

«Вопросы истории» из сухого научного журнала становятся популярным журналом в лучшем смысле этого слова. Редакции могу посоветовать держать эту линию и нести советским людям суровую, пусть и горькую, правду, бороться со стереотипами, учить читателя мыслить исторически и диалектически, распознавать тенденциозность публикаций, помещать материалы с различными точками зрения. Необходимо разоблачать сталинизм во всей его сути и во всех аспектах, которые существуют. Нельзя, чтобы трагедия миллионов повторилась. Советские люди должны знать свою историю без прикрас и лакировки, судить о всех происходящих событиях грамотно и не бояться, что они могут быть обмануты искаженными или популистскими сенсационными заявлениями, которые рассчитаны лишь на эмоции. Публикуйте больше реальных фактов и не бойтесь, что не хватит места на страницах журнала. Это все окупится сторицей.

И в следующем году обязательно подпишусь на Ваш журнал и, конечно же, рассчитываю на новые публикации. Очень хорошо, что журнал стал печатать воспоминания Н. С. Хрущева. Ведь это будет как бы портрет времени, написанный одним из самых энергичных людей той поры и участников событий. Интересно, что многие самостоятельные молодые люди (имею в виду 17-летних выпускников школы) стремятся разобраться в роли руководства нашей страны и в наше время. А в это «Вопросы истории» тоже могут и должны внести свой вклад.

Ваш (теперь уже постоянный) читатель
А. В. Беляцкий

* * *

Здравствуйте, уважаемый Ю. Л. Иванов! Для начала представлюсь: потомственный учитель, преподаю в школе историю и обществоведение в течение 10 лет. По роду деятельности общаюсь с самыми разными детьми — и по происхождению, и по умственным способностям, и пр. Должен сказать, что мне, как и Вам, не все нравится в молодом поколении. Но я считаю, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения на все, происходящее в обществе и мире. Мне не хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь была похожа на наше обманутое поколение. Хотя, конечно, каждый из нас в годы молодости обязательно был слегка нигилистом. Вспомните «стиляг», «битломанов», «хиппи», «волосатых», «бородатых» и т. д. Разве Вы этого не помните? Вы же, вероятно, человек моего поколения. Неужели Вы никогда не испытывали определенных нигилистических настроений? Сомневаюсь. Мой старший брат носил брюки-дудочки, я же — длинные волосы и клеш. Да и вообще все мы в определенном смысле нигилисты, когда отвергаем что-нибудь.

Не согласен с Вами, что у нашей молодежи не осталось идеалов. Сегодняшние ребята вполне могут то, чего наше поколение не умело. Да и судят они практически обо всем: и рассуждают, и спорят, и переживают, только порой делают это в непривычной для нас форме. Не знаю, как Вы, а я, глядя на них, порой ловлю себя на мысли, что мне в свое время следовало бы быть решительнее, даже хочется поругать самого себя. А Вам?

Как и Вы, я выступаю за здравый смысл. Конечно, в какой-то мере росту нигилистических настроений способствует происходящий в нашем обществе процесс переоценки ценностей. Но я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, мне бы очень хотелось, чтобы все, наконец, стало на свои места: и подлинные идеалы, и миражи. Что касается «субъективизма» в подаче исторического материала, то Вы как историк должны понимать, что он в определенной степени неизбежен.

Страшно не это, а те полуправда и ложь, которыми пичкали наше поколение. Любые мемуары субъективны, любая статья — в определенном смысле тоже. Но они, подобно зеркалу, отражают свое время. А уж в качестве изображения специалисты разберутся. Средства массовой информации должны прежде всего, на мой взгляд, будить в читателях потребность в постижении истины. Отраден сам факт, что стали писать о том, что находилось ранее под запретом. Причина же некоторой однобокости изложения фактов заключается отчасти в том, что сейчас открыто для широкого доступа лишь 3% (!) отечественных архивов.

О Бухарине и Троцком, действительно, в последнее время много говорят и пишут. Но сравнивать их между собой, по-моему, нельзя. Фигура последнего, на мой взгляд, иная. Я бы сравнил Троцкого в данном случае со Сталиным. Но то, что сделал Сталин со своим народом, даже страшно представить себе. Тут его не с кем сравнивать, даже с Гитлером. Ведь Гитлер ради власти над миром уничтожал другие народы, а Сталин — свой, причем лучшую его часть. Неужели Вам не страшно от очевидности такой исторической оценки? Неужели Вы действительно считаете, что уничтожение собственного народа, его генофонда можно оправдать какими-либо «высокими» идеями? Ведь в то время сложили головы и такие люди, которые, не колеблясь, готовы были отдать жизнь за социализм и коммунизм.

Наконец, Вы пишете, что журнал «Вопросы истории» тенденциозен и поэтому Вы не намерены возобновлять подписку на следующий год. Считаю, что каждая редакция имеет право придерживаться собственного направления. На мой взгляд, заслуживает лишь уважения решимость редакции отстаивать это право. Если Вы хотите познакомиться с другим мнением, возьмите «Военно-исторический журнал».

С уважением к Вам,
А. В. Беляцкий,
г. Протвино

ПЕРЕСТРОЙКА ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИИ

Обычно приобщение к истории начинается в Англии уже в начальной школе, в которой обучаются дети в возрасте от 5 до 11—12 лет. Учителя начальных классов дают своим ученикам первоначальные сведения по истории, формируют самые общие исторические представления на основе изучения широких тем. Более подробное знакомство с историей начинается в средней школе, когда ученик достигает 12 лет.

На первой ступени средней школы преобладают эпизодические курсы по истории, выбор которых зависит от учителя. Особо распространены курсы «Промышленная революция», «История XX века» и др. В 14 лет ученик имеет право на сознательный выбор. Обязательными для изучения остаются английский язык и математика, остальными предметами ученики занимаются добровольно в соответствии со своими наклонностями. Историю выбирает примерно половина всех учащихся причем преподавание этой дисциплины очень часто связано с преподаванием географии. С 14 лет изучение истории приобретает более систематический характер. В большинстве школ учащиеся изучают курсы социальной и экономической истории Британии, главным образом XIX—

XX вв., мировой истории XX в., а также отдельные курсы, которые можно назвать специальными. Примерами могут служить «История медицины», «История энергетики» и т. д.

Ученики сдают экзамен по истории для получения сертификата о среднем образовании по окончании средней школы в 16 лет. Те, кто продолжает обучение в школе, что не является обязательным после получения сертификата, углубляют свою историческую подготовку путем изучения разнообразных спецкурсов. В 18 лет выпускники сдают экзамен, от успеха которого зависит возможность продолжения обучения в высших учебных заведениях. Этот экзамен обычно проводится не школьными учителями, а независимой комиссией, в которую привлекают преподавателей местного университета [1].

Количество учебных часов по истории в неделю варьируется в разных школах, но составляет чаще всего один час. Правда, некоторые вопросы, которые традиционно рассматриваются у нас на уроках истории, изучаются в Англии на уроках экономики, искусства и др.

Суть тех изменений, которые заложены в правительственной программе по истории для средних школ, заключается в том, что значение курса истории в системе школьных дисциплин резко возрастает. Национальная программа предусматривает более систематическое, чем сейчас, и обязательное обучение истории на протяжении всего времени обучения в начальной и средней школе, то есть с 5 до 16 лет. При этом под контроль берутся структура, содержание и последовательность изучения исторических дисциплин. Увеличивается время на изучение истории в школе. В программе отмечается: «Мы настоятельно рекомендуем, чтобы история была восстановлена в правах как дисциплина, занимающая центральное место в учебных планах, что должно найти отражение в увеличении времени на этот предмет в расписании» [2]. Если недельное расписание предусматривает до 40 уроков, то на историю должно приходиться три-четыре.

Рабочая группа по составлению программы по истории ставила перед собой следующие задачи: добиться, чтобы все учащиеся обладали хотя бы минимальными историческими знаниями; усилить позиции истории в начальной школе; улучшить преемственность между начальной и средней школой; ввести историю как обязательный курс для изучения во многих средних школах; обеспечить необходимый минимум отечественной британской истории; снизить до минимума неудобства для школьников, сменивших школы во время учебного года; упростить подготовку к урокам и экзаменам.

Правительственный план выделяет четыре ступени в обучении истории, две из которых относятся к начальной школе, а две последующие — главным образом к средней. На первой ступени, когда дети находятся в 5—6-летнем возрасте, предусматривается постановка следующих вопросов: «Введение в прошлое», «Живая память о людях», «Исторические личности и события». На второй ступени (дети от 7 до 10—11 лет) выделены обязательные и дополнительные курсы. К числу обязательных курсов по британской истории относятся «Завоеватели и поселенцы», «Жизнь во времена Тюдоров и Стюартов», а также один из двух вариантов по истории XIX или XX в.: «Викторианская Британия» и «Жизнь в Британии после 1930 г.».

Учителям предлагается именно такая последовательность курсов. В течение учебного года изучается только один курс. Обязательными курсами по зарубежной истории на этом этапе являются «Древний Египет и Древняя Греция», «Открытия и завоевания». Наряду с указанными курсами учитель должен выбрать два дополнительных курса из следующего списка: «Корабли и мореплаватели», «Пища и фермерство», «Дома и места поклонения», «Письмо и печать», «Наземный транспорт». «Домашняя жизнь в римские и викторианские времена». Третья группа исторических дисциплин определяется школой. В нее могут войти два курса по местной истории или любые другие из приведенного выше списка.

Третья ступень в изучении истории приходится главным образом на первый этап средней школы и охватывает учащихся в возрасте от 11 до 13—14 лет. На этой ступени также выделяются обязательные, дополнительные и школьные курсы. К обязательным курсам по британской истории относятся: «Средневековые королевства», «Создание Объединенного королевства (1500—1750 гг.)» «Экспансия, торговля и промышленность с 1750 по 1900 г.». Каждый год рассматривается один из курсов. По зарубежной истории обязательным является изучение истории Римской империи.

Далее учитель обязан выбрать один курс для изучения по каждой из следующих групп. Первая группа включает темы: «Крепости и соборы», «Ирландия до начала XX в.», «Британская империя в 1877—1905 гг.», «Британия и великая война (1914—1918)». Эти темы связаны с британской историей. Школа вправе дополнить изучение цикла по отечественной истории курсом по местной истории до 1918 года. Вторая группа предполагает следующие темы: «Реформация в XVI в.», «Итальянское Возрождение», «Французская революция и Наполеон». Дополнительный школьный курс также должен отразить какую-либо проблему европейской истории. Третья группа включает вопросы по истории стран Востока: «Исламская цивилизация до начала XVI в.», «Императорский Китай (221 г. до н. э.— 1279 г.)», «Индия 1526—1805 гг». Здесь также предполагается еще один курс по истории этих стран по выбору школы. Наконец, четвертая группа связана с историей Америки: «Местное население Америки». «Негритянское население Америки с XVI до начала XX в.», «Американская революция», «Американская граница». Еще один курс по истории Америки предлагается школой. В дополнение к указанным курсам школа должна обеспечить исторический курс по социальной истории Британии, причем положительно оценивается, если он будет основан на местном материале.

Четвертая ступень (дети 13—16 лет) — это завершающий этап средней школы. Обязательными в это время являются два курса: «Британия в XX в.» и «Эпоха второй мировой войны». Как и на предшествующей ступени, дополнительные курсы должны быть выбраны из двух списков. Первый включает темы: «Европа после 1945 г.», «СССР после 1905 г.», «США после 1917 г.». Во второй список входят: «Индия и Пакистан 1930—1964 гг.», «Африка к югу от Сахары после 1945 г.», «Япония после 1868 г.», «Китай после 1937 г.». Курс, рекомендованный на данной ступени школой, должен отражать какую-либо проблему отечественной истории в ее развитии с 1500 г. и до наших дней.

Каковы же требования, которые предъявляются создателями программы к историческим курсам, рекомендованным школой? Эти курсы должны способствовать достижению целей, которые ставятся перед историческим образованием в целом, должны быть пропорциональными по своему объему и связанными с другими историческими дисциплинами. В центре внимания учителя и учеников должны находиться люди прошлых эпох, а не абстрактные вопросы.

Предложенная правительственной комиссией программа содержит немало рационального. Она появилась в то время, когда учителя истории английских школ ощутили потребность в переменах. Однако многие ее стороны получили негативный отклик. Во-первых, речь идет о том, что программа по истории излишне регламентирует учителя, лишает его необходимой для творческой работы свободы. Конечно, нашим учителям, привыкшим к дотошной регламентации каждого часа занятий, эти опасения могут показаться преувеличенными. В Англии они явно доминируют у большой группы учителей. Во-вторых, высказывается мнение, что учителя не готовы работать по новой программе, для этого нет и необходимых материалов. В-третьих, многие считают, что предложенная программа имеет очевидный и совершенно недопустимый перекос в сторону британской истории. Приходилось слышать мнение, что это может привести к воспитанию в ложнопатриотическом духе. Предлагается изменить соотношение между отечественной и всемирной историей в сторону более оптимального варианта. В-четвертых, речь идет о содержании исторических курсов. Недостаточное внимание в программе отведено истории культуры, вне поля зрения школьников оказываются многие важные вопросы социальной и политической истории.

Историки и школьные учителя разных стран стоят сейчас перед схожими вопросами. Расширение гуманитарного сотрудничества могло бы принести немалую пользу в их решении.

А. Б. Соколов,
кандидат исторических наук,
Ярославль

[1] Lang Sean. A Level History: the Case for Change. Lnd. 1990.

[2] National Curriculum History. Devon Country Educational Resources Service. 1990, p. 4.

CONTENTS

Articles: **W. Mommsen.** Historiography and Sociology under National-Socialism; **T. F. Pavlova.** The Russian Foreign Historical Archives in Prague. History of Soviet Society in a New Light: **M. M. Gorinov.** The Soviet Country in the Late 1920s — Early 1930s. Historical Profiles: **A. N. Bokhanov.** Savva Mamontov. Reminiscences: Memoirs of Nikita Khrushchev. History and Lives: **General A. Denikin.** Essays on the Russian Troubled Times; **A. F. Kerensky.** Russia at the Turn of History. Communicatons: **V. N. Grekhov.** Massacre of the Komsomol Leaders in 1937-1938; **N. S. Kuleshov.** Russia and the Tibetan Crisis in the Beginning of the 20th Century. People. Events. Facts: **N. P. Yefremova.** Emilia Pimenova; **E. E. Pisarenko.** The Water-melon Revolt. Historiography: V. I. Smolyarchuk. A. F. Koni and His Surrounding; A. P. Pronstein. Source Studies in Russia; A. S. Uibo. Theory and Historical Knowledge; P. K. Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldovia. Princeton; S. T. Ross. American War Plans 1945-1950. N.—Y.—Lnd.; J. M. Batista Vidal. De estado servil a nacão soberana. Petropolis. Letters to the Editor.

SOMMAIRE

Articles: **V. Mommzen.** L'historiographie et la sociologie sous le national-socialisme; **T. F. Pavlova.** Les archives historiques russes à Prague. Histoire de la société sovietique dans l'optique nouvelle; **M. M. Gorinov.** Le pays soviétique à la fin des années 20 et au debut des années 30. Portraits historiques: **A. N. Bokhanov.** Savva Mamontov. Mémoires: Les Mémoires de Nikita Serguéévitch Khrouchtchev. L'histoire et les destinées: **Le général A. I. Dénikine.** Les aperçus du temps trouble russe; **A. F. Kerenski.** La Russie à un tournant historique. Communications: **V. N. Grékhov.** La répression contre les dirigeants du komsomol en 1937-1938; **N. S. Kouléchov.** La Russie et la crise de Tibet du début du XX[e] siècle. Hommes. Evénements. Faits: **N. P. Efrémova.** Emilia Piménova; **E. E. Pissarenko.** L'émeute de pastèques. Historiographie: V. I. Smoliartchouk. Koni et son entourage; A. P. Pronstein. L'étude des sources en Russie; A. S. Ouïbo. La théorie et la connaissance historique; P. Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. Princeton; S. T. Ross. American War Plans 1945-1950, N.-Y.-Lnd.; J. W. Batista Vidal. Brasil: de estado servil a nacão soberana. Petropolis, Courrier de la rédaction.

SUMARIO

Artículos: **V. Mommsen.** Historiografía y sociología bajo el nacional-socialismo; **T. F. Pávlova.** Archivo histórico ruso del exterior en Praga. Nueva interpretación de la sociedad soviética: **M. M. Górinov.** El País soviético a finales de los años 20 y comienzos de los 30. Retratos históricos: **A. N. Bojánov.** Savva Mámontov. Memorias: Memorias de Nikita S. Jruschov. Historia y destinos: **General A. I. Denikin.** Ensayos de los tiempos turbios en Rusia; **A. F. Kerenski.** Rusia en viraje histórico. Comunicaciones: **V. N. Gréjov.** Represalias contra la dirección del Komsomol en 1937—1938; **N. S. Kuleshov.** Rusia y la crisis tibetana de comienzos del siglo XX. Hombres, sucesos, hechos: **N. P. Efrémova.** Emilia Pímenova; **E. E. Pisarenko.** Rebelión de sandías. Historiografía: V. I. Smoliarchuk. Koni y su ambiente; A. P. Pronstein. Estudio de las fuentes en Rusia; A. S. Uibó. La teoria y el conocimiento histórico; Patricia Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory. Princeton; S. T. Ross. American War Plans 1945—1950. N. Y.— Lnd.; J. W. Batista Vidal. De estado servil a nacão soberana. Petrópolis. Cartas a la Redacción.

Технический редактор З. П. Кузнецова.

Сдано в набор 28.09.90. Подписано к печати 24.10.90. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,60. Усл. кр.-отт. 17,33. Уч.-изд. л. 19,08. Тираж 101 000 экз. Заказ № 2876. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 103781 ГСП, Москва, К-6, М. Путинковский пер., 1/2. Телефон 209-96-21.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.